This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

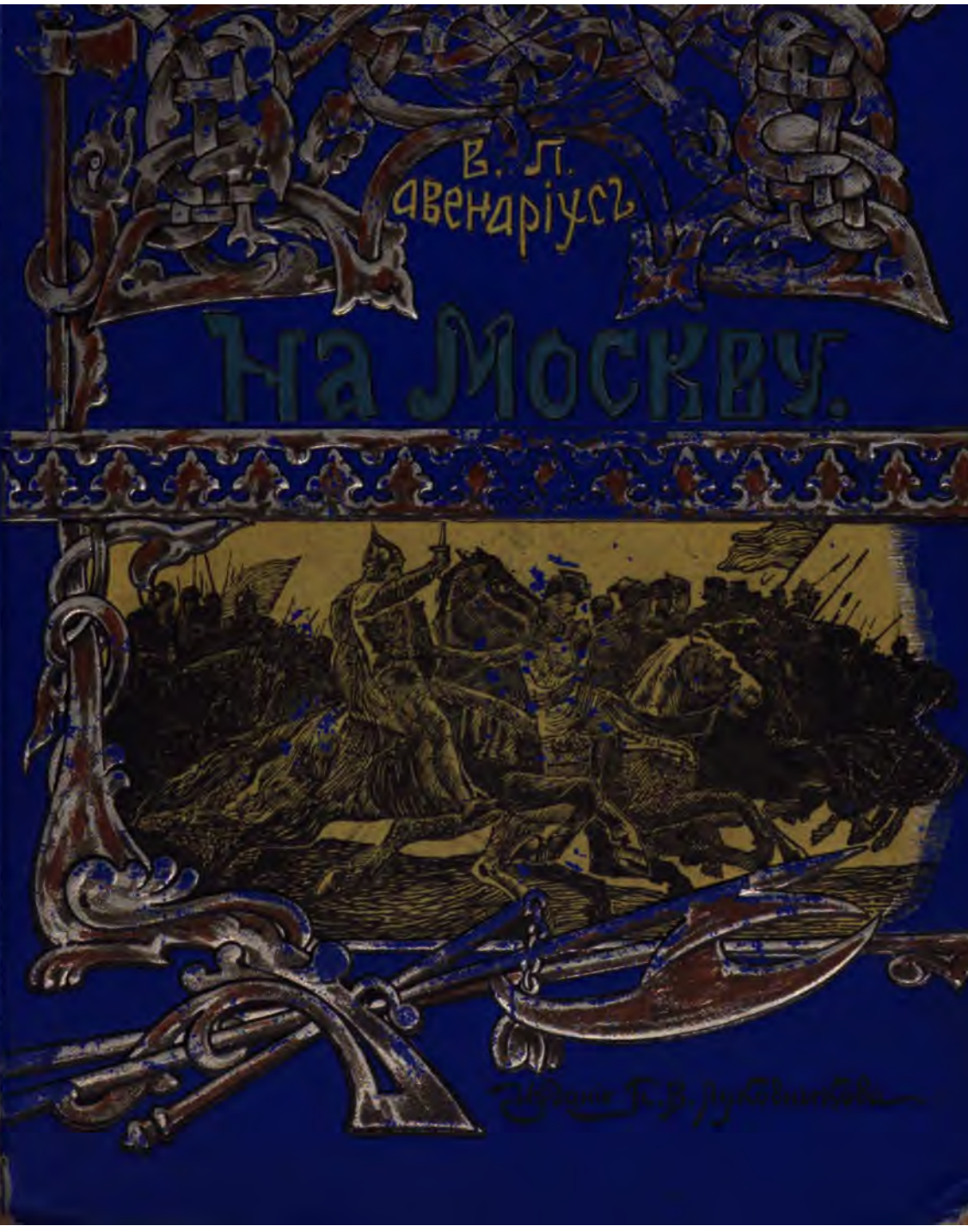
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


В. Л.
Авендріусъ
На Москву.

STANFORD UNIV
LIBRA

В. П. Авенаріусъ

На Москву!

В. Л. Авенаріусъ

На Москву!

ЗА ЦАРЕВИЧА.

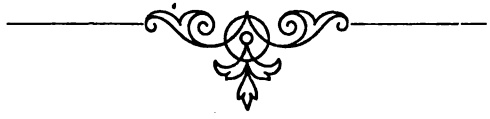
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРИЛОГІЯ

В. П. Авенаріуса.

I. Три вѣнца.

II. Сынъ атамана.

III. На Москву!



Avenarius, [illegible] Petrovich

НА МОСКВУ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ИЗЪ ВРЕМЕНЪ ПЕРВАГО САМОЗВАНЦА.

СЪ 2-МЯ ПОРТРЕТАМИ И 16 ОТДѢЛЬНЫМИ РИСУНКАМИ.

Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ перепл. 2 р. 50 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.
Лештуковъ переулокъ, д. № 2.
1903.

Рисунки дозволены цензурою. Спб., 15 октября 1902 года.

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Б. Подъяч., 39.

DEMETRIVS IOANNIS, DEI GRATIA CZAR ET MAGNVS DVX TOTIVS RVSSIAE, AC MONARCHIAE MOSCOVITICAE DOMINVS ET REX.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стр.
Глава	I. Московскіе переметчики	7
»	II. Дорогая побѣда.	25
»	III. Два сообщника	41
»	IV. Въ царствѣ смерти.	47
»	V. Вороньё черное и бѣлое.	61
»	VI. Сердце сердцу вѣсть подаетъ	76
»	VII. Похожденія Петруся Коваля	87
»	VIII. Какъ двое тонутъ и другъ друга топятъ.	111
»	IX. Гордіевъ узелъ	122
»	X. Двѣ, одна и ни одной	141
»	XI. Передъ царемъ Борисомъ Годуновымъ .	161
»	XII. Медвѣжья яма	176
»	XIII. Басмановъ.	190
»	XIV. Какъ опасно тому заходить въ кружало, кто не держитъ языка за зубами. .	207
»	XV. Кончина Годунова и бѣгство Курбскаго.	224
»	XVI. Кто былъ Огурецъ и чѣмъ кончилась его встрѣча съ царевичемъ.	242
»	XVII. Какъ Петрусь Коваль оправилъ доброе имя запорожцевъ	264
»	XVIII. Чего такъ ждалъ Курбскій	284
»	XIX. Чего ему и во снѣ не мерещилось . .	295
»	XX. Дорогіе гости.	307

стр.

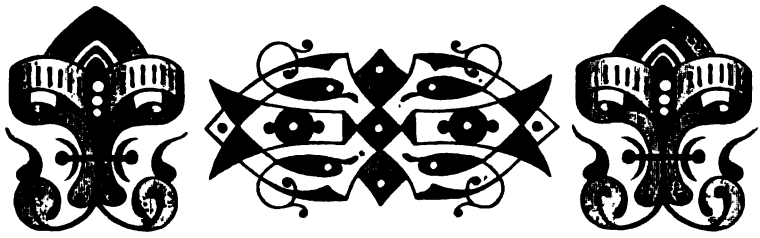
Глава XXI. Какъ Марина Мнишекъ въѣзжала въ Москву и какъ Маруся Курбская приняла также участіе въ этомъ въѣздѣ. . 326

» XXII. Царица русская или польская? 341

» XXIII. Какъ Курбскій узналъ о новомъ замыслѣ Шуйскаго и что изъ того для него самого вышло. 355

» XXIV. Драма 17-го мая 1606 года 374

Заключеніе. 389



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Московскіе переметчики.

Шестую недѣлю ужъ названный сынъ московскаго царя Ивана Васильевича Грознаго, царевичъ Димитрій съ пятнадцатитысячною ратью будущаго тестя своего, сендомирскаго воеводы Юрія Мнишка, осаждалъ древне-русскій Новгородъ-Сѣверскъ,—и все безуспѣшно. Отъ самаго города, правда, осталось одно только пепелище. Теперь оно было занесено снѣгомъ; тамъ и сямъ лишь уныло чернѣли остовы дымовыхъ трубъ, точно взывая къ небу о возмездіи. Сожгли городъ, однако, не осаждающіе, а защитники его, по приказу своего начальника, царскаго окольничаго Басманова, который съ своей малочисленной дружиной, все равно, не могъ бы отстоять городскіе дома отъ разграбленія врагами. Жителей со всѣмъ ихъ скарбомъ онъ пріютилъ у себя за высокой бревенчатой стѣной

старой крѣпостцы-замка, гдѣ съ своими шестью стами стрѣльцовъ держался крѣпко, отражая всякій приступъ. А сколько было этихъ приступовъ и днемъ и ночью! Сколько штурмующихъ полегло уже подъ мѣткими пулями и стрѣлами царскихъ стрѣльцовъ, подъ валившимися съ вышины бревнами и камнями! Мало пользы приносили полякамъ и привезенныя ими съ собой петарды (пушки для разбитія стѣнъ): всякую брешь осажденные заваливали тотчасъ кирпичами и землей.

Наступалъ ранній декабрьскій вечеръ 1604 года. Безполезная перестрѣлка стала утихать, пока совсѣмъ не смолкла. Вотъ, изъ глубокой траншеи, обхватывавшей замокъ широкимъ полукругомъ, грянулъ еще какъ бы прощальный салютъ; но сумерки настолько уже сгустились, что нельзя было даже судить, долетѣло ли пущенное ядро по назначенію.

Тутъ изъ траншеи показались два молодыхъ рыцаря и повернули къ польскому лагерю. Несмотря на ихъ національный польскій нарядъ, они говорили межъ собой по-русски, да и дѣйствительно были русскими: одинъ былъ самъ царевичъ Димитрій, другой—ближайшій его другъ и совѣтникъ, князь Михайло Андреевичъ Курбскій.

— Потерпи, государь, потерпи еще малость,— говорилъ Курбскій: — были тебѣ вѣдь и раньше сего помѣхи; въ какомъ великомъ дѣлѣ ихъ не бываетъ? А теперь тебѣ сдалось уже сколько русскихъ городовъ: Муромскъ, Черниговъ, Путивль, Рыльскъ, Курскъ; жители вездѣ выходятъ къ те-

бѣ навстрѣчу съ хлѣбомъ-солью, со слезами радости: «Солнышко наше всходитъ!»

— Все это такъ,—согласился Димитрій,—но вотъ Басманова съ его горстью стрѣльцовъ намъ и огненнымъ боемъ не одолѣть которую уже недѣлю! Не ныньче—завтра, того и жди, нагрянетъ все Борисово войско; какъ-то мы еще устоимъ? Хоть бы подоспѣли наконецъ твои запорожцы! А то ни слуху отъ нихъ, ни духу...

— Оплошалъ я, государь, прости, что не остался тогда при нихъ. Но какъ было мнѣ не поспѣшить сюда по твоему зову...

— Коли чья въ томъ вина, Михайло Андреичъ, такъ не твоя, а мся: по другѣ крѣпко стосковался. Однако, гляди-ка, къ намъ идетъ панъ Бучинскій. Вѣрно, не спроста.

Не будь у пана Бучинскаго усиковъ,—этого стройнаго маленькаго человѣчка можно было бы принять за подростка. Но царевичъ, очевидно, дорожилъ своимъ молодымъ секретаремъ, потому что спросилъ его самымъ дружескимъ тономъ:

— Что̀ новаго, милый пане?

— Вѣсти изъ Москвы, государь,—отвѣчалъ панъ Бучинскій.— Нашъ сторожевой постъ въ восьми верстахъ отсюда, на рѣкѣ Узруѣ, имѣлъ стычку съ передовымъ разъѣздомъ москвитянъ...

— Ну, вотъ, что̀ я сейчасъ говорилъ! И чѣмъ же кончилось дѣло?

— Пока только перестрѣлкой у переправы. Но за передовымъ разъѣздомъ идетъ все ихъ войско. Два москвитянина добровольно передались намъ

и доставлены только-что въ лагерь. Панъ гетманъ хотѣлъ бы сейчасъ ихъ допросить и ждетъ только ваше величество.

— Идемъ же, идемъ. Такъ пану гетману, значитъ, полегчало?

— Да, съ вечера еще онъ жаловался на подагру; а ночью былъ у него опять жестокій припадокъ. Но теперь онъ все же вышелъ въ кабинетъ.

Такъ разговаривая, они дошли до лагеря, освѣщеннаго цѣлымъ рядомъ костровъ, и между воинскихъ палатокъ, землянокъ и бараковъ, сколоченныхъ изъ обгорѣлыхъ бревенъ и досокъ, направились къ главной квартирѣ. То былъ загородный хуторъ, который одинъ лишь во всей окружности уцѣлѣлъ какимъ-то чудомъ среди общаго разрушенія. Чудо совершилъ все тотъ же маленькій царскій секретарь: благодаря его предъусмотрительности, хуторъ съ перваго же дня осады Новгородъ-Сѣверска былъ окруженъ охранной стражей, а теперь въ немъ помѣщались не только царевичъ и гетманъ (каждый на своей половинѣ), но и войсковая канцелярія, а также всѣ регименътари (полковые командиры); эти, впрочемъ, въ надворныхъ постройкахъ.

Старика Мнишка, должно быть, не на шутку донимала его давнишняя пріятельница подагра: передъ топящейся печкой, полулежа въ глубокомъ креслѣ, онъ протянулъ на другое кресло больную ногу, запеленутую, какъ младенецъ, въ пуховое одѣяло, и поминутно кряхтѣлъ отъ боли. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ въ форменномъ кунтушѣ, щеки

его были тщательно выбриты, длинные усы зачернены, сѣдой оселедецъ искусно зачесанъ съ затылка на голое лоснящееся темя, а около кресла, сейчасъ подъ рукой, былъ гетманскій жезлъ: и старческіе недуги не мѣшали ему оставаться всегда бравымъ рыцаремъ и гетманомъ.

Кромѣ самого Мнишка, въ кабинетѣ были еще двое приближенныхъ къ нему лицъ: старшій адъютантъ его, панъ Тарло, и домашній шутъ, Балцеръ Зидекъ. Этотъ прикорнулъ на скамеечкѣ у ногъ своего господина и размѣшивалъ желѣзнымъ остріемъ своего дурацкаго жезла пылающіе уголья въ печкѣ. При входѣ царевича, онъ съ комическою важностью приподнялся со скамеечки, снялъ съ бритой макушки ушатый колпакъ, звеня нашитыми на немъ мѣдными погремушками, и съ торжественною почтительностью прикоснулся жезломъ къ полу.

— Падамъ до ногъ великому государю!

Димитрій чуть-чуть кивнулъ ему головой и поздоровался съ Мнишкомъ.

— Пожалуйста, не безпокойтесь, пане гетманъ! — предупредилъ онъ старика, который показалъ видъ, будто хочетъ также встать съ кресла ему навстрѣчу.—Ваше здоровье?

— Лучше и не спрашивайте, государь! — отвѣчалъ Мнишекъ, болѣзненно морщась. — Вы слышали вѣдь о двухъ московскихъ переметчикахъ?

— Слышалъ, пане. Кто они такіе?

— Называютъ они себя сыновьями боярскими. Такъ ли это или нѣтъ, мы скоро узнаемъ. Но

они — будущіе подданные вашего царскаго величества, а потому не благоугодно ли будетъ вамъ самимъ допросить ихъ? Панъ Тарло! введите-ка ихъ сюда.

Введенные вслѣдъ затѣмъ паномъ Тарло, два перебѣжчика были люди еще довольно молодые, а ихъ благообразныя лица, великорусскаго оклада, и надѣтыя на нихъ сверхъ кафтановъ шелковыя ферязи (длинные кафтаны безъ перехвата, застегивавшіеся петлицами и пуговицами) показывали, что оба, дѣйствительно, не простого званія. Стоявшій около кресла царевича Курбскій своимъ богатырскимъ тѣлосложеніемъ и мужественной красотой первый привлекъ на себя ихъ вниманіе; но когда тутъ Димитрій предложилъ имъ подойти ближе, они поняли, что онъ, этотъ на видъ довольно неприглядный молодой человѣкъ, но съ быстрыми, проницательными глазами и гордой осанкой, и есть именно царевичъ.

На вопросъ Димитрія, точно ли они боярскаго рода, старшій изъ двухъ почтительно, но безбоязненно отвѣчалъ, что самъ онъ — изъ рода Болтиныхъ, а товарищъ его — изъ рода Чоглоковыхъ.

— Наслышанъ я уже и о Болтиныхъ, и о Чоглоковыхъ,—сказалъ царевичъ,—и приходомъ вашимъ очень доволенъ.

— А ужъ мы-то какъ удоволены, что допущены предъ твои пресвѣтлыя очи, надежа-государь!

— И давно вы изъ Бѣлокаменной?

— Да погостили мы тамъ съ товарищемъ мѣсяца три назадъ.

— Такъ вы оба не тамошніе?

— Никакъ нѣтъ: мы калужскіе; подъ Калугой же и забралъ насъ въ свое ополченіе воевода царскій, князь Мстиславскій; подъ Брянскомъ соединился онъ съ княземъ Димитріемъ Шуйскимъ, откуда уже купно всею ратью двинулись сюда на выручку Басманову.

— Такъ, такъ. И велика нынѣ вся ихъ воинская сила?

— Да тысячъ, почитай, до пятидесяти станетъ.

Димитрій озадаченно переглянулся съ Мнишкомъ. Тотъ въ отвѣтъ только многозначительно повелъ своими пушистыми бровями и крякнулъ. Болтинъ замѣтилъ удручающее впечатлѣніе, произведенное его сообщеніемъ на царевича, и поспѣшилъ его успокоить.

— Да ты больно-то, государь, не полошайся. Войско войску рознь: наше набрано съ бору да съ сосенки, мало еще пріобучено къ ратному дѣлу; да и кому охота воевать противъ своего природнаго государя?

Слова эти видимо ободрили опять Димитрія.

— Вы оба недавно вѣдь изъ Москвы,—сказалъ онъ.—Такъ разскажите же по всей правдѣ, что̀ толкуютъ тамъ въ народѣ?

— По всей правдѣ сказать,—началъ Болтинъ:—народъ нашъ какъ въ дурманѣ ходитъ и самъ хорошенько не вѣдаетъ, чему вѣрить, чему нѣтъ. Въ церквахъ божьихъ вѣдь съ амвона, по царскому велѣнію, анаѳему возглашаютъ нѣкоему бѣглому монаху Григорію Отрепьеву, что̀ на Литвѣ появился и

самозванно принялъ будто бы имя убіеннаго въ Угличѣ царевича Димитрія. Но правда, какъ искра подъ валежникомъ, тлится, пока пламенемъ не вспыхнетъ; молва все растетъ да растетъ, что царевичъ точно спасся отъ Борисовыхъ убійцъ. А тутъ пошли еще разныя знаменія: на небѣ два мѣсяца, три солнца; въ облакахъ бьются словно огненныя рати: бурей сноситъ вышки съ теремовъ боярскихъ, кресты съ святыхъ храмовъ; среди бѣла дня волки стаями бѣгаютъ по улицамъ, кидаются на людей, пожираютъ другъ друга.

— А самъ Борисъ ничему этому вѣры не даетъ?

— То-то, государь, что и на него словно страхъ напалъ. Когда лѣтось надъ Москвой поднялась эта большая звѣзда хвостатая, онъ нарочито вызвалъ изъ Инфляндіи ученаго звѣздочета.

— Вотъ какъ! И что же тотъ предрекъ ему?

— Доподлинно-то никто о томъ не знаетъ. Но ходитъ слухъ, будто звѣздочетъ объяснилъ, что хвостатыя звѣзды посылаются Господомъ Богомъ всякій разъ передъ великими бѣдствіями народными, дабы государи берегли и себя и народъ, особливо передъ чужеземцами. Тутъ Годуновъ еще пуще всполошился, велѣлъ, слышно, въ ночную пору привезти къ себѣ во дворецъ на допросъ изъ Новодѣвичьяго монастыря твою, государь, благовѣрную матушку-царицу, иноки-ню Марѳу.

— И ее-то, схимницу, не могъ оставить въ покоѣ!—воскликнулъ Димитрій, гнѣвно сверкая глазами.—Что же она на допросѣ показала?

— Прямо показать, что сынъ ея живъ, у нея, знать, духу не достало. Однакожъ она все-таки не утаила, что слышала отъ людей, коимъ должна вѣрить, будто сынъ ея спасся и проживаетъ теперь гдѣ-то за рубежемъ. Когда же Годуновъ сталъ требовать, чтобы она назвала ему этихъ вѣрныхъ людей, она отвѣчала, что тѣхъ людей уже нѣтъ на свѣтѣ. Но при допросѣ былъ и жена Борисова, царица Марья. Нравомъ она крута, разгорчива,— и, Боже мой! Какъ схватитъ со стола горящую свѣчу, да съ угрозой на твою царицу-матушку: «Сейчасъ говори, кто они, измѣнники! Не скажешь,—выжгу тебѣ очи»...

Царевичъ, слушавшій до сихъ поръ съ затаеннымъ дыханьемъ, привскочилъ даже въ креслѣ.

— Этого я имъ, клянусь Богомъ, во вѣкъ не прощу!

— Не клянись, государь,—сказалъ Болтинъ.— Борисъ Ѳедоровичъ не далъ твоей государыни-матушки въ обиду, просилъ ее не поставить въ вину царицѣ Марьѣ ея горячность...

— И отослалъ матушку обратно въ монастырь?

— Отослалъ со всѣмъ почетомъ. Самъ-то онъ не такъ ужъ лютъ...

— А въ прежніе годы былъ и свѣтлодушенъ и многомилостивъ,—подхватилъ товарищъ Болтина, Чоглоковъ, которому, видно, также не терпѣлось вставить свое слово.

— Это что онъ во время мора голодающимъ свои житницы раскрылъ?—замѣтилъ Димитрій.

— Да, и нищую братію изъ своей казны щедро одѣлялъ; а разбойниковъ, что̀ развелись отъ голодухи по большимъ дорогамъ, цѣлыми шайками извелъ. Да признаться, не житье отъ него и грабителямъ яко бы законнымъ—приказнымъ: дьякамъ и судьямъ...

Тутъ Болтинъ толкнулъ говорящаго въ бокъ.

— Съ ума ты спятилъ,—хвалишь Годунова!

Хотя это было сказано вполголоса, однако Димитрій разслышалъ.

— О врагахъ своихъ нужно знать не одно дурное, но и доброе,—сказалъ онъ.—А то какъ же правильно судить о нихъ? Такъ приказнымъ Годуновъ также не даетъ спуску?

— Не даетъ, государь,—отвѣчалъ Чоглоковъ, ободренный такой поддержкой со стороны царевича.—Не токмо велитъ мздопріимцамъ возвращать посулы (взятки), собранные съ просителей, но съ кого, по винѣ и чину глядя, взимаетъ и штрафъ изрядный,—въ 500, въ 1000, въ 2000 рублей, а у кого отбираетъ и все имущество движимое и недвижимое, неправедно добытое.

— Бьетъ, значитъ, рублемъ.

— И рублемъ и дубьемъ. Перехожу я это разъ Красную площадь, глядь: народъ навстрѣчу валомъ валитъ, шумитъ, хохочетъ. Что̀ такое? А везутъ, вишь, по улицамъ на позорище всенародное, дьяка мздоимца. Сидитъ онъ, рабъ Божій, на телѣжкѣ, обнаженный до пояса, съ скрученными локтями; виситъ у него на шеѣ мѣшокъ съ полич-

нымъ,—кто говоритъ: съ дичиной, кто—съ рыбой соленой,—а на спинѣ дощечка съ надписью: «Мздоимецъ». По бокамъ же идутъ два стражника съ большущими прутьями и хлещутъ его по оголенной спинѣ: хлестъ да хлестъ. Онъ то охнетъ, то заоретъ благимъ матомъ; а народъ бѣжитъ вслѣдъ, всячески надъ нимъ издѣвается, радуется его мукамъ...

— Коли радуется, то, стало быть, Борисъ сумѣлъ въ этомъ угодить москвичамъ! —съ горечью проговорилъ Димитрій, на котораго описанная грубая сцена произвела, видимо, тяжелое впечатлѣніе.—Ну, а что же недруги Борисовы въ укоръ ему ставятъ?

— Что мнителенъ онъ уже не въ мѣру,—отвѣчалъ Болтинъ,—всюду видитъ измѣну; а дабы никакія злоумышленія отъ него не укрылись, поощряетъ всякіе поклепы и доносы, жалуя за нихъ и деньгами и помѣстьями. Низкой корысти ради, холопы, знай, доносятъ на своихъ господъ, братья на братьевъ, жены на мужей, дѣти на родителей... Чуть же тебя опорочили, такъ жди тюрьмы, пытки, смерти; съ имѣніемъ же своимъ на-вѣкъ распростись.

— Но какъ же безъ уликъ?...

— Улики всегда найдутся, не подлинныя, такъ подметныя; а попадется разъ безвинный, такъ что за бѣда? Напредки-де поопасится, не будетъ повадно. Охъ, тяжелыя времена, не дай Богъ! Чай, знаешь ты, государь, про Романовыхъ?

— Знаю, что они тоже въ опалѣ.

— А за что, про что?—спроси ка. За то, что

по всей Руси нѣтъ боярскаго рода именитѣе, почетнѣе. Чѣмъ кто выше да лучше, тѣмъ больше вѣдь у него и завистниковъ. Ну, и подкинули одному изъ Романовыхъ, Александру Никитичу, въ кладовую мѣшки съ какими-то кореньями, а потомъ нагрянули съ повальнымъ обыскомъ, нашли тѣ самые мѣшки, притащили на патріаршій дворъ, высыпали коренья передъ народомъ: «Смотрите, молъ, православные, отравное зелье!» А народъ-то, что̀ звѣрь дикій, расшумѣлся, освирѣпѣлъ. Схватили тутъ всѣхъ братьевъ Романовыхъ, всю родню ихъ и пріятелей: Репниныхъ, Черкасскихъ, Сицкихъ, мужчинъ и женщинъ. Кого въ сыскномъ приказѣ безвинно запытали, кого въ желѣзахъ сгноили, кого въ такія мѣста сослали, куда и воронъ костей не заносилъ...

— А кого насильно и въ монахи постригли!— подхватилъ снова Чоглоковъ. — Вѣдь вотъ хоть бы Ѳедоръ Никитичъ, а въ монашествѣ Филаретъ. Я самъ былъ у него на поклонѣ въ Антоніевомъ Сійскомъ монастырѣ. То-то праведный, святой старецъ! Живетъ въ кельѣ своей въ вѣчномъ постѣ и молитвѣ. Его, опальнаго, другіе иноки тоже сторонятся; но онъ о Борисѣ, о всѣхъ врагахъ своихъ отзывается съ ангельской кротостью и незлобіемъ. Только какъ заговоритъ, случится, о своей семейкѣ, такъ всякій разъ прослезится. «Бѣдныя дѣтки!»—говоритъ.—«Кому ихъ теперь кормить и поить? А женушка моя горемычная! Жива-ль еще? Мнѣ-то, старику, что̀ ужъ надобно? Бѣда моя— жена и дѣти: какъ про нихъ вспомнишь, такъ

точно рогатиной въ сердце толкаетъ. Братья-то всѣ, далъ Богъ, на ногахъ»... Одна радость за все время у старца, что пришло ему наконецъ дозволеніе изъ Москвы—стоять въ церкви на клиросѣ.

— А о мірской жизни своей онъ вовсе не жалѣетъ?—спросилъ царевичъ.

— Не то, что жалѣетъ, а какъ завелъ я какъ-то разговоръ о ловчихъ, о птицахъ, о собакахъ, старецъ весь ожилъ, встрепенулся: въ былое время, слышь, большой тоже любитель былъ до соколиной и иной охоты.

Сдѣлавъ Чоглокову еще нѣсколько вопросовъ о старцѣ Филаретѣ, Димитрій обратился опять къ Болтину:

— А кто же теперь, скажи, изъ бояръ московскихъ наиболѣе въ силѣ у Годунова? Не князь ли Шуйскій?

— Василій Иванычъ? Пожалуй, что и такъ. Шуйскіе при царѣ Ѳедорѣ были въ загонѣ, иные живота своего лишились; но князь Василій—травленная лиса, и коли Годуновъ кого трепещетъ, такъ его.

— Почему же онъ не вышлетъ его такъ же изъ Москвы, какъ Романовыхъ?

— Высылалъ было, да потомъ самъ же возвращалъ: у себя на глазахъ такой мышлецъ и хитро умецъ все же какъ будто не такъ опасенъ. Любезнѣе же всѣхъ Годунову нынѣшній воевода, князь Ѳедоръ Иванычъ Мстиславскій: въ зятья себѣ его прочитъ, пообѣщалъ ему, слышь, въ приданое за дочерью, Казань да Сѣверскую землю; какъ вер-

нется-де побѣдителемъ съ похода, такъ сейчасъ съ княжной Ксеніей и подъ вѣнецъ.

— Ну, такъ ему никогда не быть съ нею подъ вѣнцомъ!—воскликнулъ Димитрій.

— Дай Богъ, дай то Богъ...—пробормоталъ старикъ Мнишекъ, нервно ворочаясь въ креслѣ отъ новаго приступа подагрическихъ болей. — Ихъ вѣдь, легко сказать, пятьдесятъ тысячъ, насъ же втрое меньше...

Стоявшій за кресломъ гетмана адъютантъ, панъ Тарло, не подавалъ до сихъ поръ голоса. Это былъ статный, съ надменно-выпяченною грудью брюнетъ, который могъ бы почитаться красавцемъ, если бы его правильныя, нѣсколько обрюзгшія черты не были обезображены глубокимъ шрамомъ черезъ всю лѣвую щеку. Теперь онъ счелъ своевременнымъ вступиться за воинскую доблесть поляковъ.

— Одинъ полякъ, пане гетманъ, десяти москалей стоитъ!—сказалъ онъ.—Лишь бы пану гетману совсѣмъ оправиться къ бою.

— Не панъ гетманъ, такъ я поведу васъ въ бой,—отозвался царевичъ, задѣтый, казалось, за живое такимъ пренебрежительнымъ отзывомъ о русскихъ.—Моя русская хоругвь покажетъ господамъ полякамъ, что и «москали» умѣютъ быть храбрыми.

Панъ Тарло вспыхнулъ, но съ притворной покорностью преклонилъ голову.

— Беззавѣтная храбрость вашего величества выше всякихъ сомнѣній,—сказалъ онъ.—Каждый изъ насъ, поляковъ, почиталъ бы себя счастливымъ служить въ вашей царской хоругви. Но если всѣ

пятьдесятъ тысячъ москвитянъ князя Мстиславскаго столь же храбры, — прибавилъ онъ не безъ скрытой ироніи,—то не вѣрнѣе ли намъ безъ боя сложить передъ ними оружіе?

— Для побѣды, пане Тарло, кромѣ храбрости, требуется еще и вѣра въ правое дѣло! – не утерпѣлъ тутъ возразить Курбскій.

— А у рати Мстиславскаго вѣры этой нѣтъ, — досказалъ царевичъ, одобрительно кивая своему другу.—Вотъ вамъ сейчасъ двое, которые добровольно передались мнѣ,—указалъ онъ на двухъ переметчиковъ.—И оба съ радостью, я увѣренъ, станутъ въ ряды моей царской хоругви. Не такъ ли, други мои?

— Съ великою радостью, государь!—откликнулись тѣ въ одинъ голосъ.—Ни головы, ни живота для тебя не пожалѣемъ!

— Экій грѣхъ, а я-то сейчасъ вотъ только хотѣлъ завербовать ихъ въ мою хоругвь!—неожиданно ввязался тутъ въ разговоръ Балцеръ Зидекъ, принимая совершенно такую же позу, какъ Курбскій, но опираясь, вмѣсто сабли, на свой шутовской жезлъ.

Мнишекъ съ снисходительной улыбкой оглядѣлъ его потѣшную фигуру.

— А у тебя, Балцеръ, набрана уже своя хоругвь?

— Да вотъ все набираю...

— И много набралъ?

— Пока-то я самъ въ одной персонѣ и регементарь и ратникъ. Все жду, что панъ гетманъ велитъ объявить по лагерю...

— Ну, что жъ, пане Тарло, такъ и быть, объявите: нѣтъ ли охотниковъ идти въ дурацкую хоругвь,—усмѣхнулся Мнишекъ.—А кстати созовите и военный совѣтъ.

Полчаса спустя состоялся военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено дать на другой же день «москалямъ» генеральное сраженіе. Большинство голосовъ склонялось къ тому, чтобы, ради болѣе выгодной позиціи, занять вершины окружающихъ лагерь холмовъ; но царевичъ настоялъ на томъ, чтобы сразиться съ врагомъ въ открытомъ полѣ.

— Пусть видитъ Мстиславскій,—говорилъ онъ,—что я его не страшусь и не ищу передъ нимъ никакихъ выгодъ. Съ нами Богъ!

Для ободренія воиновъ, по распоряженію гетмана, походное духовенство процессіей обошло весь лагерь. Въ серединѣ процессіи, фантастически освѣщенной лагерными кострами, выступалъ, подъ балдахиномъ, посланецъ римскаго папы, бернардинецъ и тайный іезуитъ, Николай Сѣраковскій, со святыми дарами, распѣвая торжественный гимнъ. Сопровождавшіе его другіе патеры ему вторили и кадили курильницами, оставляя за собою облака благовоннаго ладана. Высыпавшіе изъ своихъ бараковъ, палатокъ и землянокъ воины вполголоса также подпѣвали, бряцая оружіемъ и набожно крестясь... Кому-то изъ нихъ суждено было пережить завтрашній день?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Дорогая побѣда.

Съ первымъ разсвѣтомъ пасмурнаго декабрьскаго утра весь лагерь пришелъ въ необычное движеніе: и пѣхота и конница готовились къ неизбѣжной битвѣ съ «москалями». Всѣ мало-мальски состоятельные шляхтичи выставили для настоящаго похода нѣкоторое число ратниковъ, а потому каждый изъ нихъ считалъ себя въ правѣ обмундировать свой отрядъ, свою хоругвь (конную роту) въ излюбленные свои цвѣта. Такимъ образомъ все кругомъ пестрѣло, подобно весеннему полю, яркими цвѣтами: краснымъ, желтымъ, синимъ и зеленымъ во всевозможныхъ оттѣнкахъ. Кавалерія, у которой лошади не были подобраны подъ масть, представляла еще бо́льшую пестроту. Но если общій видъ лагеря и не имѣлъ той внушительной стройности, которая

составляетъ отличительную черту европейскихъ войскъ нашего времени, зато онъ тѣшилъ взоръ своею картинностью и оживленіемъ.

Наибольшая толкотня замѣчалась у торговыхъ шалашей: кто запасался новымъ оружіемъ или боевыми припасами, кто замѣнялъ обносившуюся часть своего платья новою, чтобы не ударить въ грязь лицомъ передъ боевыми товарищами, кто, наконецъ, набирался мужества въ добромъ глоткѣ «старой вудки».

Гетманъ не настолько еще поправился отъ своей подагры, чтобы провести нѣсколько часовъ въ сѣдлѣ, и потому главное начальство надъ войскомъ принялъ самъ царевичъ. На своемъ караковомъ аргамакѣ онъ появлялся то тамъ, то здѣсь, чтобы провѣрить, исполняются ли въ точности постановленія военнаго совѣта, и дополнялъ ихъ, гдѣ оказывалось нужнымъ, новыми указаніями.

Когда затѣмъ къ полудню декабрьское солнце, цѣлыя недѣли скрывавшееся за густымъ сѣрымъ пологомъ, неожиданно выглянуло вдругъ изъ-за тучъ, точно любопытствуя, до чего можетъ дойти безуміе и звѣрство людское, лучи его озарили двѣ враждебныя рати: Димитріеву и Борисову, стоявшія на открытой равнинѣ въ строгомъ боевомъ порядкѣ другъ противъ друга. Раздѣляло ихъ пространство немногимъ далѣе ружейнаго выстрѣла.

Состоя постоянно при особѣ царевича, Курбскій до этого дня ни разу еще не имѣлъ случая лично участвовать въ рукопашной схваткѣ. Сегодня царевичъ самъ велъ въ огонь свою царскую

хоругвь; а такъ какъ онъ еще вчера выразилъ желаніе доказать полякамъ, что его «москали» не менѣе ихъ храбры, то при своей отчаянной удали онъ навѣрное долженъ былъ не разъ подвергаться смертельной опасности. Поэтому Курбскій не могъ побороть въ себѣ какого-то тяжелаго предчувствія и далъ себѣ слово ни на мигъ не упускать его изъ виду.

Самъ Димитрій былъ, казалось, исполненъ твердой увѣренности въ побѣдѣ. Выѣхавъ со свитой передъ фронтъ своего войска, онъ оглядѣлъ его сіяющими глазами.

— Посмотрите-ка, что̀ за краса! Ужели мы не побѣдимъ съ этими хватами?—замѣтилъ онъ свитѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, отдѣльные отряды и хоругви польской шляхты, подобравшись къ предстоящему кровавому пиру во всемъ своемъ воинскомъ блескѣ человѣкъ къ человѣку, щеголяли другъ передъ другомъ своимъ разнообразнымъ вооруженіемъ, своими яркими цвѣтными одеждами и распущенными знаменами, среди которыхъ выше всѣхъ развѣвалось огромное красное знамя царевича съ чернымъ византійскимъ орломъ на золотомъ полѣ. Между «рейтарями» первенство принадлежало безспорно стоявшимъ на лѣвомъ флангѣ гусарамъ, которыхъ панцыри поверхъ кольчуги и кованые шлемы съ орлиными крыльями такъ и сверкали на солнцѣ.

— А наши-то въ красѣ имъ, пожалуй, вѣдь не уступятъ?—отнесся Димитрій къ Курбскому вполголоса, чтобы не задѣть гонора свитскихъ

изъ поляковъ, указывая глазами на донскихъ казаковъ и царскую хоругвь.

Донцы, въ числѣ двухъ тысячъ человѣкъ, несмотря на свою однообразную, темносинюю одежду, молодецкой посадкой на своихъ поджарыхъ, но крѣпкихъ коняхъ и цѣлымъ лѣсомъ дротиковъ надъ собою, производили очень внушительное впечатлѣніе. Бѣлоснѣжная же царская хоругвь, состоявшая исключительно изъ русскихъ людей, выдѣлялась среди окружающей пестроты: въ отличіе отъ своихъ земляковъ, а теперь враговъ въ Борисовомъ войскѣ, они, поверхъ стальныхъ латъ, надѣли бѣлыя рубахи. Чувствуя себя, наравнѣ съ каждымъ польскимъ ратникомъ, съ каждымъ донцомъ, нераздѣльною частью этого огромнаго боевого цѣлаго, они, точно такъ же, какъ и тѣ, всѣ до единаго глядѣли, не отрываясь, на своего молодого царственнаго вождя, глядѣли бодро и смѣло, не смѣя моргнуть глазомъ, чтобы царевичъ, Боже упаси, не заподозрилъ ихъ въ трусости. Но сквозь эту общую бодрость и смѣлость на лицѣ у каждаго изъ собранныхъ здѣсь пятнадцати тысячъ людей, отъ регименгаря до послѣдняго ратника, непроизвольно и совершенно одинаково проступала какая-то натянутая, торжественная строгость: всѣми, очевидно, овладѣла уже крайняя напряженность нервовъ въ ожиданіи неминуемаго боя на жизнь и смерть. Не одинъ изъ этихъ бравыхъ шляхтичей молился, конечно, теперь про себя Пречистой Дѣвѣ, давая обѣтъ, въ случаѣ, если Божественная защититъ его въ битвѣ, пройтись босикомъ въ Ченсто-

ховъ на поклоненіе Ея святому образу; а изъ русской хоругви не одинъ прощался мысленно съ матерью, съ женою и дѣтьми.

Но вдругъ всѣ разомъ невольно шелохнулись, потому что царевичъ заговорилъ громкимъ, отчетливымъ голосомъ, достигавшимъ до послѣднихъ рядовъ.

— Мои добрые, вѣрные сподвижники! наконецъ настало время, когда всемогущій, милосердный Богъ разсудитъ меня съ Годуновымъ и рѣшитъ мое дѣло. Божій Промыселъ вѣдаетъ, какимъ вѣроломствомъ онъ присвоилъ себѣ мое наслѣдственное право на русскій престолъ, какою смертоносною измѣной овладѣлъ моею прародительскою державой. Судьбы Всевышняго отвели отъ меня страшный убійственный ударъ, о чемъ свидѣтельствуютъ стѣны Углича, обрызганныя кровью невинныхъ людей, погибшихъ отъ руки наемныхъ убійцъ, на мою грудь устремленной; но всеблагой Господь разрушилъ ихъ кровожадный замыселъ. Я живъ для казни преступниковъ! Итакъ, мои вѣрные товарищи, возьмемъ оружіе и, уповая на помощь и благодать Божію, ударимъ смѣло и радостно на вѣроломныхъ измѣнниковъ, презирающихъ и человѣческое и божественное право! Не страшитесь множества враговъ: поле битвы остается не за тѣмъ, кто сильнѣе, а за тѣмъ, кто добродѣтельнѣе и отважнѣе. Меня не обманетъ надежда возвратить наслѣдіе отцовъ моихъ, а васъ ждетъ безсмертная слава,—самая сладостная изъ всѣхъ наградъ! Слава ведетъ смертнаго прямо въ небеса...

И, воздѣвъ тутъ руки къ небу, Димитрій закончилъ свою рѣчь молитвой:

«Всевышній! Ты зришь глубину моего сердца. Если я обнажаю мечъ неправедно и незаконно, то сокруши меня Твоимъ Небеснымъ громомъ. Если же я правъ и чистъ душою, то дай силу неодолимую рукѣ моей въ битвѣ. А Ты, Пресвятая Матерь Божія, буди покровомъ нашего воинства!...»

Вполнѣ искреннее воодушевленіе, которымъ звучала рѣчь, а затѣмъ и молитва московскаго царевича, нашли живой отголосокъ въ сердцахъ какъ русской хоругви и донцовъ, такъ и всего польскаго воинства. Достаточно было одному подать голосъ, чтобы вызвать и всѣхъ другихъ къ громогласному отклику.

— Vivat rex Demetrius Ioannis!—первымъ крикнулъ панъ Тарло, находившійся также въ свитѣ царевича.

— Vivat! vivat! vivat!—прокатилось восторженными раскатами отъ переднихъ рядовъ ратниковъ до самыхъ заднихъ.

Какъ бы въ отвѣтъ на этотъ взрывъ энтузіазма, издали донеслись трубные и барабанные звуки. Тысячи людей, какъ по командѣ, устремили взоры въ сторону Борисова войска, гдѣ все разомъ пришло въ движеніе. Въ каждомъ «стрѣлецкомъ приказѣ», состоявшемъ изъ тысячи человѣкъ и отличавшемся отъ другихъ своимъ собственнымъ знаменемъ съ изображеніемъ своего покровителя—св. угодника, стрѣльцы-самопальщики были выдвинуты впередъ. За ними тѣснились обыкновен-

ные стрѣльцы съ луками, копьями и бердышами (широкими топорами на длинныхъ ратовищахъ). Тамъ и сямъ сверкали шлемы и брони военачальниковъ и богатыхъ боярскихъ дѣтей.

Да, то были такіе же точно живые люди, такіе же бравые ратники, готовые сложить голову за «с в о е правое дѣло». И всѣ кругомъ сознавали теперь это, потому что на всѣхъ лицахъ выраженіе радостнаго волненія смѣнилось разомъ однимъ и тѣмъ же выраженіемъ враждебной раздраженности глаза у всѣхъ разгорѣлись одною и тою же угрожающею рѣшимостью: «Сейчасъ начнется. Но жизнь мою я дешево не продамъ!»

— Барабанщики и горнисты впередъ! — скомандовалъ царевичъ и махнулъ платкомъ полковнику Жулицкому, который долженъ былъ завязать дѣло.

Во главѣ своей части польской пѣхоты, подъ вызывающій трескъ барабановъ и ревъ трубъ, Жулицкій двинулся на центръ московскаго войска. Едва лишь, однако, переступилъ онъ роковую черту, до которой могли долетать вражескіе снаряды, какъ его осыпалъ градъ пуль и стрѣлъ, пущенныхъ по всей центральной линіи «москалей». Нѣсколько польскихъ ратниковъ пало; остальные тотчасъ сомкнулись и дали отвѣтный залпъ. Въ рядахъ непріятеля, насколько можно было судить сквозь пороховой дымъ, произошло нѣкоторое смятеніе... Человѣческая бойня началась.

Общій подъемъ духа окружающихъ охватилъ, какъ волной, и Курбскаго. Первыя мгновенья ожиданія были для него такъ же томительны и страшны.

Теперь же онъ ободрился, повеселѣлъ какъ отъ хмѣльного зелья, и его безотчетно подмывало броситься, очертя голову, въ самый пылъ битвы. Но, давъ себѣ слово до конца оберегать жизнь царевича, онъ не удалялся отъ него ни на шагъ, когда Димитрій объѣзжалъ отрядъ за отрядомъ, ободряя каждаго отдѣльно добрымъ словомъ и затѣмъ уже посылая въ огонь.

Вотъ и послѣдній отрядъ пѣхоты скрылся въ густомъ пороховомъ дыму, который, какъ непроглядным туманомъ, застлалъ все поле сраженія. Что̀ именно происходило тамъ, — не было видно, но по доносившемуся оттуда хаосу несмолкаемыхъ выстрѣловъ, барабаннаго боя, трубныхъ завываній, человѣческихъ криковъ, воплей и стоновъ можно было догадываться, что тамъ ужасъ и смерть.

Тутъ внезапно налетѣвшимъ вѣтромъ, какъ рукой, сдернуло съ одного края дымную завѣсу и открыло все правое крыло московскаго войска. Начальствовали имъ, какъ потомъ оказалось, князья Димитрій Шуйскій и Михайло Кашинъ. Тѣ, съ своей стороны, также не могли не завидѣть окружавшей царевича нарядной группы всадниковъ и за ними всей конницы, до времени не участвовавшей еще въ дѣлѣ, а потому не рѣшились, казалось, первыми начать атаку.

— Они ждутъ насъ. Такъ съ Богомъ же!—замѣтилъ Димитрій, повертывая коня, чтобы стать во главѣ своей собственной хоругви.

Но атаманъ донцовъ Корела, неотступно слѣдившій за каждымъ распоряженіемъ царевича, пред-

угадалъ его намѣреніе. Не желая, видно, отдать первенство другимъ, онъ не выждалъ условнаго знака, зычно гикнулъ, хлестнулъ своего ретиваго коня и, какъ изъ лука стрѣла, полетѣлъ впередъ. Гикъ его былъ подхваченъ двумя тысячами донцовъ, которые съ дротиками на перевѣсъ помчались вслѣдъ за атаманомъ.

— За мной, товарищи!—крикнулъ теперь и Димитрій.

Примѣръ донцовъ подѣйствовалъ заразительно. Съ такимъ же гикомъ, постепенно возраставшимъ до дикаго рева, вслѣдъ за царевичемъ понеслась впередъ его царская хоругвь, а за нею и вся польская кавалерія. Всякій старался изо всѣхъ силъ перегнать, перекричать своихъ товарищей. Это была не парадная кавалерійская скачка: это былъ бѣшеный ураганъ, который долженъ былъ на своемъ пути повалить и смять все и вся.

Но донцы уже врѣзались въ правое крыло Борисова войска.

«Пускай же и сами расправляются!»—рѣшилъ Димитрій и фланговымъ движеніемъ круто своротилъ со своими на центръ москвитянъ, надъ которымъ высоко развѣвался большой стягъ самого воеводы князя Мстиславскаго.

Движеніе это было такъ неожиданно для русскихъ, сплошная масса вражеской конницы налетѣла на нихъ сквозь пороховой дымъ такъ стремительно и съ такимъ побѣдоноснымъ, нечеловѣческимъ ревомъ, что на воиновъ Мстиславскаго напалъ паническій страхъ.

— А ведетъ-то ихъ самъ царевичъ!—крикнулъ кто-то, и возгласа этого было достаточно, чтобы передніе попятились на заднихъ и привели ихъ также въ замѣшательство. Еще мигъ—и завязался рукопашный бой, или, вѣрнѣе сказать, одностороннее избіеніе, потому что стрѣльцы только отбивались, а враги ихъ съ слѣпою яростью рубили сплеча направо и налѣво, а копытами коней топтали сраженныхъ. Мстиславскій, истекая самъ кровью отъ нѣсколькихъ ранъ, тщетно воодушевлялъ своихъ собственнымъ примѣромъ, бросаясь въ самую жаркую сѣчу: охватившее стрѣльцовъ смятеніе обращалось уже въ постыдное бѣгство.

— Сдавайся, князь! — раздался тутъ около него повелительный голосъ.

Мстиславскій повернулъ коня и очутился лицомъ къ лицу съ молодымъ всадникомъ. По богатому наряду и царственной осанкѣ онъ тотчасъ угадалъ въ немъ названнаго сына Грознаго царя.

— А, проклятый самозванецъ!

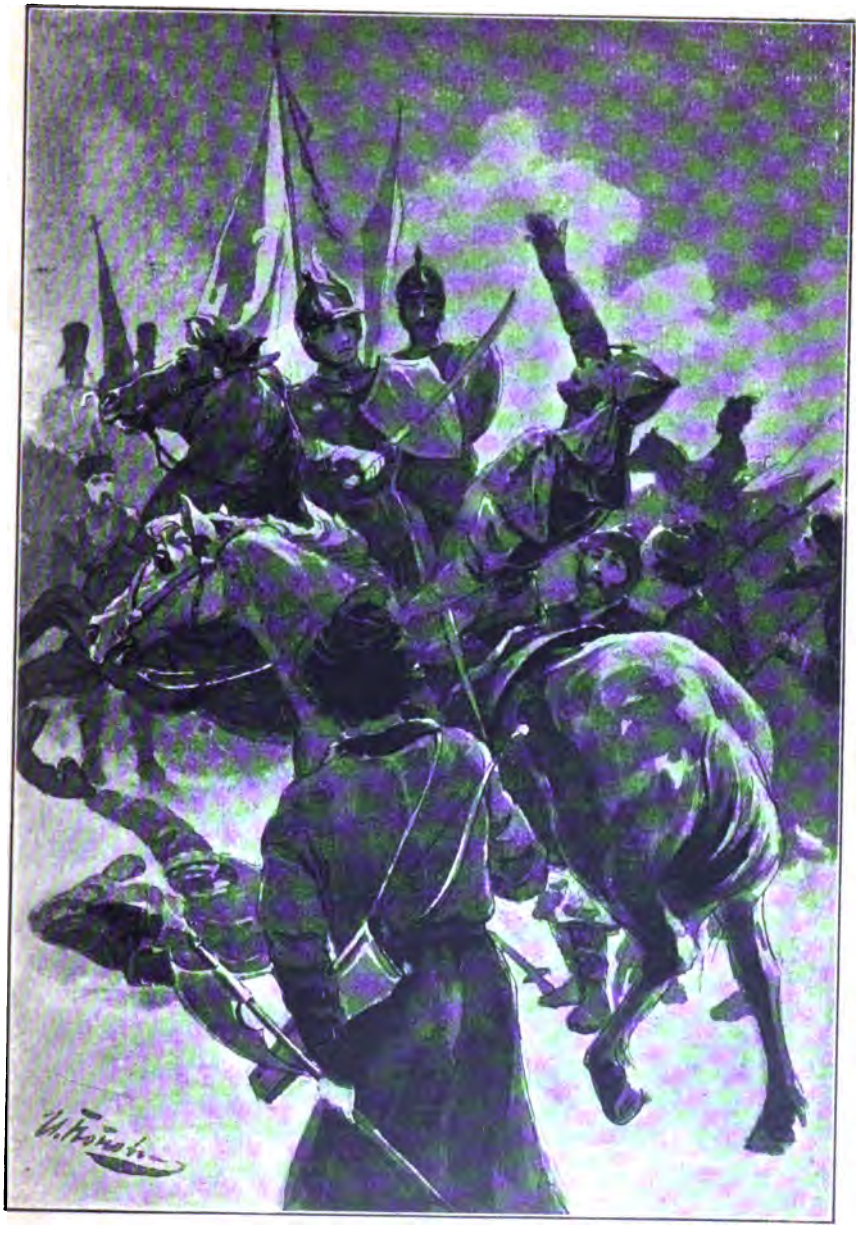
И онъ съ ожесточеніемъ занесъ на него свой тяжелый мечъ. Но Димитрій своей турецкой шашкой искусно отвелъ ударъ и крикнулъ въ отвѣтъ:

— Наши силы неравны, князь: ты раненъ. Мнѣ хотѣлось бы сохранить жизнь такого славнаго воина.

Мстиславскій не думалъ, однако, еще сдаваться.

— Защищайся!—завопилъ онъ, и вторично набросился на противника.

Тотъ во-время увернулся и въ свою очередь рубанулъ его по стальному шлему съ такой силой,



что шлемъ раскололся надвое и кровь брызнула по лицу Мстиславскаго.

— Ребятушки, выручайте!.. — успѣлъ онъ только воззвать къ своей стрѣлецкой дружинѣ и замертво упалъ съ коня.

Паденіе любимаго вождя такъ озлобило стрѣльцовъ, что они толпой накинулись на Димитрія. Въ одинъ мигъ онъ былъ окруженъ и едва-ли бы уцѣлѣлъ или избѣгъ плѣна, если бъ не Курбскій. Отбивая царевича, тотъ такъ мало заботился о себѣ самомъ, что былъ раненъ сзади чьей-то сѣкирой пониже лѣваго плеча. Но въ пылу боя онъ не ощутилъ даже боли. А тутъ подоспѣла царская хоругвь и оттѣснила остервенѣвшихъ стрѣльцовъ, едва успѣвшихъ подобрать съ земли и унести съ собою своего павшаго вождя.

Изъ всего московскаго войска одно только лѣвое крыло, предводительствуемое Васильемъ Морозовымъ и Лукой Щербатымъ, стояло еще до сихъ поръ на своей позиціи твердо и непоколебимо. Но вотъ и оттуда донеслись крики ужаса, и вся масса лѣваго крыла побѣжала вспять безъ оглядки, сбивая съ ногъ другъ друга и бросая по пути оружіе. Разсыпавшаяся на полѣ битвы польская рать воспользовалась этимъ и дружно ринулась вслѣдъ за бѣгущими.

Что же такое случилось? А то, что на лѣвое крыло «москалей», откуда ни возьмись, нагрянулъ свѣжій конный отрядъ, да не въ воинскихъ доспѣхахъ, а въ небываломъ звѣриномъ образѣ. То былъ не кто иной, какъ Балцеръ Зидекъ, съ на-

*

вербованною имъ, съ разрѣшенія гетмана, вольной дружиной. Но этотъ, почти невѣроятный эпизодъ всего лучше передать словами современнаго хронографа:

«Онъ же, Гришка, съ хитростью на бой наряди́вся: воинскіе люди и кони ихъ въ медвѣжьихъ кожахъ и овечьихъ навыворотъ... Кони же Борисовой рати зѣло мятущеся; они же въ смятеніи томъ всадниковъ побиваху... и много безчисленно людей падоша... и воины Борисовы побѣгоша; они же ихъ девять верстъ и больше гнаша сѣкуще: трупу жъ человѣка яко лѣсу пороніша, и яко мостъ на девять верстъ помостища; аще не бы нощь постигла, мало бы спаслося».

Царевичъ, къ которому, кромѣ Курбскаго, примкнули между тѣмъ и другіе свитскіе, не хотѣлъ, да едва-ли бы и могъ, задержать этотъ бурный потокъ погони. Но лично онъ уже не принялъ участія въ избіеніи бѣгущихъ, предоставивъ эту «черную работу» своимъ ратникамъ.

— А гдѣ же панъ Тарло?—спросилъ онъ, озираясь на окружающихъ.—Неужели убитъ?

— Да вонъ же онъ, живехонекъ!—отозвался одинъ изъ свиты.

— И съ плѣнникомъ!—подхватилъ другой.

Въ самомъ дѣлѣ, къ нимъ несся вскачь парадным аллюромъ старшій адъютантъ гетмана, а за нимъ бѣжалъ со всѣхъ ногъ, чтобы не отстать, привязанный къ сѣдлу его человѣкъ.

— Поздравьте съ трофеемъ, государь!—издали

еще весело кричалъ панъ Тарло:—собственный стягъ московскаго воеводы!

Оказалось, что плѣнникъ его былъ знаменщикомъ самого Мстиславскаго, несшимъ надъ воеводою въ бою огромное, разноцвѣтное знамя съ образомъ Воскресенія Христова и съ евангельскими словами на позолоченномъ древкѣ. И теперь еще древко было въ рукахъ знаменщика; но, не имѣя силъ на бѣгу нести тяжелое знамя, онъ волочилъ его по снѣгу за собою.

Когда тутъ панъ Тарло внезапно задержалъ коня, бѣдный плѣнникъ съ разбѣгу рухнулъ ничкомъ на-земь.

— Поклонъ отдаетъ своему государю! —усмѣхнулся панъ Тарло, при чемъ, вслѣдствіе сокращенія краевъ глубокаго шрама на его лѣвой щекѣ, ротъ его скосился къ лѣвому уху, и правильныя, сами по себѣ, черты лица его приняли выраженіе осклабляющагося сатира.—Вставай, быдло, отдавай честь знаменемъ!

И, наклонясь съ сѣдла къ упавшему, онъ со всего маху огрѣлъ его по спинѣ нагайкой. Курбскій былъ возмущенъ до глубины души и взглянулъ на царевича. Тотъ весь также вспыхнулъ и проговорилъ дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ:

– Сейчасъ отвяжите его, пане! Онъ и такъ не убѣжитъ.

— Прошу прощенья, государь, — возразилъ панъ Тарло съ утонченною польскою вѣжливостью и, въ то же время, съ развязностью, гра-

ничившею съ дерзостью,—но человѣкъ этотъ—мой, и я везу его въ презентъ моему гетману.

— Извольте отвязать его! слышите?

Сказано это было такимъ повелительнымъ тономъ, что ослушаться было немыслимо. Побагровѣвъ отъ досады и кусая губы, панъ Тарло отстегнулъ отъ сѣдла ремень, привязанный подъ мышками плѣнника. Этотъ съ трудомъ поднялся на ноги и одной рукой взялъ свое знамя на плечо, а другой схватился за задыхающуюся грудь. Тутъ изъ-подъ пальцевъ его проступила алая струя крови.

— И такого-то человѣка, пане Тарло, вы протащили за собой, можетъ быть, нѣсколько верстъ!—съ негодованіемъ замѣтилъ Димитрій.—Дойдешь ли ты, братецъ, до нашего лагеря?—отнесся онъ участливо къ раненому.—Отселѣ еще версты три.

— Авось доползу,—невнятно прохрипѣлъ страдалецъ, а самъ при этихъ словахъ пошатнулся и едва опять не уронилъ знамени.

Невдалекѣ въ это время показались два польскихъ пѣхотинца, отставшихъ отъ своихъ. Царевичъ подозвалъ ихъ и отдалъ имъ приказъ отвести плѣнника въ лазаретъ.

— Да чтобы съ нимъ по пути туда ничего не случилось! Понимаете?—добавилъ онъ властно.—Вотъ князь Курбскій ужо навѣдается въ лазаретъ. А вамъ, пане Тарло, всего лучше самимъ свезти вашъ трофей пану гетману.

Ратники съ видимой неохотой, но поневолѣ подчинились приказанію своего временнаго вождя и взяли подъ-руки врага, ослабѣвшаго отъ бѣга и

потери крови; панъ Тарло же въ сердцахъ выхватилъ изъ рукъ знаменщика знамя и съ надменно-закинутой головой уже безъ оглядки поскакалъ далѣе.

(Кстати здѣсь упомянемъ, что Мнишекъ, по возвращеніи въ Самборъ, подарилъ это самое знамя, какъ бы собственный свой трофей, бернардинскимъ монахамъ, какъ видно изъ актовъ этихъ монаховъ въ самборскомъ архивѣ.)

На смѣну адъютанту гетмана, подъѣхалъ шутъ послѣдняго, Балцеръ Зидекъ, издали еще потрясавшій своимъ дурацкимъ колпакомъ.

— Новый Маѳеонъ! Не будь я Діогеномъ, я желалъ бы быть Александромъ!—съ паѳосомъ пародировалъ онъ слова Македонскаго героя.

Ему было, конечно, не безызвѣстно, что настольною книгою царевича было Плутархово жизнеописаніе Александра Великаго, и что высшимъ его желаніемъ было сравняться съ нимъ въ воинскихъ подвигахъ.

Отъ нахальной фамильярности баляснка, однако, Димитрія какъ-будто покоробило, и онъ довольно сухо поблагодарилъ его за счастливую выдумку—напугать враговъ.

— Какіе же это враги, государь? Это—стадо барановъ!—былъ самодовольный отвѣтъ.—Но и бараны бодаются; а потому смѣю надѣяться, что храбрость моя не останется безъ вознагражденія?

— Я васъ вознагражу, Балцеръ, будьте покойны,—едва скрывая уже свое презрѣніе, сказалъ Димитрій.—А теперь—до свиданія!

— До пріятнаго, государь!

И, вмѣсто поклона, шутъ перекатился колесомъ черезъ голову своей лошади, а въ слѣдующій мигъ сидѣлъ опять въ сѣдлѣ и съ гикомъ помчался къ лагерю.

— Вотъ какимъ двумъ героямъ мы обязаны побѣдой: пану Тарло и Балцеру Зидеку!—съ горечью промолвилъ царевичъ.

— И кого мы побѣдили?—своихъ же братьевъ русскихъ!—съ глубокимъ вздохомъ добавилъ Курбскій.—Вѣдь это все наши же русскіе.

Онъ указалъ на разстилавшуюся передъ ними снѣжную равнину, усѣянную трупами. Димитрій оглядѣлся кругомъ, и глаза его наполнились слезами.

— Прости меня, Боже!—прошепталъ онъ, осѣняясь крестомъ.—Не дай мнѣ въ другой разъ такой дорогой побѣды!

— Такъ не прикажешь ли, государь, ударить отбой?—спросилъ Курбскій.

— Да, да, отбой!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Два сообщника.

Давно уже повечерѣло, а польскій лагерь представлялъ болѣе оживленную картину, чѣмъ когда-либо днемъ. Тароватый гетманъ велѣлъ выкатить побѣдоносному воинству нѣсколько бочекъ «старой вудки» и браги, и теперь, вдоль всего лагеря, около пылающихъ костровъ шелъ пиръ горой, раздавались разгульныя пѣсни, хмельной говоръ и хохотъ.

Понятно, что и ясновельможное панство не было забыто: оно «бенкетовало» (пировало) въ собственныхъ покояхъ Мнишка; а затѣмъ, прямо изъ столовой, съ разгоряченными отъ вина лицами и увлаженными взорами, перешло въ кабинетъ хозяина, чтобы позабавиться игрою въ «фараонъ» (банкъ). Самъ Мнишекъ велъ игру и съ обычнымъ своимъ счастьемъ: не прошло и часа времени, какъ передъ нимъ лежала груда золотыхъ. Больная нога его была еще забинтована, но видъ у него былъ со-

вершенно свѣжій и бодрый, точно игра служила ему лучшимъ лекарствомъ отъ подагры.

Не то было съ остальными игроками: въ ихъ чертахъ лица, движеніяхъ и восклицаніяхъ игорная страсть выражалась отталкивающимъ образомъ. На одного же изъ нихъ—пана Тарло—глядѣть было просто страшно: глаза его готовы были, кажется, выкатиться изъ орбитъ, а залитое огнемъ лицо его или, вѣрнѣе сказать, лѣвая сторона лица съ пересѣкавшимъ его шрамомъ искажалась по временамъ сардонической улыбкой. Онъ зналъ вѣдь, что жадный шутъ-ростовщикъ хищнымъ звѣремъ поджидаетъ въ сосѣдней комнатѣ проигравшихся игроковъ, но что ему, самому неисправному должнику, онъ ни одного карбованца уже не повѣритъ.

И вдругъ,—о диво! за спиной его раздается вкрадчивый голосъ Балцера Зидека:

— Пане Тарло! На пару словъ.

Онъ обернулся. Шутъ молчаливымъ жестомъ манитъ его за собой въ другую комнату. Неужели этотъ скряга все-таки одумался и ему повѣритъ?

— Ну, что, Балцеръ,—началъ панъ Тарло, покровительственно хлопая его по плечу.—Видно, царевичъ отвалилъ вамъ за ваше «геройство» столько дукатовъ, что вамъ и дѣвать ихъ некуда? Но впередъ говорю вамъ, что болѣе ста на сто отъ меня и не ждите.

— И тысячи на сто не возьму отъ ясновельможнаго пана: давно проученъ.

— Такъ для чего же вы меня звали? Шутить надъ собой, вы знаете, я никому не позволю!

— Помилуйте! Кто же дерзнетъ шутить надъ благороднымъ рыцаремъ? Но у меня есть одно средство раздобыть вамъ полный кошель дукатовъ и безъ всякихъ процентовъ. Отойдемте-ка въ сторону: неравно кто услышитъ и воспользуется моей блестящей мыслью.

Они отошли въ крайній уголъ комнаты, и шутъ, приподнявшись на цыпочки, приставилъ ротъ свой къ самому уху пана Тарло.

— Г-мъ...—промычалъ тотъ, выслушавъ таинственное предложеніе. — Мысль, достойная чорта!

— Слишкомъ много чести, пане, слишкомъ много чести!—отозвался Балцеръ Зидекъ, осклабляясь до ушей.—Нашему брату хоть чертенкомъ быть— и то спасибо. Ну, а вздернутъ на одну перекладину съ самимъ чортомъ, такъ по крайней мѣрѣ честь и почетъ.

— Типунъ вамъ на языкъ!—буркнулъ панъ Тарло, гадливо морщась.—Меня никто и пальцемъ не тронетъ!

— Вотъ потому я и обратился къ самому чорту... то бишь, къ ясновельможному пану. Угодно пану идти со мной?

— Сейчасъ?..

— А то когда же? Надо ловить фортуну за чубъ. Самое подходящее время. Теперь въ цѣломъ лагерѣ никому нѣтъ до насъ дѣла.

— А фонарь у васъ припасенъ?

— Еще бы! Только выбраться намъ изъ дома надо врозь: вашей ясновельможности, по чину, съ

параднаго крыльца, а вашему покорному рабу — съ чернаго.

Съ этими словами шутъ юркнулъ въ заднюю дверь, ясновельможный же сообщникъ его направился къ главному выходу. Въ передней панъ Тарло не нашелъ даже нужнымъ растолкать заснувшаго на скамьѣ слугу, самъ снялъ съ гвоздя свой мѣховой кунтушъ и вышелъ въ обширныя сѣни или, точнѣе сказать, крытый переходъ, соединявшій обѣ половины дома —гетмана и царевича.

Въ это самое время стукнула противоположная дверь половины царевича. Не желая быть замѣченнымъ выходящими оттуда, панъ Тарло отступилъ въ темный уголъ подъ деревянной лѣстницей, которая вела наверхъ въ свѣтелку. Притаился онъ тамъ очень кстати, потому что, при тускломъ свѣтѣ повѣшаннаго надъ лѣстницей ночника, разглядѣлъ теперь князя Курбскаго и пана Бучинскаго.

— Вы къ себѣ, пане?—спросилъ Курбскій, протягивая руку маленькому секретарю царевича.

— Да, хочу окончить мой письменный докладъ пану гетману о сегодняшнемъ дѣлѣ,—отвѣчалъ тотъ съ подавленнымъ вздохомъ.—Какое зло вѣдь, какъ подумаешь этакая война! Я нарочно распорядился сосчитать число павшихъ, чтобы знать пропорцію убыли у москвитянъ и у насъ. Нашихъ пало всего-на все сто двадцать человѣкъ, а ихъ— четыре тысячи!

— Но это ужасно! А раненыхъ всѣхъ подобрали: и нашихъ и ихъ?

— Всѣхъ едва-ли. Поле битвы, какъ вы сами знаете, растянулось на много верстъ, а въ три часа дня уже смерклось. Нѣсколько раненыхъ москвитянъ сами приплелись въ нашъ лазаретъ, и лекаря съ фельдшерами до сей минуты, я полагаю, перевязываютъ раны. Я строго-на-строго приказалъ имъ не дѣлать различія между нашими и москвитянами: всѣ мы вѣдь передъ Богомъ тѣ же люди!

— Позвольте отъ души поблагодарить васъ за это, пане!—съ теплотою проговорилъ Курбскій.— Вы назвали сейчасъ войну зломъ; да, она—страшное зло, разжигаетъ самыя звѣрскія страсти; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, война учитъ насъ оказывать другимъ братскую помощь, дѣлить съ другими опасность; на войнѣ скрѣпляются узы дружбы и вообще исполняется ученіе Христово: «Люби ближняго какъ самого себя». Я сейчасъ загляну въ лазаретъ...

— Загляните, князь; сердечное участіе ободряетъ больныхъ. Я, къ сожалѣнію, не имѣю пока времени идти съ вами. Желаю вамъ доброй ночи.

— Доброй ночи, милый пане.

Деревянная лѣстница надъ головою пана Тарло заскрипѣда подъ ногами пана Бучинскаго, занимавшаго наверху свѣтелку.

— Тоже полякъ!—злобно пробормоталъ про себя панъ Тарло, выжидая, пока и шаги Курбскаго замолкнутъ на крыльцѣ.

Тогда онъ осторожно выбрался изъ своей засады и спустился съ крыльца на дворъ.

Хуторъ, въ которомъ, какъ уже сказано, помѣщалась «гетманская квартира», былъ окруженъ большимъ фруктовымъ садомъ. Сквозь безлиственныя, но опушонныя инеемъ деревья этого сада отдаленный отсвѣтъ войсковыхъ костровъ едва достигалъ до хутора тамъ и сямъ слабыми бликами. Но очищенная отъ снѣга площадка передъ крыльцомъ лежала такъ открыто подъ лучами освѣщенныхъ гетманскихъ оконъ, что панъ Тарло предпочелъ свернуть въ противоположную сторону. Пробираясь тутъ вдоль затемненной половины царевича, гдѣ за спущенными занавѣсями свѣтились только два окна, онъ на минуту остановился. Между занавѣсями оставалась свободная полоска, въ которую можно было разглядѣть сидящаго за письменнымъ столомъ царевича. Передъ нимъ были разложены бумаги; но онъ, облокотясь на столъ, закрылъ глаза ладонью, точно въ тяжеломъ раздумьѣ.

— Да, ваше царское величество, призадумаешься тутъ!—усмѣхнулся про себя панъ Тарло.—Своихъ же москалей уложить четыре тысячи,—покорно благодарю! Думайте, думайте; можетъ, что-нибудь и придумаете, а мы тѣмъ временемъ будемъ вашими руками жаръ загребать.

И, иронически кивнувъ, какъ бы на прощанье, головой, онъ продолжалъ свой путь за уголъ сада, гдѣ его поджидалъ его достойный сообщникъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ царствѣ смерти.

Между тѣмъ Курбскій входилъ уже въ большой деревянный балаганъ полевого лазарета. Перевязка раненыхъ только-что была окончена. Старшій лекарь, въ бѣломъ фартукѣ, забрызганномъ кровью, съ засученными до локтей рукавами стоялъ передъ лоханью и мылъ свои окрававленныя руки. Когда Курбскій подошелъ къ лекарю и поздоровался, тотъ обернулся къ нему измученнымъ и краснымъ, какъ изъ бани, лицомъ, на которомъ блестѣли крупныя капли пота.

— А, ясновельможный князь! Изъ всего офицерства вы здѣсь первый. Никто до сихъ поръ вѣдь и не полюбопытствовалъ. Задали же вы намъ работу!

Курбскій оглядѣлся въ просторномъ баракѣ, слабо освѣщенномъ одной лишь стѣнной масляной лампой надъ операціоннымъ столомъ. Больные лежали на соломѣ въ повалку, почти вплотную одинъ около другого; счетомъ ихъ было, однако, едва ли болѣе пятидесяти.

— А я думалъ, что ихъ куда больше,—замѣтилъ Курбскій.

— И то чуть ли не половина москалей,— проворчалъ лекарь.—Ужъ этотъ мнѣ панъ Бучинскій! Принимай и чужихъ, когда своихъ не оберешься. Спасибо еще донскимъ казакамъ, да и нашимъ бравымъ ратникамъ, что добивали павшихъ.

— И вы, пане лекарь, одобряете эту жестокость, вы, который должны служить для другихъ примѣромъ милосердія!—возмутился Курбскій.

— Тише, тише, князь; вы забываете, что больнымъ это слышать не годится. Но сами согласитесь: коли кто раненъ на смерть, не лучше ли сразу прекратить его мученья?

— На все воля Божья, панъ лекарь,—отозвался кто-то строгимъ голосомъ по-русски изъ глубины барака.

Курбскому голосъ показался какъ-будто знакомымъ, и онъ, пройдя нѣсколько шаговъ, отыскалъ говорившаго: глаза его встрѣтились съ устремленными на него печальными глазами раненаго, который оказался изъ числа ратниковъ собственной хоругви царевича.

— Это ты, Веревкинъ?—сказалъ Курбскій.— Тебя куда ранило?

— Да въ голень, ваша честь, шальной пулей. И то вѣдь, признаться: стоишь этакъ въ дыму, ничевошенько-таки передъ собой не видишь; слышишь только, какъ жужжатъ онѣ, проклятыя, вкругъ тебя, словно пчелы на пасѣкѣ весною; ну, и самъ палишь тоже зря, не цѣлясь; забиваешь, знай, шомполомъ зарядъ, подсыпаешь пороху на полку, да пли. Виноватаго пуля все равно отыщетъ.

— А кости у тебя не тронуло?

— Какъ лучину расщепило. Ну, а дровосѣкъ этотъ вонъ всю ногу пониже колѣна пилой своей отпилилъ... Ой, батюшки, какъ ноетъ-то! хуже зуба...

— Не любишь?—съ горькою шутливостью замѣтилъ лежавшій рядомъ молодчикъ.—Вѣдь вонъ и его милость, видишь, тоже попортило, а ничего, не жалобится по-бабьи.

Онъ указалъ глазами на лѣвую руку Курбскаго, которая была въ повязкѣ.

— Это — пустякъ, — сказалъ Курбскій, пристально вглядываясь въ страдальческое, земляного цвѣта, лицо молодчика.—Я словно тебя уже видѣлъ...

— Да какъ не видать, коли при тебѣ же царевичъ вызволилъ меня нынче изъ рукъ этого...

Не договоривъ, онъ закашлялся, а въ горлѣ у него хрипло заклокотало. Курбскій узналъ въ немъ русскаго стрѣльца-знаменщика—жертву пана Тарло.

— Не могу ли я чего для тебя сдѣлать?—спросилъ онъ участливо.

— Для меня-то все кончено,—прошепталъ тотъ съ усиліемъ.—А коли Господь дастъ твоей милости побывать разъ въ Москвѣ...

Онъ опять перевелъ духъ, чтобы отереть съ губъ выступившую на нихъ кровяную мокроту.

— Вотъ видишь? изъ самого нутра!—продолжалъ онъ, и блѣдныя губы его искривились опять жалкой усмѣшкой, точно и жалѣлъ-то онъ себя, и издѣвался надъ собственною своею немощью. — Лекарь прямо такъ и объявилъ, что легкое-де прострѣлено; стало, ставь на мнѣ крестъ...

— Ну, и такіе выживаютъ,—сказалъ Курбскій, съ трудомъ сохраняя наружное спокойствіе.— А что̀ это ты началъ говорить мнѣ о Москвѣ? Я хоть и не бывалъ еще тамъ, но разсчитываю скоро быть.

— Спаси тебя Господи, кормилецъ... Есть у меня, вишь, подъ Москвою въ селѣ Вяземахъ мать-старуха... Мною только живетъ и дышетъ... Отвези же ей поклонъ отъ меня: не поминала бы лихомъ, коли иной разъ огорчалъ ее, былъ непокорнымъ сыномъ... Да еще скажи... скажи, чтобы много не крушила себя, что я ни чуточки не мучился передъ кончиной... Ой, Богъ Ты мой!...

Все лицо его вдругъ судорожно перекосило, глаза закатились, и онъ глухо застоналъ. Только грудь его высоко вздымалась, да изъ глубины ея вырывались хриплые стоны. Курбскій постоялъ надъ нимъ, постоялъ; потомъ тихонько спросилъ Веревкина, не сказывалъ ли ему стрѣлецъ своего имени.

— Сказывалъ,—отвѣчалъ Веревкинъ:—зовутъ его Прокопомъ Сѣдельниковымъ.

Курбскій молча кивнулъ головой и сталъ обходить другихъ раненыхъ. Поляки съ холодною гордостью отклоняли предлагаемую княземъ-москалемъ помощь; русскіе же, какъ изъ царской хоругви, такъ и плѣнные, отвѣчали ему охотно и заявляли ему разныя желанія. Подойдя опять къ старшему лекарю, Курбскій, отъ имени царевича, попросилъ его удовлетворить по возможности эти скромныя желанія. Когда онъ затѣмъ, направляясь къ выходу, проходилъ мимо Прокопа Сѣдельникова, послѣдній его снова окликнулъ:

— Князь Михайло Андреичъ!

Курбскій остановился и спросилъ, чѣмъ можетъ ему еще услужить.

— Будь радѣтель... изволишь видѣть... Коли твоей милости доведется найти мою матушку, такъ не поминай ей только, Бога ради, про того польскаго пана, который, знаешь...

У умирающаго языкъ не повернулся договорить: слишкомъ ужъ стыдно и горько было ему, видно, чтобы даже умирающіе здѣсь вмѣстѣ съ нимъ слышали о той позорной пыткѣ, которой подвергнулъ его панъ Тарло.

— Знаю, знаю,—успокоилъ его Курбскій.— Я скажу ей, что ты палъ въ честномъ бою на полѣ брани...

— И что меня тамъ же схоронили...

— Хорошо, хорошо.

Глубоко потрясенный, Курбскій вышелъ изъ

лазарета, который представлялся ему какъ бы кладбищемъ съ живыми покойниками. Триста лѣтъ назадъ хирургія была вѣдь еще въ первобытномъ состояніи, о противогнилостныхъ средствахъ не имѣли понятія, и большинство тяжело раненыхъ обречено было на смерть.

«А тамъ, въ полѣ, лежитъ ихъ еще четыре тысячи—уже бездыханныхъ,—вспомнилось ему.—И, какъ знать? иной изъ нихъ палъ хоть замертво, да теперь, пожалуй, очнулся, напрасно взываетъ о помощи, лежитъ на снѣгу и коченѣетъ на морозѣ»...

Курбскій ускорилъ шагъ и, войдя къ себѣ, кликнулъ своего хлопца-слугу, Петруся Коваля, сопровождавшаго его еще съ лѣта изъ Запорожской Сѣчи.

— Тебѣ, Петрусь, сколько лѣтъ-то будетъ?

— Да пятнадцать еще въ Варваринъ день стукнуло,—не безъ важности пробасилъ своимъ пѣтушинымъ басомъ юный запорожецъ, выпрямляясь во весь ростъ.

— Какъ есть казакъ!—улыбнулся Курбскій, а затѣмъ прибавилъ опять серьезно:—а покойниковъ не боишься?

— Покойниковъ?...—переспросилъ Петрусь, которому все-таки стало какъ будто-бы не по себѣ.

— Да, мертвецовъ. Ныньче въ бою пало тысячи четыре однихъ русскихъ. За темнотою они еще въ полѣ не убраны, не похоронены. А межъ нихъ, можетъ, найдутся и такіе, что не совсѣмъ убиты, а лежатъ только замертво. Не погибать же имъ!

Такъ достанетъ ли у тебя духу идти туда ночью?

— Одному?..

— Нѣтъ, вмѣстѣ со мной.

— О! съ тобой, княже, я полѣзу сейчасъ хоть къ чорту на рога.

— Такъ идемъ же.

И вотъ они миновали лагерь, вотъ они уже и на полѣ битвы. Небо было обложено мглистою дымкой, и сквозь нее еле-еле пробивался сумеречный свѣтъ отъ взошедшей уже надъ горизонтомъ, но невидимой луны. Тѣмъ не менѣе, благодаря снѣгу, на бѣлѣющей равнинѣ, довольно ясно различались, разсѣянныя кругомъ темными пятнами, неподвижныя тѣла. Молча шагая между ними, Курбскій по временамъ останавливался, наклонялся и прислушивался, не подастъ ли кто голоса, не донесется ли откуда-нибудь хоть слабаго стона. Но все кругомъ было до жуткости тихо,—настоящее царство смерти! Петрусь Коваль, который давеча такъ храбрился, ни на шагъ не отставалъ отъ Курбскаго и пугливо озирался. Вдругъ онъ схватился за рукавъ своего господина.

— Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй мя!

— Что съ тобой?—спросилъ Курбскій.

— А вотъ этотъ.. Точно глядитъ на насъ и смѣется.

Дѣйствительно, лежавшій навзничь съ полуоткрытымъ ртомъ мертвецъ оскалилъ зубы, а бѣлки его глазныхъ яблокъ, широко выкатившихся изъ запрокинутой головы, тускло блестѣли.

— Нѣтъ, совсѣмъ окоченѣлъ, — сказалъ Курбскій, ощупавъ рукой лицо покойника, и сдѣлалъ надъ нимъ крестное знаменіе.— Упокой Господь его душу! Но какъ онъ, бѣдный, должно быть, мучился!..

Раскинутыя врозь руки мертвеца скрюченными пальцами и то впились въ снѣгъ, какъ въ предсмертной агоніи.

— Идемъ дальше, милый княже...— заторопилъ Петрусь, и они двинулись далѣе.

Такъ прошли они версту, другую. Тутъ впереди ихъ показались двѣ человѣческія тѣни, и блеснулъ огонекъ.

— Смотри-ка, княже,— замѣтилъ Петрусь:— вонъ двое съ фонаремъ. Зачѣмъ они здѣсь?

— За тѣмъ же, конечно, за чѣмъ и мы съ тобой, отвѣчалъ Курбскій.—Послалъ ихъ сюда, вѣрно, панъ Бучинскій.

— А можетъ, они просто обираютъ мертвецовъ?

— Не дай Богъ!

— Но бываютъ же вѣдь и такіе?

— Бываютъ, слышно; но это такое ужъ злодѣйство!... Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ думать сейчасъ дурное?

— Вотъ они остановились, обшариваютъ одного...

— Не обшариваютъ, а смотрятъ, живъ ли. Идемъ-ка поскорѣе, пособимъ имъ.

Есть люди, которые, благодаря своей свѣтлой душѣ, ходятъ среди темной толпы какъ бы съ зажженнымъ свѣточемъ въ темномъ бору, и видятъ одну лишь освѣщенную ихъ свѣточемъ сторону деревъ. Таковъ былъ и Курбскій. Судя по себѣ,

онъ и другимъ людямъ приписывалъ, прежде всего, добрыя человѣческія побужденія, какія были у него самого. На этотъ разъ онъ жестоко ошибся.

Наклонившись надъ распростертымъ на снѣгу тѣломъ, тѣ двое не разслышали приближенія Курбскаго и Петруся, пока эти совсѣмъ не подошли къ нимъ. Тутъ оба разомъ подняли головы. Фонаремъ, который одинъ изъ нихъ держалъ въ рукѣ, освѣтило лица обоихъ, и Курбскій, къ крайнему своему изумленію, въ одномъ изъ нихъ узналъ старшаго адъютанта, а въ другомъ—шута гетмана.

— Пане Тарло!—вскричалъ онъ.—И вы, Балцеръ Зидекъ!

Тѣ, въ свою очередь, были не столько удивлены, сколько смущены. Панъ Тарло посулилъ кому-то «сто дьябловъ»; Балцеръ Зидекъ же, мигомъ оправясь, отозвался съ задорною фамильярностью:

— Какъ видите, собираемъ жатву, какъ и ваша княжеская милость! Но мы васъ не выдадимъ, будьте покойны: воронъ вѡрону глазъ не выклюетъ.

Теперь для Курбскаго не могло быть уже никакого сомнѣнія относительно цѣли, съ какою тѣ прибыли на поле смерти.

— Съ вѡронами у меня нѣтъ дѣла!—сказалъ онъ съ нескрываемымъ уже презрѣніемъ.—Мнѣ нужны здѣсь не мертвые, а живые. А этотъ, слава Богу, кажется, еще живъ.

— Живъ, княже, но выживетъ ли?—отвѣчалъ Петрусь, опустившійся на колѣни передъ лежав-

шимъ навзничь русскимъ ратникомъ, изъ груди котораго вырывались слабые стоны.

— Выживетъ или нѣтъ, а мы сдѣлаемъ для него все, что̀ можемъ.

— Желаю вамъ успѣха...—сердито буркнулъ панъ Тарло и повернулся, чтобы уйти.

Но Курбскій рѣшительно заступилъ ему дорогу.

— Вы такъ не уйдете, пане! Самъ я теперь моей лѣвой рукой не владѣю. Поэтому вы не откажетесь, конечно, вмѣстѣ съ Балцеромъ и моимъ слугой, отнести этого несчастнаго до лазарета.

— Чтобы я, рыцарь, несъ простого ратника, москаля, да еще вмѣстѣ съ кѣмъ? съ вашимъ слугою-быдломъ! Вы, князь, простите, хорошій человѣкъ, но въ добротѣ своей доходите до Геркулесовыхъ столбовъ. Извинить васъ можно развѣ тѣмъ, что вы не полякъ, и не знаете, что̀ такое польскій гоноръ!

И, отстранивъ рукою озадаченнаго Курбскаго, благородный панъ не спѣша удалился. Балцеръ Зидекъ, покинутый своимъ сообщникомъ, хотѣлъ было также улизнуть. Но Курбскій поймалъ его за воротъ.

— Куда! Вы поможете намъ снести бѣднягу въ лагерь. Но прежде осмотрите-ка его рану: вы вѣдь кое-что смыслите въ леченіи.

Шутъ, уже не прекословя, сталъ ощупывать послѣдовательно все тѣло умирающаго. Добравшись такъ сперва до одной ноги, потомъ до другой, онъ промычалъ:

— Гмъ...

— Что̀ такое?—спросилъ Курбскій.

— Да кость подъ самымъ колѣномъ раздроблена; а крови-то, смотрите, крови сколько!

— Надо, значитъ, сейчасъ же перевязать. Вы, Балцеръ, вѣдь и въ перевязкахъ мастеръ.

— Да вѣдь ему, ваша милость, все равно одинъ конецъ: совсѣмъ истекъ кровью.

— Это рѣшать не намъ съ вами. Доставить бы лишь живымъ въ лазаретъ.

— Эхъ-эхъ!—вздохнулъ шутъ. — Человѣкъ только-что вѣдь сбирался вкусить вѣчное блаженство, а его силой назадъ тянутъ! Ну, что жъ, хлопче, помоги-ка мнѣ снять съ него сапогъ.

Сапогъ былъ снятъ и рана перевязана; при чемъ хирургъ поневолѣ прилагалъ всѣ свои старанія, чтобы угодить наблюдавшему за каждымъ его движеніемъ молодому князю. Въ заключеніе, когда всѣ трое съ возможною осторожностью приподняли все еще не пришедшаго въ память раненаго съ земли (Курбскій одною правою рукой), заботливый Балцеръ Зидекъ не забылъ захватить съ собой и сапогъ ратника. Тутъ сапогъ выскользнулъ у него изъ-подъ мышки. Нагнувшись за нимъ, Балцеръ Зидекъ сначала, однако, схватилъ что-то другое съ земли и сунулъ себѣ за пазуху.

— Ты что̀ это, братику, поднялъ?—спросилъ его Петрусь.

— Видишь,—сапогъ.

— Не о сапогѣ я тебя спрашиваю, а о томъ, что̀ ты за пазуху спряталъ.

— Ну, это у меня изъ кармана выпало.

— Такъ ли? Не изъ чужого ли сапога?

— Ну, полно, Петрусь,—вступился Курбскій.—Мѣсто ли тутъ...

— Да вѣдь у насъ, милый княже, на Запорожьѣ многіе казаки кошель свой, вмѣстѣ съ люлькой, за голенищемъ носятъ. Можетъ, и этотъ тоже...

— Перестань, будетъ!—перебилъ Курбскій.

Однако, подозрѣніе его было уже возбуждено, и онъ не могъ уже отдѣлаться отъ мысли, что Балцеръ Зидекъ присвоилъ себѣ деньги ратника. Самъ шутъ удивительно присмирѣлъ, и только когда они подходили къ лазарету, онъ заискивающе-униженно сталъ умолять Курбскаго никому не говорить объ этой ночной ихъ «прогулкѣ».

— Вы сами, Балцеръ, разскажете обо всемъ военному суду,—холодно отвѣтилъ Курбскій.

Тотъ совсѣмъ опѣшилъ.

— Военному суду! Ваша княжеская милость шутить изволите.. Клянусь горбомъ моей троюродной тетки...

— Мнѣ не до шутокъ, Балцеръ,—прервалъ Курбскій.—А вотъ и лазаретъ.

Сдавъ умирающаго лекарю, а шута подъ надзоръ двухъ ратниковъ изъ царской хоругви, Курбскій отправился къ царевичу доложить обо всемъ, чему онъ только-что былъ свидѣтелемъ на полѣ смерти.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вороньё черное и бѣлое.

Димитрій, послѣ нѣкотораго колебанія, склонился на убѣжденія своего совѣтчика и друга передать дѣйствія пана Тарло и Балцера Зидека на усмотрѣніе военнаго суда. За позднимъ часомъ дѣло было, однако, отложено до утра, а поутру оно отодвинулось на второй планъ новымъ, болѣе важнымъ обстоятельствомъ. Отъ запорожцевъ, которыхъ столько времени не могли дождаться, прибылъ гонецъ съ вѣстью, что четыре тысячи ихъ, съ кошевымъ атаманомъ Семеномъ Рёвой, подошли, наконецъ, и расположились въ трехъ верстахъ отъ лагеря. Надо было принять ихъ съ подобающею торжественностью, и вотъ навстрѣчу дорогимъ гостямъ выѣхали рядомъ на сво-

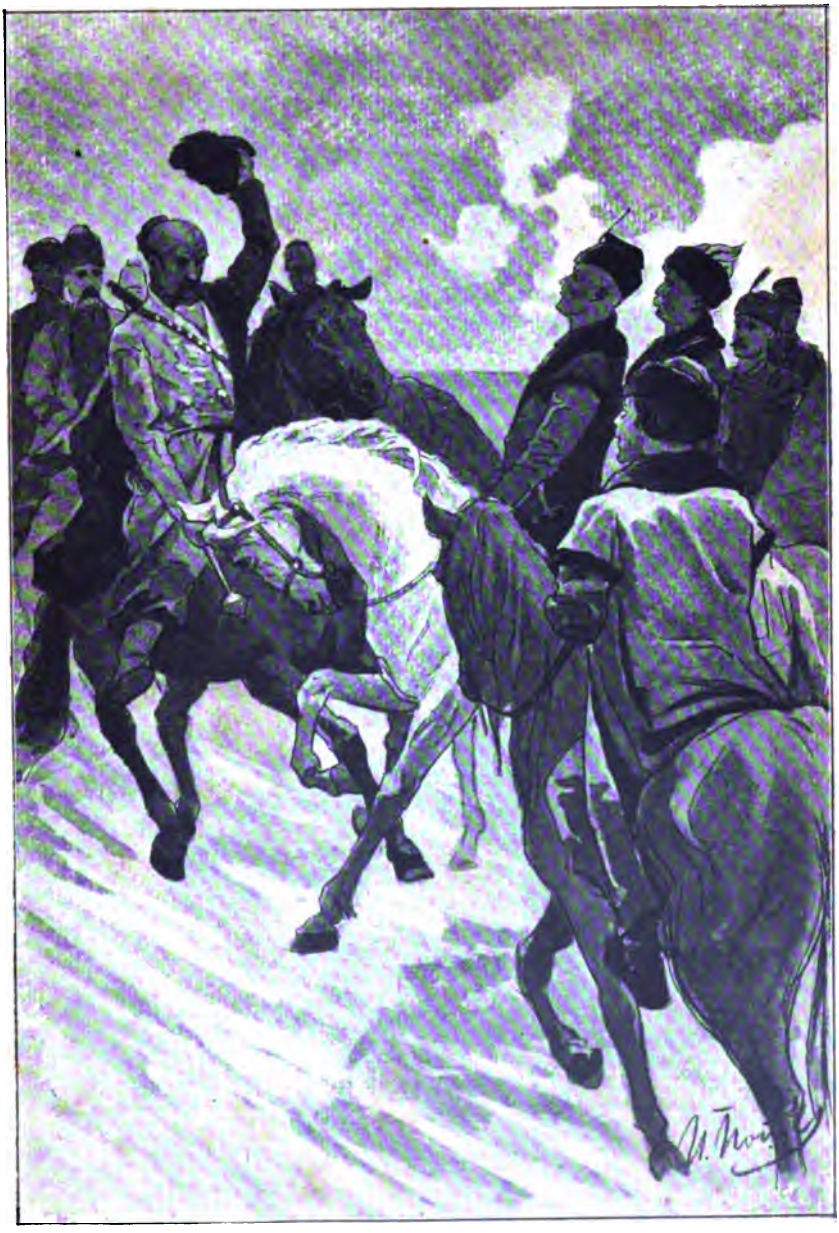
ихъ кровныхъ аргамакахъ, обряженные по-праздничному, царевичъ и старикъ гетманъ (совсѣмъ, казалось, оправившійся отъ своего недуга); впереди ихъ выступали трубачи, литаврщики и барабанщики, исполнявшіе воинственный маршъ; позади слѣдовала, разумѣется, вся блестящая свита обоихъ, а за свитой—взводъ донскихъ казаковъ съ дротиками и развѣвающимися значками.

Прибывшіе запорожцы, какъ оказалось, были все пѣшіе, за исключеніемъ начальствующихъ лицъ: самого кошевого атамана, войскового есаула, двухъ походныхъ полковниковъ и наказныхъ куренныхъ атамановъ [1]).

Присутствуя полгода назадъ въ Сѣчѣ на выборахъ Семена Рёвы въ кошевые атаманы, Курбскій хорошо еще его помнилъ. Да и какъ было забыть эту изрубленную до безобразія рожу, на которой не было вершка безъ рубца и шрама, не говоря уже объ особой примѣтѣ—отсѣченномъ лѣвомъ ухѣ. Самъ Рёва, понятно, гордился этими боевыми знаками, придававшими ему звѣрски-молодецкій видъ. Спустивъ съ одного плеча свою дорогую кунью шубу, чтобы не лишить другихъ удовольствія полюбоваться его роскошной узорчатой черкеской и блестящимъ вооруженіемъ, онъ снялъ съ головы свою пышную шапку изъ черныхъ лисицъ, а дру-

---

[1]) Наказные атаманы вели отдѣльные курени въ походъ; настоящіе же куренные атаманы оставались въ Сѣчѣ «на господарствѣ», т.-е. для завѣдыванія на мѣстѣ куреннымъ хозяйствомъ.



гой рукой опустилъ свою атаманскую булаву въ видѣ привѣтствія передъ царевичемъ и гаркнулъ зычно:

— Твоей ясновельможной царской милости доброжелательные пріятели: атаманъ кошевой Семенъ Рёва со всѣмъ войска низового запорожскаго товариствомъ челомъ бьемъ!

Димитрій съ достоинствомъ приподнялъ тоже на головѣ свою бархатную, четвероугольную шапку съ алмазнымъ перомъ и отвѣчалъ не менѣе радушно:

— Великое спасибо твоей ясновельможности, пане батьку, и всѣмъ вамъ, панове, за добрую помощь старому товарищу и брату! Братски всѣхъ васъ обнимаю и цѣлую въ вашемъ славномъ батькѣ-атаманѣ.

Подъѣхавъ за этимъ вплотную къ Рёвѣ, онъ обнялся съ нимъ и троекратно облобызался. Братаніе двухъ начальниковъ было встрѣчено трескомъ запорожскихъ литавръ и барабановъ. Въ то же время всѣ запорожцы разомъ сбросили съ плечъ свои косматыя зимнія бурки и предстали во всей красѣ своихъ праздничныхъ цвѣтныхъ кунтушей, шелковыхъ поясовъ съ золотыми кистями, цвѣтныхъ шараваръ съ золотыми галунами и самой разнообразной воинской «сброи»: рушницъ (ружей), саблей, палашей, ятагановъ, копій, обуховъ (боевыхъ молотковъ), кинжаловъ, пистолей, лядунокъ (пороховницъ); а затѣмъ, развернувшись фронтомъ, прошли курень за куренемъ мимо царевича, задорно бряцая оружіемъ.

Выразивъ свое восхищеніе ихъ молодцеватымъ

видомъ и поблагодаривъ ихъ вторично, Димитрій обратился съ вопросомъ къ атаману, почему они, запорожцы, такъ запоздали.

— Позамѣшкались, точно, — отозвался Рёва,—а все изъ-за этой татарвы поганой. Грому на нихъ нѣтъ! Пронюхали, черти, что мы на походѣ, и тѣмъ же часомъ налетѣли, что̀ саранча, на наше Запорожье. Но мы, благодареніе Богу, отошли еще не такъ далеко. Догналъ насъ нарочный, вернулъ съ похода.

— И вы не дали уже имъ спуску?

— Овва! Разсѣяли, какъ прахъ по степи, гнались за ними до самыхъ ихъ улусовъ, а ужъ тутъ пошла такая потѣха!..

— Не мало, я чай, табуновъ отгромили?

— И табуновъ и стадъ. Ну, знамо, не обошлось и безъ краснаго пѣтуха. Огонь съ крыши на крышу такъ и полыхаетъ, кругомъ татарки съ татарчатами середь полымя мечутся, что̀ угорѣлыя: «Алла! иль Алла!» Кобылы ржутъ, коровы ревутъ, овцы блеютъ... Потѣха да и только̀!

— Пожалуй, и иной живой души не пожалѣли?

— Души? — удивился запорожецъ. —Ну, вже такъ! Нешто у татарвы тоже души христіанскія?

— Не христіанскія, а все же...

— Одинъ паръ. Чего жалѣть-то? Руби, знай, носы да уши, а то и голову съ плечъ, алибо за ноги да въ полымя,—туда и дорога!

— И вотъ это-то вороньё, государь, мы призвали

съ собой на родную нашу Русь!—вполголоса замѣтилъ царевичу возмущенный Курбскій.

Димитрій куда лучше своего друга сдерживалъ волновавшія его чувства. Что думалъ онъ про лютость дикихъ сыновъ Запорожья, онъ счелъ совершенно неумѣстнымъ выдать атаману и съ прежнею привѣтливостью освѣдомился о томъ, гдѣ же конные запорожцы, которыхъ ожидалось тоже, кажется, до восьми тысячъ.

— Да кони у нихъ ужъ больно притомились,— отвѣчалъ Рёва: — вѣдь гнались за этой поганью, поди, до самаго Чернаго моря; надо дать имъ еще лишнюю недѣльку передохнуть, покормиться.

— Какъ бы лишь не запоздали до новой схватки съ Борисовымъ войскомъ.—сказалъ царевичъ и въ короткихъ словахъ разсказалъ о жаркой битвѣ наканунѣ, въ которой легло столько русскихъ, что даже схоронить ихъ еще не успѣли.

— Вы, пане Тарло, позаботьтесь объ этомъ,— отнесся Мнишекъ къ своему старшему адъютанту.

— Смѣю доложить пану гетману,—отвѣчалъ съ почтительною фамильярностью панъ Тарло,— что панъ Бучинскій хотѣлъ было уже послать туда нашихъ польскихъ ратниковъ съ лопатами; но тѣ до одного наотрѣзъ отказались хоронить москалей. Да и то сказать: ихъ все равно вѣдь снѣгомъ занесетъ.

— Но они такіе же христіане, какъ и мы съ вами, и пали въ честномъ бою! воскликнулъ Курбскій.

— Не кипятись, Михайло Андреичъ,—остановилъ его Димитрій.—Есть у насъ на то моя царская хоругвь.

— Не дозволишь ли, государь, немѣшкотно сдѣлать это моимъ запорожцамъ?—предложилъ тутъ Рёва и передалъ соотвѣтственное приказаніе своему ближайшему помощнику—есаулу.

По возвращеніи въ главную квартиру, Курбскій напомнилъ снова царевичу о созывѣ военнаго суда надъ паномъ Тарло и Балцеромъ Зидекомъ. Но Димитрій призналъ болѣе осторожнымъ обсудить вопросъ сперва келейно съ гетманомъ и двумя духовными совѣтниками: патерами Сѣраковскимъ и Ловичемъ. На этомъ частномъ совѣщаніи Курбскому было предложено разсказать, какъ было дѣло, и разсказъ его дышалъ такимъ благороднымъ негодованіемъ, что въ правдивости его едва-ли кто-либо изъ слушателей могъ усомниться. Тѣмъ не менѣе оба патера не выказывали никакихъ признаковъ неудовольствія поведеніемъ двухъ обвиняемыхъ. По временамъ лишь патеръ Ловичъ украдкой вопросительно переглядывался съ своимъ старшимъ собратомъ; но тотъ въ отвѣтъ пожималъ только плечами. Старику гетману же, видимо, было крайне непріятно обвиненіе двухъ близкихъ ему людей, и онъ съ хмурымъ видомъ нетерпѣливо ворочался въ своемъ креслѣ.

— И на основаніи такихъ-то уликъ вы позволили себѣ взять подъ стражу моего вѣрнаго

шута?—формальнымъ тономъ спросилъ онъ, когда докладчикъ умолкъ.

— Но онъ могъ скрыть слѣды преступленья!—отвѣчалъ Курбскій. — И улики, я полагаю, настолько ясны...

— Не касаясь пока вопроса о степени преступности обвиняемыхъ,—прервалъ его Мнишекъ,—не могу не указать вамъ, любезный князь, что всякое преступное дѣяніе, прежде всего, должно быть засвидѣтельствовано по меньшей мѣрѣ двумя достовѣрными очевидцами.

— Но они есть: я и мой слуга, Петро Коваль.

— Противъ вашей княжеской милости, какъ свидѣтеля, ничего, конечно, возразить нельзя. Относительно же вашего хлопца дѣло совсѣмъ иное. Вѣдь онъ несовершеннолѣтній?

— Да; ему шестнадцатый годъ.

— Ну, вотъ, изволите видѣть. Показанія его могли бы служить только подтвержденіемъ показаній двухъ полноправныхъ свидѣтелей; сами же по себѣ не имѣютъ законной силы.

— А затѣмъ онъ, какъ рабъ, вообще не имѣетъ голоса,—вставилъ отъ себя патеръ Сѣраковскій.

— Простите, clarissime,—возразилъ Курбскій,—но онъ изъ вольныхъ запорожскихъ казаковъ...

— Однако, состоитъ у васъ въ услуженіи, стало-быть, еще сомнительно, можетъ ли онъ считаться теперь наравнѣ съ другими вольными людьми.

— А военный судъ нашъ можетъ руковод-

ствоваться только точнымъ смысломъ законовъ,— подхватилъ Мнишекъ. — Если самъ инкульпатъ (подсудимый) добровольно не сознается въ взводимомъ на него преступленіи, то показаніе одного свидѣтеля, даже самаго достовѣрнаго, не считается полнымъ доказательствомъ вины инкульпата, ибо всѣ мы—люди.

— A errare humanum est (человѣку свойственно ошибаться),—добавилъ патеръ Сѣраковскій.

— Такъ сдѣлайте намъ очную ставку!—загорячился опять Курбскій. — Отрицать то, что̀ было, я думаю, ни панъ Тарло, ни Балцеръ Зидекъ не станетъ.

Но онъ черезчуръ довѣрялъ прямодушію двухъ обвиняемыхъ. Когда младшій патеръ вызвалъ ихъ на «конфронтованіе» (очную ставку) съ Курбскимъ, и старикъ-гетманъ спросилъ пана Тарло, съ какою цѣлью тотъ ходилъ прошлою ночью на поле битвы, на лицѣ благороднаго пана выразилось полное недоумѣніе.

— Ночью на поле битвы? — переспросилъ онъ.—Да я и шагу не сдѣлалъ изъ лагеря!

— Вы отрекаетесь отъ того, что я засталъ васъ на полѣ битвы вмѣстѣ съ Балцеромъ Зидекомъ? - вскричалъ Курбскій.—Стало-быть, по вашему, я солгалъ?

— Гмъ... Говорить неправду, любезнѣйшій князь, не значитъ еще лгать: иному просто что-нибудь причудится, приснится.

— Но мнѣ не причудилось и не приснилось: я говорилъ тамъ съ вами.

Панъ Тарло съ тою же хладнокровною наглостью пожалъ какъ бы съ сожалѣніемъ плечами.

— Что мнѣ отвѣтить вамъ на это? Что польскіе рыцари, по крайней мѣрѣ, никогда не лгутъ.

— Такъ, по-вашему, солгалъ я? — досказалъ Курбскій, хватаясь за саблю.—Вы мнѣ за это отвѣтите, пане!

Панъ Тарло щелкнулъ шпорами и отвѣсилъ преувеличенно-вѣжливый поклонъ.

— Всегда, князь, къ вашимъ услугамъ.

— Полно, полно, панове!—вступился Мнишекъ. —Послѣ похода вы можете, сколько угодно, сводить свои личные счеты, на походѣ же военнымъ статутомъ поединки у насъ строго воспрещены. Мало ли, любезный князь, есть примѣровъ, что во снѣ мы видимъ точно на яву? Чего мудрёнаго, что послѣ вчерашняго жаркаго дѣла вамъ ночью причудилось поле битвы...

— Но клянусь вамъ, пане гетманъ...

— Не клянитесь понапрасну; я и такъ вѣрю, что вы говорите совсѣмъ чистосердечно, что вы глубоко убѣждены въ томъ, что утверждаете. Но польскій рыцарь не можетъ быть гверрой (мародеромъ, грабителемъ)! А потому вы не убѣдите меня, пока не дадите мнѣ еще второго свидѣтеля; вашъ хлопецъ для меня, понятно, не можетъ быть таковымъ.

Панъ Тарло глядѣлъ на своего обвинителя съ вызывающей улыбкой: гетманъ, очевидно, его уже не выдастъ. А Курбскій, чувствуя, какъ почва

уходитъ у него изъ подъ ногъ, съ трудомъ сдерживалъ поднимавшуюся въ немъ бурю.

—Такъ Балцеръ Зидекъ подтвердитъ мои слова,— сказалъ онъ. - Вы, Балцеръ, вмѣстѣ съ Ковалемъ, донесли оттуда до лазарета умирающаго .. Вѣдь такъ? Что же вы не отвѣчаете?

Шутъ съ глубокомысленнымъ видомъ прикоснулся до своего лба, откашлянулся и, наконецъ, отозвался:

— Умъ нашъ — чернильница, а рѣчь—перо, изрекъ нѣкій древній мудрецъ; прежде, чѣмъ довѣрить свои словеса пергаменту, перо надо обмакнуть въ чернильницу.. Да, я былъ съ вашею княжескою милостью прошлою ночью на полѣ битвы, но вы сами же предложили мнѣ сопровождать васъ туда.

— Я предложилъ вамъ?—пробормоталъ Курбскій, совершенно ошеломленный развязной выдумкой шута.—Когда? Гдѣ?

— Прошу васъ, князь, не прерывать свидѣтеля,— замѣтилъ внушительно старикъ-гетманъ.—Ну, что же, Балцеръ, разскажи все по порядку.

— Панъ гетманъ припомнитъ,—началъ тотъ,— что съ вечера у васъ былъ маленькій фараончикъ. Какъ человѣкъ мягкосердый, я всѣми мѣрами облегчаю ясновельможному панству участвовать въ этой благородной забавѣ. Одному изъ пановъ рыцарей (имени не называю) не достало уже денегъ, чтобы отыграться. Онъ ко мнѣ: «Балцеръ Зидекъ! Отецъ родной!» А ужъ какъ не помочь родному сыну? «Сейчасъ, говорю, сыночекъ». Выхожу за

дверь; а тамъ, въ сѣняхъ, глядь, навстрѣчу мнѣ его княжеская милость...

Курбскій, негодуя, хотѣлъ-было прервать разсказчика, но Мнишекъ остановилъ его опять повелительнымъ жестомъ.

— «А, Балцеръ! васъ-то мнѣ и нужно». говоритъ мнѣ ясновельможный князь, — продолжалъ фантазировать балясникъ: — «нѣтъ ли у васъ фонаря?»

— «Фонарика?» говорю я. — «Какъ не быть. А на что вашей милости?»

— «Да вотъ иду сейчасъ, говоритъ,—съ моимъ щуромъ на поле брани: нѣтъ ли тамъ раненыхъ, которыхъ можно бы еще спасти...» Ну, скажите, ваша ясновельможность, могъ ли человѣкъ съ моимъ сердцемъ отказать въ такомъ христіанскомъ дѣлѣ?

— А пана Тарло вѣдь не было съ вами?—спросилъ Мнишекъ, но спросилъ такимъ тономъ, какъ-будто ожидалъ отрицательнаго отвѣта.

— Само собою разумѣется. нѣтъ,—отвѣчалъ Балцеръ Зидекъ. —Вельможный панъ былъ такъ занятъ за игорнымъ столомъ, что отвлечь его былъ бы грѣхъ.

— Смертный грѣхъ!—усмѣхнулся съ горечью Курбскій.—Чѣмъ-то вы кончите вашу сказку!

— До конца не долго, ваша милость. Человѣколюбіе наше было вознаграждено: мы нашли одного умирающаго, потерявшаго даже сознаніе; я самъ перевязалъ ему рану... или это тоже сказка?

— Нѣтъ, это правда.

— Ну, вотъ, видите ли. Потомъ я и щуръ вашъ

подняли несчастнаго и доставили въ лазаретъ. Вѣрно-съ?

— Вѣрно; но что же вы ничего не сказали о его кошелькѣ?

— О какомъ кошелькѣ?

— Да о томъ, что выпалъ у него изъ сапога, а вы спрятали себѣ за пазуху?

Не даромъ Балцеръ Зидекъ столько лѣтъ занималъ должность придворнаго шута сендомирскаго воеводы. Притворство стало для него второй натурой. Видя, что отпираться уже безцѣльно, онъ безъ малѣйшаго замѣшательства досталъ изъ внутренняго кармана поношенный кожаный кошелекъ и съ обиженной миной протянулъ его Курбскому.

— Сами подарили мнѣ за оказанную помощь, а теперь, видно, жаль стало! Ну, что жъ, нате вашъ подарокъ! Балцеру Зидеку ничего отъ васъ не нужно.

— Деньги эти не мои, а ограбленнаго вами, — съ холоднымъ презрѣніемъ отвѣчалъ Курбскій, кладя кошелекъ на столъ передъ гетманомъ. — Бѣдняга, сказали мнѣ, скончался, не прійдя въ себя; но деньги могутъ пригодиться другимъ раненымъ.

— И ваша милость можете взводить на невиннаго человѣка такую напраслину? Ай-ай! (Шутъ замоталъ головой, отчего погремушки на дурацкомъ колпакѣ его зазвенѣли). Да Балцеръ Зидекъ скорѣе откуситъ себѣ голову, чѣмъ присвоитъ себѣ чужое. Но онъ вамъ великодушно прощаетъ!

— Я не нуждаюсь въ вашемъ великодушіи...

— А Балцеръ Зидекъ все-таки вамъ прощаетъ!

Забыть зло, которое мнѣ причинили,—только въ моей власти, а не въ вашей.

Между тѣмъ, Димитрій высыпалъ изъ мѣшка все содержимое на столъ.

— Однѣ русскія монеты, ни единой польской, сказалъ онъ.—Чего яснѣе, что кошелекъ взятъ у русскаго.

— Да кѣмъ взятъ-то?—нашелся снова изворотливый шутъ.—Я, признаться, не хотѣлъ выдавать князя; но коли на то ужъ пошло...

Неизвѣстно, до чего бы онъ еще договорился, не ворвись въ это самое время въ комнату одинъ изъ младшихъ адъютантовъ гетмана.

— Развѣ вамъ не сказано, что совѣщаніе совершенно секретное?—вскинулся на него Мнишекъ.

— И не дерзнулъ бы войти, ваша ясновельможность, но такой экстренный казусъ...

— Что же именно?

— Его царскому величеству угодно было дозволить запорожцамъ похоронить убитыхъ москалей...

— Ну?

— А тѣ первымъ дѣломъ стали обирать мертвыхъ и подняли изъ-за дѣлежа такую драку...

— А кто призвалъ къ намъ этихъ грабителей?—не безъ злорадства замѣтилъ панъ Тарло.—Не князь ли Курбскій, обвиняющій теперь въ грабежѣ другихъ?

—Князь самъ еще сегодня называлъ запорожцевъ вороньёмъ,—вступился за своего друга царевичъ.

— Да, они—черное вороньё,—сказалъ Курбскій,

—но что̀ хуже—вороньё черное или бѣлое—ужъ право не знаю.

— Изъ-за чего же мы наконецъ споримъ?—заговорилъ тутъ патеръ Сѣраковскій.—Какъ сама война, такъ и грабежъ на войнѣ,— malum necessarium, полезное зло,—полезное, ибо временно утоляетъ звѣрскіе инстинкты грубыхъ воиновъ. Кто, скажите, не нуждается въ бренномъ металлѣ? Еще Демосѳенъ назвалъ деньги—nervus rerum, нервомъ вещей. А засимъ, мнѣ кажется, вопросъ исчерпанъ.

— Да, военный судъ созывать теперь какъ-будто и не для чего, отнесся Мнишекъ къ Димитрію, и когда тотъ въ отвѣтъ только вздохнулъ и повелъ плечомъ, старикъ-гетманъ объявилъ совѣщаніе закрытымъ и пожалъ на прощанье руку какъ Курбскому, такъ и пану Тарло.—Очень радъ, панове, что все уладилось ко всеобщему удовольствію, очень—очень радъ!

— У ясновельможнаго пана, кажется, на душѣ еще кошки скребутъ?—тихонько спросилъ Балцеръ Зидекъ пана Тарло, замѣтивъ, какимъ свирѣпымъ взглядомъ тотъ проводилъ Курбскаго, удалившагося изъ комнаты первымъ.

— Какія кошки?—сердито спросилъ въ отвѣтъ панъ Тарло.

— А тѣ, которыхъ мы съ вами вчера проглотили и которыхъ сейчасъ вотъ изъ горла у насъ за хвостъ тащили. Препротивное чувство, совершенно согласенъ съ вами!

— А все вы, Балцеръ! Ваша же выдумка. Еще умная голова!

— Да глупцы, милый пане, развѣ когда глупятъ? Для нихъ глупости—хлѣбъ насущный. Глупятъ одни умные люди.

— Однако жъ на насъ съ вами все-таки легло скверное пятно.

— Всякое пятно, дорогой пане, коли не смоется дождемъ, то отъ времени и солнца полиняетъ. Но нашему общему врагу это такъ не сойдетъ!

— Такъ вы что-нибудь противъ него уже замыслили?

— Покуда-то нѣтъ. Но ищите— и обрящете. Случай, вѣрно, найдется.

Случай, дѣйствительно, нашелся,—и даже очень скоро.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Сердце сердцу вѣсть подаетъ.

Обѣдалъ Курбскій вмѣстѣ съ царевичемъ за гетманскимъ столомъ. Домашній поваръ Мнишка, сопровождавшій его и на походѣ, былъ великій мастеръ по своей части. Въ описываемый день, когда къ гетманскому столу было приглашено и все запорожское начальство, искусникъ-поваръ приложилъ особенныя старанія, и обѣдъ, точно, вышелъ на славу. Но душевное настроеніе Курбскаго было такое угнетенное, что онъ не сумѣлъ оцѣнить чудеса кулинарнаго искусства, къ концу же обѣда, когда началась общая попойка, всталъ изъ-за стола и, подъ предлогомъ головной боли, ушелъ къ себѣ. Здѣсь онъ съ недоумѣніемъ увидѣлъ на подоконникѣ цѣлую груду медовыхъ пряженцовъ. Онъ ударилъ въ ла-

доши. Вѣрный казачокъ его Петрусь Коваль не замедлилъ предстать передъ нимъ; на открытомъ лицѣ его играла лукавая улыбка.

— Что это такое? - спросилъ Курбскій, указывая на пряженцы.

— Сластёны, гостинцы.

— Вижу, что не ржаной хлѣбъ. Но для кого это?

— Для тебя, милый княже, все для тебя. Отвѣдай-ка: во рту таютъ.

Чтобы не обидѣть мальчика, Курбскій отломилъ себѣ кусокъ печенья и сунулъ въ ротъ.

— Ну, что, невкусно развѣ? - спросилъ Петрусь съ тою же усмѣшечкой.

— Очень даже вкусно. Спасибо, братику. Но съ чего тебѣ вдругъ вздумалось?

— Не мнѣ вздумалось.

— А кому же?

— Самъ не догадаешься?

— Какъ же мнѣ догадаться? Никому здѣсь, кромѣ тебя, на умъ не придетъ угощать меня сластями.

— Здѣсь, въ лагерѣ, пожалуй, что и нѣтъ. Ну, а по сосѣдству, примѣрно въ Новѣградѣ-Сѣверскомъ...

Курбскій такъ и обомлѣлъ.

— Въ Новѣградѣ?.. — пробормоталъ онъ.

— Ну, да, въ замкѣ: отъ города-то камня на камнѣ не осталось.

— Но и тамъ я ни души не знаю...

— Ой ли? не знаешь даже Марьи Гордѣевны Биркиной? А она-то, голубушка, нарочно еще сама для тебя потрудилась, пекла своими бѣлыми ручками ..

Курбскому стоило не мало усилія надъ собой, чтобы не выдать своего душевнаго волненья.

— Теперь припоминаю,- -сказалъ онъ съ притворнымъ равнодушіемъ, но глубоко переводя духъ. —Одно время она состояла при паннѣ Маринѣ Мнишекъ и видѣла меня съ царевичемъ у старшей сестры ея, княгини Вишневецкой; а потомъ уѣхала съ своимъ дядей. купцомъ Биркинымъ, сюда, въ Сѣверскую землю.. .

— Ну, вотъ, а познавши, что и ты тоже здѣсь,— подхватилъ Петрусь,—прислала тебѣ сладкую вѣсточку: сердце сердцу вѣсть подаетъ.

— Полно вздоръ городить! Прислала просто по доброй памяти. Но съ кѣмъ? Вѣдь ни въ замокъ, ни изъ замка никого не пускаютъ.

— Доброй волей не пускаютъ, а коли у кого есть своя лазейка, такъ кто тому запретитъ?

— А! вотъ что! Ну, ну, говори дальше.

— Замѣтилъ ты, княже, можетъ, молодчика, однихъ, почитай, лѣтъ со мной, что толкается тутъ межъ палатокъ съ коробомъ всякихъ сластей: пряниковъ, рожковъ, орѣховъ, винныхъ ягодъ? Трошкой звать.

— Нѣтъ, не примѣтилъ.

— Гдѣ жъ тебѣ, вельможѣ, замѣчать всякаго смерда! А я-то съ этимъ Трошкой давно ужъ дружбу свелъ.

— Потому что самъ куда лакомъ до сластей?

— Оба мы съ нимъ лакомы: я—до его сластей, а онъ—до моихъ разсказовъ объ удальцахъ-запорожцахъ.

— Такъ этотъ-то Трошка и пробирается сюда изъ замка?

— Онъ самый. До вчерашняго дня онъ сказывался крестьянскимъ сыномъ изъ ближней деревушки Дубовки: живетъ-де тамъ у торговки-тетки и приходитъ-де оттолѣ каждый день съ своимъ товаромъ. Нонѣ же отвелъ меня къ сторонкѣ, чтобы никто, значитъ, не подслушалъ.

— «Ты, Петрусь, говоритъ, — меня вѣдь не выдашь?»

— «Зачѣмъ мнѣ, говорю,—тебя выдавать? Мы же съ тобой друзья-пріятели».

— «Дружба дружбой, говоритъ, — а служба службой. Поклянись мнѣ Христомъ-Богомъ, окромѣ одного человѣка, никому не сказывать о томъ, что̀ услышишь отъ меня».

— «Окромѣ какого, говорю,—человѣка?»

— «Окромѣ князя твоего, Михайлы Андреича Курбскаго. Дѣло-то до него касающееся».

— «Коли такъ, говорю,—такъ изволь».

«И поклялся ему Христомъ-Богомъ...»

— А дальше я и самъ знаю,—прервалъ Курбскій съ блещущими глазами.—Трошка твой родомъ, можетъ, и изъ Дубовки, да служитъ у Биркина. Такъ вѣдь?

— Такъ.

— Биркинъ же—купецъ оборотливый: не залеживаться же его товару, коли тутъ, во вражьемъ станѣ, вѣрный сбытъ? И подсылаетъ онъ къ намъ своего Трошку съ товаромъ будто бы изъ Дубовки, подсылаетъ еще въ потемкахъ раннимъ

утромъ, а убирается Трошка восвояси позднимъ вечеромъ тоже въ потемкахъ, чтобы не подглядѣли.

— Такъ, такъ!— подтвердилъ снова Петрусь.— А знаешь ли, княже, что̀ мнѣ на умъ сейчасъ вспало?

— Что̀?

— Да вѣдь коли у Трошки есть этакій потайной лазъ изъ замка, такъ почему бы и тебѣ не пробраться туда тѣмъ же лазомъ въ гости къ Биркинымъ?

Курбскій точно даже испугался такой возможности.

— Что̀ ты, что̀ ты! Господь съ тобой!

— Да почему же нѣтъ? А ужъ Марья-то Гордѣевна какъ была бы рада свидѣться съ тобой...

— Говорю тебѣ, что дѣло нестаточное,—рѣзко прервалъ Курбскій. — Я-то, можетъ быть, съ нею и видѣться не желаю.

— Твоя воля, милый княже. А лазейку-то Трошкину, не погнѣвись на меня, я все же выслѣжу.

— Это для чего?

— Не для тебя, такъ для себя.

— Но тебѣ-то на что̀?

— Мнѣ-то?.. Вѣдь я, княже, какъ ни какъ казакъ, запорожецъ...

— Ну?

— И запорожцы мнѣ братья старшіе. Вотъ я и проведу ихъ темною ночью той лазейкой въ замокъ, какъ волковъ въ овчарню; захватимъ

стрѣльцовъ спящими врасплохъ: «Здорови булы, панове москали, якъ се маете?» Вотъ такъ штука! Знай нашихъ!

Юный запорожецъ отъ удовольствія защелкалъ пальцами и залился звонкимъ смѣхомъ. Но господинъ его, къ его удивленію, ни мало не раздѣлялъ его восторга.

— Ты этого не сдѣлаешь,—рѣшительно объявилъ онъ.—Ты поклялся Трошкѣ не выдавать его...

— Да онъ и знать не будетъ, что я его выслѣдилъ.

— А все-таки ты чрезъ него погубишь другихъ русскихъ, стало-быть будешь передъ нимъ Іудой-предателемъ, да и меня сдѣлаешь такимъ же предателемъ передъ Биркиными: кабы Маруся... то бишь Марья Гордѣевна не довѣряла мнѣ, то ни за что бы не дала мнѣ вѣсточки.

— Экое горе!—вздохнулъ Петрусь ивсею пятерней почесалъ у себя въ загривкѣ.—А у меня было такъ знатно надумано! Вѣдь одолѣть-то русскихъ намъ когда-нибудь да надо?

— Надо, но въ открытомъ, честномъ бою, а не предательствомъ.

— У насъ, на Запорожьи, признаться, на это не такъ строго смотрятъ...

— То на Запорожьи; а моя совѣсть иная. Развѣ самъ ты, Петрусь, не понимаешь, что предательство подло?

— Понимаю, милый княже, какъ не понять?.. Охъ, охъ! Ну, что жъ, нечего, значитъ, объ этомъ и толковать. А какъ же намъ быть съ Трошкой?

Вѣдь онъ ждетъ отъ тебя отвѣта Марьѣ Гордѣевнѣ.

— Да какой же ей отвѣтъ?

— Ну, хоть спасибо, что ли, сказать ей за добрую память.

— Пускай, конечно, скажетъ... Дай Богъ ей всякаго благополучія...

— И только?

— А то еще что же?

— Она тебя не забыла присылкой, такъ и ты бы въ отплату чѣмъ-нибудь ее уважилъ. Зачѣмъ обижать?

Въ Курбскомъ происходила видимая борьба.

— Есть у меня, пожалуй, образокъ Андрея Первозваннаго... — началъ онъ съ запинкой.

— Изъ Святой Земли?

— Изъ самаго Іерусалима. Привезли его оттуда еще моему покойному родителю (царствіе ему небесное!), и онъ до кончины своей съ нимъ не разставался. Съ тѣхъ поръ я ношу его и никогда еще не снималъ съ себя.

— Знамо, снимать его уже не приходится.

— И не снялъ бы до своей смерти. Но передъ вчерашнимъ боемъ нашла на меня вдругъ такая смертная тоска, что на поди. Либо царевичу, либо мнѣ самому, думалъ, не сдобровать.

— Тебя вѣдь и ранили...

— Какая жъ это рана? Такъ, царапина. А на душѣ у меня и доселѣ не полегчало. Чую я бѣду неизбывную. Одному Богу вѣдомо, что меня еще ждетъ. Всякій день вѣдь можетъ быть опять смертный бой, и въ жизни своей никто изъ насъ не

воленъ. Такъ вотъ, на случай, что мнѣ не суждено вернуться съ поля битвы, возьми-ка ты, Петрусь, на храненіе мой образокъ...

При этихъ словахъ Курбскій снялъ съ себя маленькій старинный образокъ и, набожно поцѣловавъ, вручилъ его своему казачку.

— У тебя онъ сохраннѣе, — продолжалъ онъ.— Умру, такъ перешлешь его черезъ своего Трошку Марьѣ Гордѣевнѣ: можетъ, онъ принесетъ ей счастья...

— Нѣтъ, княже, — объявилъ Петрусь, — никому въ руки, окромя самой Марьи Гордѣевны, я его не отдамъ. Не нонче — завтра Басмановъ, хошь не хошь, отворитъ царевичу ворота замка...

— Ну, и ладно. Тогда самъ ты разыщешь тамъ Биркиныхъ. А до времени, смотри, береги мой образокъ...

— Какъ зѣницу ока. Будь покоенъ, милый княже.

Точно теперь всѣ счеты его съ этимъ міромъ были сведены, прежнее состояніе глухого раздраженья смѣнилось у Курбскаго почти полной апатіей. Свои служебныя обязанности онъ, правда, исполнялъ до вечера; съ обычною аккуратностью; а когда царевичъ, замѣтивъ его усталый, убитый видъ, уволилъ его до утра, онъ заглянулъ на всякій случай еще въ лазаретъ, послѣ чего уже возвратился къ себѣ. Здѣсь, къ нѣкоторому его удивленію, было совсѣмъ темно, тогда какъ расторопный Петрусь встрѣчалъ его обыкновенно еще на порогѣ съ зажженною свѣчой.

«Вѣрно, ушелъ провѣдать своихъ братьевъ-запорожцевъ, да тамъ и застрялъ», — сообразилъ Курб-

скій и самъ высѣкъ огня. Въ подсвѣчникѣ оказался только маленькій огарокъ.

«Да онъ, можетъ, со скуки просто заснулъ?»

Курбскій захлопалъ въ ладоши; потомъ окликнулъ Петруся; но и окликъ остался безъ отвѣта.

«Сердце сердцу вѣсть подаетъ», вспомнились ему тутъ слова хлопца, и кровь хлынула ему въ голову. «Чего добраго вѣдь, не спросясь, все-таки собрался съ этимъ Трошкой въ замокъ къ Биркинымъ? Его, головорѣза, на это станетъ»...

Схвативъ опять шапку и накинувъ на плечи кунтушъ, онъ отправился на розыски головорѣза.

Благодаря зажженнымъ тамъ и сямъ кострамъ, онъ выбрался безъ затрудненія изъ польскаго стана къ становищу запорожцевъ, откуда еще издали доносились нескладныя пѣсни, грубый хохотъ и дикіе взвизги. Чѣмъ ближе, тѣмъ явственнѣе становился этотъ нестройный гомонъ. Можно было уже разслышать бренчаніе бандуры, слова пѣсенъ и забористую казацкую брань.

Закопавшись въ снѣгу, запорожцы укрѣпили свой станъ кругомъ повозками въ формѣ огромнаго четвероугольника. Внутри стана дымились костры, двигались человѣческія тѣни. Но попасть туда можно было только сквозь небольшіе проходы, оставленные нарочно между повозками,—по одному съ каждой стороны четвероугольника. Подойдя къ такому проходу, Курбскій вынужденъ былъ остановиться, потому что передъ самымъ проходомъ столпилась цѣлая кучка такъ-называемой «сиромашни», забубенной казацкой голытьбы. Занята она была своеобразнымъ торгомъ—про-

дажей другъ другу и обмѣномъ оружія и платья, снятаго съ мертвецовъ на полѣ битвы.

— Эхъ, ты, вавилонскій свинопасъ! — оралъ одинъ.—Свиньи отъ гуся отличить не умѣешь, нѣмецкой аркебузы отъ простой пищали!

— Самъ ты іерусалимскій браварникъ (пивоваръ)! — огрызался «свинопасъ». — Не видалъ я, что-ль, аркебузы?

— Некрещёный ты лобъ, чортовъ сватъ и братъ!— бранился третій. — Экій кафтанъ отдать за онучи!

— Оце добре! Да вѣдь что за онучи — цареградскій шелкъ! Гляди, что-ли, татарскій ты сагайдакъ (козелъ)!

И, для вящшаго убѣжденія покупателя, продавецъ совалъ ему подъ носъ дѣйствительно шелковую, но уже куда не новую онучу.

— На-ка, ощупай. Татарка такъ, поди, въ меня и вцѣпилась, ни за что бы не отдала, кабы я ее не пристукнулъ.

Омерзѣніе, чуть не ненависть внушали Курбскому эти одичавшіе, озвѣрѣвшіе люди. Стоявшій у прохода караульный казакъ, узнавъ молодого князя, безъ всякаго опроса, съ поклономъ пропустилъ его внутрь стана. Бражничавшіе же здѣсь около ближайшаго костра запорожцы даже не оглянулись на подошедшаго: все вниманіе ихъ было поглощено разсказомъ одного изъ бражниковъ, видимо крѣпко захмѣлѣвшаго, стараго казака. Чтобы не прерывать ихъ удовольствія, Курбскій выждалъ конца разсказа.

— Ну, вотъ и привели меня эти ляхи къ своему королю, — продолжалъ разсказчикъ. — «Ты, гово-

— Это ты, Петрусь?—удивился онъ, узнавъ своего пріятеля-казачка.—А я-то ужъ думалъ... За медовой коврижкой, что-ли? Да опоздалъ, братъ: ничего-таки не осталось.

— Коврижка коврижкой,—отвѣчалъ Петрусь, съ трудомъ переводя духъ,—и до завтраго погожу.

— Такъ чего же тебѣ?

— А проводить тебя.

— Ври больше.

— Зачѣмъ врать? Намъ по одной дорогѣ.

— Да ты куда, Петрусь?

— Туда же, куда и ты.

— Въ замокъ?

— Въ замокъ. Вдвоемъ идти все-таки веселѣе.

Трошка опѣшилъ, но, сейчасъ же оправясь, запѣтушился:

— Ты что жъ это, Петрусь,—предать насъ полякамъ хочешь? Креста на тебѣ нѣтъ!

— Крестъ на мнѣ, слава Богу, есть, и предателемъ я николи не буду.

Говорилъ онъ это такъ искренно, съ оттѣнкомъ даже негодованія, точно за нѣсколько часовъ назадъ самъ не высказывалъ такого намѣренія своему господину. Но слова Курбскаго были для него закономъ, и теперь онъ дѣйствительно возмущался предположеніемъ Трошки.

— Такъ, можетъ, ты самъ намъ передаться хочешь?—продолжалъ допытывать Трошка.

— Чтобъ казакъ передался врагу? Да за эти слова побить тебя мало!—вскричалъ Петрусь и на-

дѣлилъ пріятеля такимъ тумакомъ, что тотъ съ своимъ коробомъ повалился въ снѣгъ.

— Ну, ну, ну, не буду, не тронь! — взмолился Трошка. — Съ дуру сболтнулось.

— То-то съ дуру. Ну, вставай же, не бойсь, не трону больше.

— Да на что̀ тебѣ, Петрусь, въ замокъ? Вѣрно, къ Марьѣ Гордѣевнѣ съ отвѣтомъ отъ твоего князя?

— Наконецъ-то додумался, умная голова!

— Зачѣмъ же тебѣ самому къ ней, коли я могу все за тебя справить?

— Стало, не можешь.

— А съ собой тебя, прости, мнѣ взять никакъ невозможно!

— И не нужно; я самъ собой пойду: куда ты, туда и я.

— Но я не хочу, Петрусь, слышишь: не хочу!

— Мало ли что̀. И нитка тоже не хотѣла, да игла потянула. Добромъ ты отъ меня не отдѣлаешься.

— Ахъ Ты, Господи, Боже Ты мой! — чуть не захныкалъ Трошка. — Хозяинъ мой, Степанъ Маркычъ, меня со свѣта сживетъ: въ гнѣвѣ своемъ онъ никакихъ границъ себѣ не знаетъ.

— Хозяинъ твой и не увидитъ меня: ты проведешь меня прямо къ племянницѣ.

— Да въ горницу-то къ ней ходъ черезъ горницу дяди.

— А ужъ это, братику, твое дѣло, какъ отвести ему глаза. Можешь вызвать ее ко мнѣ на лѣ-

стницу, что-ли. А наскочишь все таки на хозяина подъ сердитую руку, такъ самъ же и казнись. Ну, да Богъ не выдастъ,—свинья не съѣстъ. Что̀ впередъ загадывать? Гайда!

Бѣдному Трошкѣ волей-неволей пришлось покориться. Прошли они этакъ еще версты полторы, а дорога все далѣе уклонялась въ сторону отъ замка. Петруся взяло опять сомнѣнье.

— Куда ты меня ведешь, бисовъ сынъ?—спросилъ онъ.

— Какъ куда? Въ замокъ.

— Да замокъ вонъ гдѣ, совсѣмъ, видишь, назади остался.

— А по-твоему лучше идти такъ, чтобы поляки насъ изъ траншеи углядѣли и перехватили? Сейчасъ, погоди, свернемъ куда нужно.

И точно, немного погодя, дорога сдѣлала крутой поворотъ.

— Ну, теперь, братъ, за мной въ кусты,—сказалъ Трошка,—да, смотри, не увязни.

Предостереженіе было не излишне: когда Петрусь, вслѣдъ за своимъ товарищемъ, прыгнулъ съ дороги черезъ занесенную снѣгомъ канавку въ кустарникъ, то увязъ въ рыхломъ снѣгу выше колѣнъ.

— Зачѣмъ не слушаешься!—укорилъ его Трошка.—Не видѣлъ развѣ, куда я прыгнулъ: тутъ кочка А ты прямо въ яму!

— Много увидишь въ экую темень... Бодай тебя быкъ!..—ворчалъ Петрусь, не безъ труда выкарабкиваясь изъ своей снѣжной ямы.

Не будь съ нимъ Трошки, онъ не разъ еще, конечно, застревалъ бы въ мелкорослом, но густомъ кустарникѣ. Трошка же, видимо, прекрасно зналъ окружающую мѣстность и шелъ себѣ впередъ да впередъ безъ оглядки, описывая широкую дугу къ городскому пепелищу. Вотъ они шагаютъ по какимъ-то грядамъ межъ раскидистыхъ деревьевъ и должны поминутно наклоняться, чтобы отягченныя снѣгомъ вѣтви не задѣвали ихъ по головѣ.

— А ужъ какія тутъ у насъ водились яблоки, какія груши, сливы, — эхъ-ма!—съ сокрушеніемъ сердца вздохнулъ Трошка и щелкнулъ языкомъ.

— У васъ?—съ недоумѣніемъ переспросилъ Петрусь.

— Ну, да, вѣдь это же огородъ Степана Маркыча; а вонъ и домъ нашъ.

Трошка указалъ на чернѣвшія за огородомъ развалины.

— Да вѣдь отъ него ничего не осталось?

— Еще бы остаться. Горѣло такъ, что страсть! Главное то жилье было каменное, съ давнихъ еще временъ, слышь; да и то не выдержало, развалилось.

— Такъ для чего жъ ты завелъ меня сюда?

— А вотъ иди-ка за мной,—узнаешь.

Среди четыреугольника разрушенныхъ каменныхъ стѣнъ передъ ними разверзлась глубокая яма.

— Ага!—догадался Петрусь.—Подземный ходъ въ замокъ?

— Да, въ тамошній запасный амбаръ нашъ;

въ стародавнія еще времена не вѣсть кѣмъ прорытъ. Тутъ вотъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, была спальня хозяйская. Знали мы всѣ, что подъ кроватью Степана Маркыча есть подъемная дверь въ подполье; но чтобы изъ подполья былъ еще потайной ходъ,—никому и невдомекъ. А какъ все тутъ выгорѣло, да перебрались мы на жительство въ замокъ, Степанъ Маркычъ и покажи мнѣ этотъ самый ходъ, чтобы товаръ носить на продажу къ вамъ въ лагерь. Ну, что жъ, за мной, да не поскользнись.

Поскользнуться было, дѣйствительно, не мудрено: ступеньки крутой лѣстницы въ глубину шевелились подъ ногой, да вдобавокъ еще обледенѣли. Спускаясь ощупью за своимъ спутникомъ, Петрусь благополучно, однако, сползъ внизъ. Здѣсь Трошка засвѣтилъ карманный фонарикъ. Низкій каменный сводъ подземнаго хода на видъ былъ хоть и проченъ, но тамъ и сямъ межь камнями висѣли все-таки ледяныя сосульки отъ просачивавшейся сверху влаги, а окружающій воздухъ былъ пропитанъ промозглою сыростью.

— Словно въ могилѣ...—пробормоталъ Петрусь, которому, при всей его шустрости, стало какъ-будто жутко. — Ну, ступай же впередъ, а я ужъ не отстану.

Подземная прогулка ихъ при слабомъ свѣтѣ сальнаго огарка въ фонарикѣ продолжалась добрыхъ четверть часа.

— Ну, вотъ, мы и въ замкѣ, подъ самымъ амбаромъ,—объявилъ наконецъ Трошка и загасилъ

фонарикъ.—Сейчасъ опять лѣстница. Смотри, не сорвись въ темнотѣ, держись за стѣну.

Приподнявъ головою подъемную дверь въ амбаръ, Трошка обождалъ своего товарища, а потомъ за руку вывелъ его изъ амбара на улицу.

Впрочемъ, и тутъ было немногимъ свѣтлѣе. Съ облачнаго ночного неба сыпался густой снѣгъ; но въ сторону польскаго лагеря эти летящіе снѣжные хлопья настолько все-таки освѣщались огнемъ горѣвшихъ тамъ костровъ, что можно было различить за амбаромъ общія очертанія городской стѣны и расхаживавшаго на ней часового.

— Хочешь, я его окликну?—предложилъ Петрусь, въ которомъ на вольномъ воздухѣ снова взыграла его казацкая удаль.

— Экій вѣдь сумасшедшій!—испугался Трошка и потащилъ его въ ближайшій переулокъ.

Все уличное освѣщеніе новгородъ-сѣверскаго замка, какъ и на всей вообще Руси, ограничивалось въ тѣ времена скуднымъ свѣтомъ изъ обывательскихъ домовъ. Хотя было еще не поздно, но въ рѣдкихъ окнахъ, сквозь полупрозрачную слюду или бычачій пузырь, замѣнявшіе тогда стекло, брежжилъ еще свѣтъ, а движеніе на улицахъ совсѣмъ почти прекратилось. Такъ, нашимъ двумъ мальчикамъ вначалѣ не встрѣтилось ни одной души. Но когда они только-что заворачивали въ главную улицу, изъ-за угла налетѣлъ на нихъ какой-то гуляка и столкнулся съ Трошкой. Столкновеніе было такъ неожиданно и такъ сильно, что Трошка едва устоялъ на ногахъ, гуляка же пока-

тился кубаремъ черезъ сугробъ снѣга. Прежде, чѣмъ онъ успѣлъ сообразить, въ чемъ дѣло, мальчики уже были далеко.

— Оттакъ-бакъ!—хохоталъ Петрусь.—Словно ядромъ на мѣстѣ положилъ!

— Тише ты, тише, побойся Бога! — унималъ его Трошка.—Еще кто насъ замѣтитъ...

Изъ людей ихъ никто не замѣтилъ; но звонкій хохотъ неугомоннаго казачка оскорбилъ слухъ дворняжки ближайшаго двора. Выскочивъ изъ подворотни, она съ лаемъ понеслась вслѣдъ за бѣгущими. У слѣдующаго двора къ ней пристала еще одна шавка, а далѣе еще двѣ или три. По счастью, мальчики добрались теперь до временнаго жилья Биркиныхъ. Трошка юркнулъ въ калитку, Петрусь за нимъ, и калитка захлопнулась. Но здѣсь навстрѣчу имъ кинулся съ лаемъ же крупный дворовый песъ. Трошкѣ стоило не малаго краснорѣчія его урезонить; за калиткой же чужія дворняги продолжали заливаться полнымъ хоромъ. Тутъ гдѣ-то въ вышинѣ стукнула дверь, и грянулъ мужской басъ:

— Что̀ за содомъ такой! Ты это, Трошка, что-ли?

— Я, я, Степанъ Маркычъ,—виновато откликнулся Трошка.

— Опять, поди, раздразнилъ этихъ чертей!

— Ей же ей, и не думалъ дразнить, Степанъ Маркычъ.

— Божись больше! А Полканъ на дворѣ?

— На дворѣ тутъ, при мнѣ, Степанъ Маркычъ; я за ошейникъ его держу.

— И дуракъ! Всю ночь, что-ль, держать этакъ будешь? Калитку-то затворилъ?

— Затворилъ, Степанъ Маркычъ, какъ быть слѣдуетъ.

— Ну, такъ куда жъ ему убѣжать? Дуракъ и есть. Долго ль мнѣ тебя ждать-то? Иди домой, ну!

Дверь наверху снова стукнула.

— Погоди-ка тутъ маленько,—шепнулъ Трошка товарищу и самъ нырнулъ въ темный входъ дома.

Петрусь остался на дворѣ одинъ съ Полканомъ. Тотъ недовѣрчиво его обнюхивалъ; мальчикъ же гладилъ его по мохнатой шеѣ, а самъ оглядывался по сторонамъ.

Домъ былъ деревянный, въ два жилья. Въ нижнемъ, служившемъ, должно-быть, для склада товаровъ, не было огня. Во второмъ свѣтились два окошка, и мелькали тѣни. Тамъ, стало-быть, жили Биркины. Въ глубинѣ двора можно было различить какіе-то сараи, у забора — собачью конуру, — жилище Полкана. И только; не на что̀ больше и глядѣть-то было.

А Трошка какъ въ воду канулъ. Собачій хоръ за калиткой давно умолкъ. Полканъ тоже, видно, убѣдился въ безобидности нашего казачка и удалился въ свою конуру. Снѣжная погодка между тѣмъ разыгралась въ настоящую мятель. Потоптавшись на одномъ мѣстѣ, Петрусь вошелъ, наконецъ, въ темныя сѣни дома, дававшія защиту хоть и не

отъ мороза, то отъ снѣга и вѣтра. Тутъ наверху тихонько скрипнула дверь, и по лѣстницѣ кто-то сталъ осторожно спускаться легкою поступью.

«Это не Трошка», понялъ тотчасъ Петрусь: «да и не Степанъ Маркычъ; это, вѣрно, сама Марья Гордѣевна».

Онъ кашлянулъ. Шаги остановились.

— Это ты вѣдь, Марья Гордѣевна?—шопотомъ спросилъ Петрусь.

— Я,—отозвался шопотомъ же тонкій женскій голосъ.

— Первымъ долгомъ нижайшій поклонъ тебѣ отъ господина моего, князя Михайлы Андреича Курбскаго...

— Ч-ш-ш-ш! Дядя услышитъ. Сейчасъ сойду къ тебѣ.

И она сошла къ нему на нижнюю площадку.

— Такъ ты, значитъ, отъ князя Михайлы Андреича?—заговорила она снова.—И только для того, чтобы принести мнѣ поклонъ?

За непроглядною темнотою видѣть говорящую онъ не могъ, но уже по ея звучному, свѣжему голосу, по ея прерывистому дыханью слышно было, что она совсѣмъ молода, что сердце въ груди у нея такъ и ёкаетъ. Такая досада, право, что даже кончика носа ея не разглядѣть! А вѣрно, краля писанная... Морочить такую уже не приходится.

— Сказать по чистой правдѣ,—отвѣчалъ Петрусь,—князь мой и не вѣдаетъ, что я тутъ.

— Такъ какъ же ты посмѣлъ?..

— А такъ, вишь, изъ жалости къ нему.

— Да что̀ съ нимъ такое?

— Больно тоскуетъ онъ по тебѣ денно и нощно...

— Ну да!

— Вѣрно тебѣ говорю. Чуетъ, что убьютъ его скоро въ бою смертномъ...

— Боже оборони!

— Ну, и отдалъ мнѣ на храненіе свой наперсный образокъ; доселѣ николи не снималъ: «какъ помру, говоритъ,—такъ передай Марьѣ Гордѣевнѣ: принесетъ, можетъ, хошь ей-то, голубушкѣ, счастья».

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ не умретъ! И какое жъ тогда еще счастье?!.. А образокъ тотъ у тебя теперь съ собой?

— Со мной. Вотъ возьми. Нарочно взялъ съ собой: неравно самого меня потомъ пристрѣлятъ, такъ въ твоихъ рукахъ все же надежнѣй. А какъ пришлешь ты ему нонче со мной еще добрую вѣсточку, такъ, дастъ Богъ, онъ духомъ опять ободрится. Что̀ же сказать ему отъ тебя?

— Скажи ему... Да ты не такъ, пожалуй, перескажешь... Вотъ что̀: я лучше напишу ему письмецо...

«Овва! даже писать обучена!» —изумился про себя казачокъ: на родинѣ у него не только вѣдь межъ казачекъ не было ни одной грамотной, но и на Сѣчѣ межъ сивоусыхъ запорожцевъ на рѣдкость кто умѣлъ нацарапать перомъ свое имя да прозвище. Не могъ онъ знать, конечно, что Маруся Биркина, состоя еще недавно фрейлиной при паннѣ

Маринѣ Мнишекъ, обучилась у нея грамотѣ и письму польскимъ и русскимъ, такъ что теперь она могла у своего дяди Степана Марковича вести всѣ счеты и торговую переписку.

— А мнѣ, что же, покамѣстъ тутъ подъ лѣстницей стоять?—спросилъ Петрусь.

— Да... Или вотъ что: здѣсь тебя, чего добраго, еще кто застанетъ. Ступай-ка лучше за мной на чердакъ; туда въ эту пору никто уже не заглянетъ. Только чуръ, не стучи сапогами.

И вотъ они оба тихонько поднимаются въ темнотѣ вверхъ по скрипучимъ ступенькамъ; вотъ они уже прошмыгнули мимо дверей Степана Марковича и лѣзутъ выше къ чердаку; а вотъ и чердакъ. Пропустивъ туда Петруся, молодая дѣвушка плотно притворила за нимъ дверь и сама ушла писать свое письмецо.

«Какъ есть мышенокъ въ ловушкѣ»,—разсуждалъ самъ съ собою Петрусь, ощупью знакомясь съ расположеніемъ довольно тѣснаго чердака: ноги его запинались о бревенчатыя перекладины земляного пола, а руками онъ захватывалъ перетянутыя поперекъ веревки. «Коли есть куда лазъ, такъ на крышу. Поищемъ».

Пробираясь этакъ по чердаку вдоль покатаго потолка отъ стропила къ стропилу, Петрусь, дѣйствительно, добрался вскорѣ до слухового окошка. Только снѣгомъ его занесло, примерзло. Мальчикъ рванулъ за колечко, и оконце растворилось.

«Эге! да тутъ доска куда-то переложена. Знать,

къ сосѣднему дому, точно по заказу: коли нужно, есть куда дать еще тягу».

Въ это время мятель со двора ворвалась къ нему на чердакъ съ такою силой, что залѣпила ему снѣгомъ лицо. Онъ поспѣшилъ захлопнуть оконце.

«Скоро ли она наконецъ! Ужъ не задержалъ ли дядя? А ты сиди тутъ въ мышеловкѣ... Да нѣтъ, вотъ она».

Съ лѣстницы блеснулъ свѣтъ, и въ дверяхъ показалась стройная молодая дѣвушка съ фонаремъ въ рукѣ. Петрусь пошелъ къ ней навстрѣчу.

— Подними-ка-сь повыше фонарь,—попросилъ онъ.

— Это для чего?—удивилась Маруся.

— Ну, подними, сдѣлай такую милость.

Она исполнила его странную просьбу. Онъ съ разинутымъ ртомъ вытаращилъ на нее глаза.

— Чего ты уставился на меня такъ, словно проглотить хочешь?—спросила она съ улыбкой, и отъ этой милой улыбки красивыя и привѣтливыя черты ея стали еще солнечнѣе, привлекательнѣе.

— Такъ вотъ ты, стало, какая!—проговорилъ мальчикъ, продолжая любоваться молодой красавицей.

— Какая?

— Да такая, знаешь... ненаглядная. Не диво, что князю моему ты все еще мерещишься!

Нѣсколько блѣдное лицо дѣвушки покрылось густымъ румянцемъ, и она поскорѣе опустила опять фонарь.

— Вотъ тебѣ письмо къ нему,—проговорила

она скороговоркой, подавая Петрусю сложенную треугольникомъ записку.—Запечатать я не успѣла, потому сургучъ у дяди... Ай, Мати Пресвятая Богородица!—прошептала она вдругъ, вся вздрогнувъ, и оглянулась на лѣстницу, съ которой послышался стукъ двери.

Вслѣдъ затѣмъ снизу донесся и окрикъ Степана Марковича:

— Ты опять на чердакѣ, Машенька?

— Да, я здѣсь, дяденька...—подала голосъ племянница.—Кошурку мою ищу... Она давеча убѣжала и, пожалуй, смерзнетъ...

— Сколько разъ повторять тебѣ, чтобы съ огнемъ на чердакъ не ходить!

— Да я не со свѣчой, а съ фонаремъ... Я, дяденька, сейчасъ... Кисъ, кисъ, кисъ!

Но дядя лично, должно-быть, хотѣлъ помочь ей отыскать бѣглянку, а, можетъ быть, и убѣдиться, точно ли дѣло въ «кошуркѣ». Петрусь едва успѣлъ лишь отступить немножко назадъ за Марусю, какъ на порогѣ появился самъ Степанъ Марковичъ. Тяжело пыхтя послѣ восхожденія по крутой лѣсенкѣ, онъ окинулъ чердакъ однимъ взглядомъ и тотчасъ, конечно, усмотрѣлъ, кромѣ племянницы, стоявшаго въ ея тѣни юнаго ея собесѣдника.

— Такъ вотъ она, твоя кошурка! Кто ты есть такой и какъ сюда попалъ?—строго обратился онъ прямо къ Петрусю.

— А я такъ... самъ по себѣ...—бормоталъ въ от-

вѣтъ мальчикъ, котораго теперь, при всей его прыткости, оторопь взяла.

— Самъ по себѣ! Нечего, братъ, отлынивать. Такъ я тебя все равно не выпущу. Ну, выкладывай все на чистоту.

«Что ему сказать?— пролетѣло молніей въ головѣ Петруся. — Соврешь — не повѣритъ; а выложишь все на чистоту, такъ велитъ, вѣдь, связать и сдастъ Басманову. А тамъ аминь! Надо, значитъ, улепетывать».

Единственный выходъ въ одностворчатую дверь чердака на лѣстницу былъ заслоненъ грузной фигурой Биркина. Сбить съ ногъ этого увальня и думать было нечего. Оставалось спасаться на крышу.

Наклонившись къ фонарю въ рукѣ Маруси, Петрусь мигомъ раскрылъ и задулъ его, а затѣмъ, пользуясь наступившимъ полнымъ мракомъ, юркнулъ къ слуховому окошку.

— Эй, молодцы! — гаркнулъ во все горло Степанъ Марковичъ.

Но пока онъ дождался своихъ молодцовъ, Петрусь вылѣзъ уже въ оконце и на четверенькахъ, — чтобы въ темнотѣ не сорваться внизъ, — перебрался по доскѣ къ такому же слуховому окошку сосѣдняго дома. Хотя оно также примерзло, но не устояло подъ давленіемъ его плеча. И вотъ онъ уже на другомъ чердакѣ. Но воздушный мостъ могъ сослужить такую же службу Биркинскимъ молодцамъ; надо было его уничтожить. И онъ потянулъ къ себѣ доску, а когда

она отстала отъ Биркинскаго чердака, онъ выпустилъ ее изъ рукъ, и она съ глухимъ стукомъ грохнулась внизъ на дворъ.

— Теперь милости просимъ!—усмѣхнулся казачокъ про себя.

«Но какъ выбраться отсюда? Ишь, темень проклятая! Хошь глазъ выколи... Ага! вотъ и дверь».

Но дверь, какъ ни напиралъ онъ на нее, не поддавалась: знать, была на замкѣ.

«Не прыгнуть ли внизъ за доскою? А вдругъ угодишь прямо на доску, да ногу себѣ свихнешь, а то и совсѣмъ сломишь».

Онъ высунулся изъ оконца и заглянулъ въ глубину. Ночной мракъ, да крутившійся въ воздухѣ снѣгъ мѣшали что-либо видѣть; но до слуха его донесся снизу чей-то голосъ:

— Вотъ тутъ и обождемъ. Какъ соскочитъ, такъ и сцапаемъ.

«Оце ще! Ахъ, разбойники! Куда жъ теперь? На крышу развѣ? Коли скатишься оттуда, такъ не на дворъ къ нимъ по крайности, а на улицу».

Сколько разъ вѣдь ему случалось уже забираться на верхушки деревьевъ за птичьими гнѣздами; а на Запорожской Сѣчѣ, когда поднимали новый колоколъ на колокольню, онъ раньше всѣхъ былъ на верхней перекладинѣ, чтобы перебросить веревку. Съ ловкостью акробата онъ съ выступа слухового окошка взвился теперь однимъ взмахомъ на крышу. Но, какъ на грѣхъ, въ эту самую минуту вѣтромъ разогнало тучи, заволакивавшія

небо, и тамъ проглянуло нѣсколько звѣздъ. На этомъ-то звѣздномъ фонѣ такъ отчетливо вырисовался черный силуэтъ мальчика, усѣвшагося верхомъ на конькѣ крыши, что стоявшимъ внизу на дворѣ молодцамъ Степана Марковича нельзя было его не замѣтить.

— Эвона: онъ уже на крышѣ!—крикнулъ опять тотъ же голосъ.—Бѣги-ка кругомъ на улицу, а я здѣсь постою. Эй, ты! слѣзай-ка доброй волей. До утра тамъ все равно вѣдь смерзнешь.

«Еще бы не смерзнуть: вѣтеръ совсѣмъ ледяной и насквозь продуваетъ—бррр! За трубой хоть схорониться».

Скользя на рукахъ и колѣняхъ по покатой, занесенной снѣгомъ крышѣ, Петрусь доползъ до трубы.

«А труба-то ведетъ вѣдь въ какую ни на есть печь. Сидѣть въ печи во всякомъ разѣ и теплѣе и вѣрнѣе».

Онъ взлѣзъ на трубу и свѣсилъ въ нее ноги, а потомъ, держась руками за край, сталъ осторожно спускаться внутрь трубы. Всѣмъ тѣломъ упираясь въ стѣнки колѣнками и локтями, онъ скатился довольно плавно до самаго дна печи въ нижнее жилье дома. Но сорванная имъ при этомъ сажа, покрывавшая густымъ слоемъ дымовой ходъ, ударила ему въ носъ, и онъ чихнулъ.

Въ отвѣтъ изъ-за желѣзной заслонки (печь была такъ-называемая в а р и с т а я — для печенья хлѣба и варки пищи) раздался женскій, какъ бы старушечій голосъ:

— Съ нами сила крестная! Кто это тамъ?

— Это я, бабуся,—отозвался Петрусь самымъ умильнымъ тономъ.

— Да кто ты?

— А вотъ откроешь заслонку, такъ увидишь. Не томи, родная, выпусти изъ пекла.

— Такъ вотъ и выпущу! Можетъ, ты самъ нечистый!

— Въ печной трубѣ чище не станешь. Сжалься, бабуся! Изжаришь меня, такъ все равно вѣдь кушать не станешь.

— Тьфу, тьфу!

— Ну, полно, бабуся. Душой-то я такой же добрый православный, какъ и ты, вотъ те крестъ. Выпусти!

Что говорившій заявлялъ себя добрымъ православнымъ и поминалъ крестъ,—значительно успокоило старуху. Она стала осторожно отодвигать заслонку. Но выставившаяся оттуда чумазая отъ сажи образина болѣе или менѣе отвѣчала, должно-быть, ея представленію о врагѣ рода человѣческаго: она взвизгнула и хотѣла задвинуть опять заслонку. Да не тутъ-то было: Петрусь протиснулся уже впередъ и вслѣдъ затѣмъ соскочилъ къ ней на полъ.

— Здорово, бабуся!

Сгорбленная старушонка, со сморщеннымъ, какъ печеное яблоко, лицомъ, выпучила на него свои подслѣповатые глаза. Но и сквозь сажу цвѣтущее лицо казачка было такъ свѣжо и благообразно, его открытый бойкій взглядъ свѣтился такимъ добро-

душнымъ лукавствомъ, а смѣющійся ротъ сверкалъ такими славными бѣлыми зубами, что у старухи отлегло отъ сердца.

— Ишь, какъ перепачкался!—прошамкала она, укорительно качая головой. — И какъ ты въ печь-то залѣзъ?

— Сверху, бабуся: скатился какъ на салазкахъ.

— Ахъ, пострѣлъ! Ему еще смѣшно. Не расшибся, касатикъ?

— Нѣтъ, Богъ милостивъ. Подъ ноги мнѣ спасибо, попался пирогъ, что-ли...

Бабуся заглянула въ печь и всплеснула руками.

— Ну, такъ и есть! Смотри-ка, смотри самъ, что̀ ты надѣлалъ!

На желѣзномъ листѣ, который она выдвинула изъ глубины печи, дѣйствительно, лежалъ большой пирогъ. Подрумянился онъ на славу, но середина его была растоптана, и изъ-подъ коры выпирала зернистая каша съ грибами.

— А ѣсть-то все же, чай, можно,—сказалъ Петрусь и безъ церемоніи загребъ себѣ цѣлую пригоршню каши.

— Вотъ озорникъ!—напустилась на него старуха.—Вѣдь пирогъ-то для сотника моего...

Каша застряла въ горлѣ у Петруся.

— Для сотника?—переспросилъ онъ съ полнымъ ртомъ.

— Ну да, господинъ мой—стрѣлецкій сотникъ. Нарочно на ужинъ себѣ заказалъ любимый пирогъ съ кашей и съ грибами. Охъ, охъ! что̀ я скажу ему теперь?

— Скажешь, что не удался, перегорѣлъ.

— А про тебя что̀ сказать?

— Про меня — ни гу-гу, бабуся, ни Боже мой! Вѣдь за мной погоня...

— Погоня? Такъ это изъ-за тебя на дворѣ крикъ да гамъ?

— Изъ-за меня, бабуся.

— А кто же гонится за тобой?

— Да этотъ купецъ Биркинъ съ молодцами. Я отъ нихъ на чердакъ; а съ того чердака на здѣшній доска переложена. Перелѣзъ—да на крышу, а съ крыши въ трубу...

— Такъ ты, можетъ, обокралъ Биркина? Коли такъ...

— Нѣтъ, бабуся,—перебилъ Петрусь, — николи я не былъ воромъ, да и не буду. Но есть у Биркина, можетъ, знаешь, племянница...

— Марья Гордѣевна? Ее-то не знать, этакую милочку и умницу! Такъ при чемъ она тутъ?

— Принесъ я ей нонче, видишь ли, поклонъ отъ суженаго.

— А, а, а!—встрепенулась вдругъ старушонка, и въ тусклыхъ глазахъ ея засвѣтился на минутку живой огонекъ. — Такъ она тоже ужъ просватана?

— Не то, что просватана, а сговорена; но дядѣ-то ея, Степану Маркычу, покамѣстъ ничего еще о томъ не сказано...

— Та-акъ. Ну, это дѣло, какъ хочешь, неладное!

— Отличное дѣло, бабуся, лучше не надо. Суженый-то ея, знаешь, изъ какихъ?

— Изъ какихъ?

— Изъ бояръ.

— Вотъ на!

— И больше того: изъ князей высокородныхъ.

— Ну! Да какъ же онъ невѣсту себѣ беретъ не изъ боярышень тоже, а изъ простого купецкаго рода?

— Да развѣ Марья Гордѣевна, по-твоему, бабуся, не стóитъ иной боярышни?

— Чтó говорить. Хороша, какъ ангелъ небесный, и душа ангельская... А онъ-то, можетъ, уже въ лѣтахъ? А то и собой не казистъ?

— О! совсѣмъ ей подъ стать: и молодъ-то и красивъ на диво. Сама ты, бабуся, на него бы заглядѣлась, глазъ бы не отвела.

— Вишь, чтó выдумалъ! — усмѣхнулась бабуся своимъ беззубымъ ртомъ.— А звать-то его какъ?

— Ну, этого я тебѣ, прости, не скажу. Скажу только, что онъ состоитъ при нашемъ царевичѣ.

— При какомъ это?

— Да царевичъ-то русскій вѣдь одинъ—Димитрій.

— Этотъ, чтó воюетъ тутъ съ нами?

— Онъ самый.

— Да нешто онъ взаправду царскій сынъ? У насъ здѣсь баютъ, будто то обманщикъ, самозванецъ.

— Заправскій царевичъ, бабуся, ужъ это на совѣсть.

— Ну, объ этомъ, миленькій, не намъ съ тобой судить. А вотъ, чтó теперя-то мнѣ съ тобой, шелопутомъ, дѣлать, скажи!

— Выпустить тихомолочкомъ на улицу, а тамъ ужъ мое дѣло.

— То-то твое дѣло! Ироды эти вѣрно стерегутъ тебя тамъ.

— А ноги-то у меня на что?

— На добрый конецъ убѣжишь, а мнѣ, старухѣ, все же быть за тебя въ отвѣтѣ!

— Это зачѣмъ?

— Да какъ же: увидятъ, что выскочилъ изъ нашего дома; доложатъ моему сотнику, а онъ все ужъ вызнаетъ, доберется до меня, грѣшной... Охъ. охъ, охъ!

— Такъ вотъ что, бабуся,—сообразилъ Петрусь: —обряди меня бабой.

— Бабой?

— Ну да, чтобы никакъ уже, значитъ, не узнали. Вѣдь какая ни на есть завалящая, ненужная одеженка у тебя вѣрно найдется?

— Ишь ты, вѣдь, выдумщикъ какой!

— Такъ найдется, бабуся?

— Найтись-то какъ не найтись...

— Давай же сюда поскорѣе; не то меня еще у тебя накроютъ.

— Упаси Богъ и всѣ праведники Его!

Ухватившись за поданную мысль, бабуся раскрыла свой сундукъ и не безъ сожалѣнія, конечно, (что доказывали новые вздохи), достала оттуда ветхую юбку и старый-престарый шерстяной платокъ. Двѣ минуты спустя нашъ казачокъ преобразился въ такую же, какъ она, старушонку.

— Вотъ за это, бабуся, сугубое тебѣ спасибо— сказалъ онъ.—Дай-ка, я тебя расцѣлую.

— Ну, ну, отстань, и меня-то еще сажей своей вымажешь! Ступай, ступай.

И она почти насильно выпроводила его на лѣстницу.

— Смотри же, касатикъ, не попадись имъ въ лапы!— были ея послѣднія слова.— Сама-то я на улицу уже не выйду. Храни тебя Господь.

На улицѣ Петруся снова охватило снѣжной вьюгой. Плотнѣе закутавшись въ свой дырявый платокъ, онъ перебрался на противоположную сторону, чтобы прошмыгнуть незамѣтнѣй. Тѣмъ не менѣе, когда онъ поровнялся съ Биркинскимъ жильемъ, стоявшій тамъ у калитки человѣкъ,—безъ сомнѣнія, одинъ изъ молодцовъ Степана Марковича,—оглянулся и окликнулъ воображаемую бабу:

— Куда торопишься, молодка?

Петрусь счелъ, однако, за лучшее на этотъ разъ промолчать и, по-женски подобравъ взвиваемую вѣтромъ юбку, пустился бѣгомъ.

Вотъ и городская стѣна, а вонъ и всходъ наверхъ. «Чѣмъ отыскивать еще амбаръ Биркиныхъ, да пробираться потомъ въ темнотѣ этимъ подземнымъ ходомъ, не прыгнуть ли прямо со стѣны?»

И онъ ужъ на стѣнѣ.

— Куда тебя, дуру, нелегкая несетъ? Назадъ! гаркнулъ расхаживавшій по стѣнѣ часовой.

Не отвѣчая, Петрусь подбѣжалъ къ краю стѣны. Часовой—за нимъ и хвать за платокъ. Но платокъ

остался у него въ рукахъ, а Петрусь совершилъ уже свое salto mortale съ пятисаженной вышины.

— Господи, благослови!

Толстый слой снѣга нѣсколько умѣрилъ силу паденія. Но одна нога мальчика запуталась въ развѣваемую вѣтромъ юбку и подвернулась. Онъ растянулся во всю длину. Въ тотъ же мигъ около самаго уха у него прожужжала пуля, пущенная вслѣдъ ему часовымъ. Когда онъ тутъ приподнялся, то ощутилъ въ ногѣ тупую боль.

«Не сломалъ, кажись, свихнулъ малость, и то слава Богу».

Онъ сорвалъ съ себя послѣднюю принадлежность бабьяго наряда—юбку, отслужившую свою службу, и, весело посвистывая, заковылялъ къ мерцавшимъ въ отдаленіи огнямъ польскаго лагеря, предвкушая удовольствіе, съ которымъ станетъ разсказывать своему господину о своихъ молодецкихъ похожденіяхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Какъ двое тонутъ и другъ друга топятъ.

Тѣмъ временемъ Балцеръ Зидекъ рыскалъ по лагерю отъ костра къ костру, балагуря и зубоскаля съ грѣвшимся у огня воинствомъ. Благодаря своему острому языку, онъ имѣлъ въ лагерѣ большую популярность: очень ужъ занятно вѣдь большинству людей послушать, какъ пробираютъ ихъ ближнихъ.

Вдругъ со стороны траншеи послышались спорящіе голоса; потомъ изъ темноты вынырнули три фигуры: двухъ пушкарей и прихрамывающаго между ними мальчика безъ шапки, съ разодраннымъ воротомъ.

«Эге! да это никакъ щуръ князя Курбскаго: на ловца и звѣрь бѣжитъ!»

— Въ чемъ провинился хлопчикъ, панове?— спросилъ Балцеръ Зидекъ пушкарей.

Зная, какимъ вліяніемъ пользуется у гетмана его шутъ-любимецъ, тѣ съ готовностью объяснили, что хлопчикъ попался имъ въ руки, когда перелѣзалъ валъ траншеи.

— Вѣрно, ясновельможный панъ его велѣлъ ему оглядѣть траншею, все ли у васъ тамъ въ порядкѣ. Такъ вѣдь?—обратился шутъ къ Петрусю.

— Такъ,—поддакнулъ казачокъ, обрадованный такой неожиданной поддержкой.—Они же, вишь, мнѣ и воротъ оборвали...

— А зачѣмъ, братъ, пошелъ на утекъ?—замѣтилъ одинъ изъ пушкарей.—Влѣзъ-то вѣдь онъ въ траншею не отселѣ, а оттолѣ—отъ крѣпости; значитъ, былъ въ крѣпости у москалей.

— Вовсе еще не значитъ,—притворно вступился за хлопчика Балцеръ Зидекъ:—когда онъ перелѣзалъ на ту сторону траншеи, вы его проспали; ну, а будучи на той сторонѣ, онъ долженъ же былъ перебраться обратно. Вѣдь вы ничего, конечно, не нашли на немъ?

Пушкарь замялся и переглянулся съ товарищемъ.

— Да мы его еще не обыскивали,—признался онъ.

— И не къ чему: все равно ничего не нашли бы. Но самъ хлопчикъ сейчасъ вывернетъ свои карманы, чтобы вы не думали...

— А пускай ихъ думаютъ, что̀ хотятъ!—уперся тутъ Петрусь.—Надо мной воленъ одинъ

господинъ мой — князь Курбскій; къ нему меня и отведите.

— Очень нужно намъ изъ-за такихъ пустяковъ безпокоить его княжескую милость! — сказалъ Балцеръ Зидекъ. — Не самъ же князь своими бѣлыми руками станетъ рыться по твоимъ грязнымъ карманамъ! Или, можетъ, у тебя тамъ какія диковины, что и показать намъ жаль?

Говорилось все это съ усмѣшечкой, даже какъ-будто безъ обычнаго ехидства; только въ бѣгавшихъ по сторонамъ, рысьихъ глазахъ потѣшника блисталъ какой-то зловѣщій огонекъ

— Вѣрно, что диковины! Обшарить бы его!—со смѣхомъ подхватили лежавшіе вокругъ костра ратники: они были рады какому бы то ни было развлеченію въ своей сѣрой походной жизни.

— Гласъ народа — гласъ Божій; ну, что жъ, панове,—отнесся Балцеръ Зидекъ къ двумъ пушкарямъ:—обшарьте, стало-быть.

Тѣ только ждали этого, и какъ ни барахтался въ ихъ рукахъ Петрусь, какъ ни брыкался, наружные карманы его были выворочены. Къ немалому разочарованію зрителей, тамъ не нашлось, однако, ничего, кромѣ мѣдной мелочи да хлѣбныхъ крохъ.

— Что же я говорилъ? Онъ чистъ, какъ голубь, — замѣтилъ Балцеръ Зидекъ: — крошками однѣми питается, голубочекъ! Конечно, и за пазухой у него ничего не найдется.

И онъ уже собственноручно залѣзъ за пазуху мальчика. Тотъ рванулся назадъ, но достигъ только того, что у него отскочила верхняя пуго-

вица жупана, и что пушкари еще крѣпче схватили его за локти. Рука Балцера Зидека змѣей проскользнула во внутренній кармашекъ его жупана и извлекла оттуда письмецо Маруси Биркиной.

— Эге-ге! цидулочка какая-то...

— Отдайте мнѣ ее назадъ Балцеръ! сейчасъ отдайте! — внѣ себя крикнулъ Петрусь, тщетно вырываясь изъ державшихъ его жилистыхъ рукъ.— Письмо это не къ вамъ...

— А я такъ думаю, что именно ко мнѣ.

Повернувшись къ огню костра и лукаво прищурясь однимъ глазомъ, Балцеръ Зидекъ началъ разбирать нечеткую, очевидно, наскоро сдѣланную русскую надпись:

— «Его милости князю Михайлѣ Андреевичу Курбскому»...

Но въ это время Петрусю удалось оттолкнуть отъ себя одного изъ пушкарей. Не успѣлъ шутъ уберечься, какъ письмецо было выхвачено у него изъ рукъ и полетѣло въ самую середину пылающаго костра, гдѣ въ то же мгновеніе превратилось также въ огонь и дымъ. Балцеръ Зидекъ точно выросъ вдругъ на цѣлую голову, а насмѣшливыя черты его исказились сатанинской злобой.

— А! попался, измѣнникъ,— прошипѣлъ онъ, съ торжествующимъ видомъ озираясь на окружающихъ.—Вы всѣ вѣдь, панове, слышали сейчасъ, что письмо это было къ его милости князю Михайлѣ Андреевичу Курбскому?

— Слышали, какъ не слышать,—былъ единодушный отвѣтъ.

— А откуда шло къ нему письмо? Изъ крѣпости отъ москалей. Что̀ изъ того слѣдуетъ? Что его княжеская милость, безъ вѣдома пана гетмана, переписывается съ москалями. А кто переноситъ ихъ письма взадъ и впередъ? Этотъ вотъ голубочекъ. Такъ голубочекъ ли онъ, полно? Нѣтъ, онъ — гнусный клопъ! А что̀ дѣлаютъ, скажите, съ клопами?

— Ихъ давятъ! жгутъ! Веревки на него жалко! Въ огонь клопа! — раздались кругомъ негодующіе голоса.

Два пушкаря были, казалось, не прочь и на этотъ разъ послушаться «гласа народнаго»; но Балцеръ повелительнымъ жестомъ предупредилъ скороспѣшную экзекуцію:

— Стой! Не будетъ щура, такъ и господинъ отъ всего, пожалуй, отопрется. А въ господинѣ вся сила: птица крупнаго полета! Клопа же раздавить всегда поспѣемъ. Отведите-ка его къ пану Тарло; а ужъ тотъ доложитъ пану гетману.

Приказывалъ это уже не потѣшникъ, а приближенный пана гетмана, и пушкарямъ нельзя было не исполнить приказа.

Недолго погодя въ комнату къ Курбскому вошелъ панъ Тарло съ приглашеніемъ пожаловать къ пану гетману. Хотя ему при этомъ и не было сказано, для чего его требуютъ, но уже по тому надменному презрѣнію и чувству удовлетворенія, которыя слышались въ звукахъ голоса, свѣтились въ черныхъ глазахъ его недруга, Курбскому нетрудно было догадаться, что его ждетъ что-то

*

очень непріятное. То настроеніе, въ которомъ онъ засталъ затѣмъ гетмана и находившихся уже въ его кабинетѣ царевича и шута, точно также не предвѣщало ничего добраго. У старика Мнишка, встрѣчавшаго Курбскаго всегда очень привѣтливо, на этотъ разъ видъ былъ какой-то насупленный, а у Димитрія — крайне озабоченный и печальный. Тѣмъ не менѣе, царевичъ постарался придать своему голосу возможное дружелюбіе, когда обратился къ входящему съ такими словами:

— Ты былъ мнѣ всегда самымъ вѣрнымъ другомъ, Михайло Андреичъ; и теперь я не потерялъ еще въ тебя вѣру. Но потому-то я и не хотѣлъ допрашивать тебя съ глазу на глазъ: да не помыслятъ, что я тебя подучилъ,—какъ отвѣчать.

Курбскій смотрѣлъ на него безъ всякаго замѣшательства, съ недоумѣніемъ человѣка, не знающаго за собой никакой вины.

— Прости, государь,—сказалъ онъ,—но по словамъ твоимъ выходитъ, будто бы я долженъ въ чемъ отвѣтъ держать...

— Къ чистому никакая грязь не пристанетъ,— заговорилъ тутъ Мнишекъ, проводя ладонью по своему голому, лоснящемуся темени,—что служило у него всегда знакомъ сильнаго душевнаго волненія. — Двумя словами, любезный князь, вы можете разсѣять тяготѣющее надъ вами обвиненіе. Скажите: въ какихъ сношеніяхъ вы находитесь съ Басмановымъ?

Курскій выпрямился во весь свой внушительный ростъ, и глаза его засверкали благороднымъ негодованіемъ.

— Я съ Басмановымъ?—переспросилъ онъ, оглядывая всѣхъ присутствующихъ.—Да кто посмѣлъ взвести на меня такой поклепъ? Ужъ не вы ли, Балцеръ? — сообразилъ онъ по ядовитой усмѣшкѣ, искривившей тонкія губы шута.

— О, ваша княжеская милость!—отозвался тотъ съ откровеннымъ нахальствомъ.—Коли у васъ есть на то свой близкій человѣкъ, такъ дерзну ли я непрошенно оказывать вамъ услуги.

«Петрусь былъ въ замкѣ у Биркиныхъ и на обратномъ пути попалъ въ руки поляковъ».

Отъ этой мысли Курбскому нельзя было уже не смутиться. Мертвенная блѣдность, покрывшая вдругъ его лицо, не ускользнула отъ вниманія Мнишка. Онъ кивнулъ своему адъютанту:

— Введите-ка сюда арестанта.

«Если арестантъ этотъ—мой Петрусь, то про Марусю я не дамъ ему сказать ни слова», рѣшилъ про себя Курбскій.

Арестантомъ, въ самомъ дѣлѣ, оказался Петрусь, и когда глаза послѣдняго, какъ бы вопрошая, прежде всего остановились на его господинѣ, этотъ покачалъ отрицательно головой: «молчи!» дескать, «не проболтайся».

— Пожалуйста, князь, безъ тайныхъ знаковъ!— сухо замѣтилъ гетманъ; затѣмъ обернулся къ хлопцу:—У тебя при обыскѣ нашли письмо. Ты не хотѣлъ отдать его въ чужія руки и бросилъ въ огонь. Очевидцами этого были Балцеръ Зидекъ и всѣ ратники у костра. Стало-быть, отпираться отъ этого тебѣ было бы напрасно.

— Я и не отпираюсь,—отвѣчалъ Петрусь, смѣло глядя въ глаза допросчику.

— А къ кому было письмо?

— Почемъ мнѣ знать? Я неграмотный.

— Да я-то грамотный!—подхватилъ тутъ Бальцеръ Зидекъ.—На затылѣ письма стояло: «Его милости князю Михайлѣ Курбскому». Аль не слышалъ, какъ я читалъ?

— Слышалъ; да мало ли что̀ ты прочитаешь, чего вовсе и не написано! Сбрехнуть на добрыхъ людей такому злюкѣ ничего не сто̀итъ.

Что тотъ, дѣйствительно, былъ «злюкой», — доказалъ потокъ отборной брани, излившейся теперь изъ его устъ на казачка. Но старикъ-гетманъ властно предложилъ шуту не забываться, а потомъ обратился снова къ допрашиваемому:

— Да кто-нибудь же передалъ тебѣ то письмо?

— Никто не передавалъ.

— Откуда же ты взялъ его?

— Въ полѣ поднялъ.

— Въ какомъ мѣстѣ?

— Въ какомъ мѣстѣ?.. Да около траншеи. «Э! думаю: кто-нибудь обронилъ. Покажу-ка своему князю»...

— Прекрасно. Но для чего же ты въ такомъ случаѣ бросилъ его въ костеръ?

— Чтобы оно этому аспиду не досталось. Находка—моя; а онъ ее силой, вишь, у меня отбираетъ. Та̀къ вотъ, небось, у него и оставлю! Не мнѣ, такъ и не ему!

— Ловокъ ты, я вижу, на всякія увертки,—ска-

залъ Мнишекъ.—Но это тебѣ, любезный, ни къ чему не послужитъ.

— Да отсохни у меня языкъ...

— Не гнѣви Бога: какъ разъ отсохнетъ. Мы и безъ тебя все доподлинно уже знаемъ...

— А знаете, такъ чего вамъ еще отъ меня?

Вызывающій тонъ мальчика взорвалъ, наконецъ, гетмана.

— Подъ нагайкой ты, авось, запоешь другую пѣсню!—сказалъ онъ.—Пане Тарло! сдайте-ка его моимъ гайдукамъ.

— Погодите, пане Тарло,—вступился тутъ Димитрій.—Я думаю, что мы обойдемся и такъ. Ты, хлопецъ, вѣдь изъ казаковъ?

— Изъ запорожскихъ, государь, — отвѣчалъ тотъ попрежнему бойко, но безъ прежняго задора.

— И видѣлъ, конечно, какъ допрашиваютъ нагайкой?

— Безвинныхъ? Не случалось.

— А виновныхъ?

— Видѣлъ, государь.

— Такъ иной допросъ стоитъ иного наказанія. Подумай-ка хорошенько...

— Я уже подумалъ. Ты, княже, не крушись обо мнѣ,—отнесся мальчикъ къ своему господину:— шкуры вѣдь не сдерутъ, а потерпѣть за тебя для меня въ удовольствіе.

Курбскій готовъ былъ прижать своего вѣрнаго казачка къ сердцу. Но избавить его отъ пристрастнаго допроса было всего одно средство—открыться всѣмъ присутствующимъ въ своихъ чувствахъ къ

Марусѣ; а противъ этого все въ немъ возмущалось: и себѣ-то вѣдь онъ боялся еще признаться въ тѣхъ чувствахъ... Да и дали ли бы ему еще вѣру? При перекрестномъ допросѣ вывѣдали бы, пожалуй, отъ него или отъ Петруся про Биркинскую лазейку въ крѣпость, потребовали бы, чтобы показать имъ эту лазейку...

«Нѣтъ, лучше обо всемъ молчать!»

А пока онъ такъ колебался, гетманъ повторилъ адъютанту свое приказаніе вывесть арестанта. Панъ Тарло толкнулъ послѣдняго кулакомъ въ шею.

— Ну, чего стоишь? Маршъ!

И дверь затворилась за обоими. Мнишекъ наклонился къ Димитрію и сталъ съ нимъ шептаться.

— Обождемъ,—произнесъ со вздохомъ царевичъ, пожимая плечами.

До возвращенія пана Тарло прошло едва-ли болѣе десяти минутъ; но Курбскому, болѣвшему душой за своего хлопца, онѣ показались столькими же часами.

— Ну, что, сознался?—былъ первый вопросъ Мнишка входящему адъютанту.

Разгоряченное и хмурое лицо пана Тарло еще болѣе омрачилось...

— Нѣтъ, не сознался,—пробурчалъ онъ сквозь зубы:—преупрямый мальчишка!

— Вы обошлись съ нимъ, можетъ-быть, черезчуръ мягко?

— Какое мягко! Рука у меня устала.

— Такъ вы допытывали сами?

— Самъ: все вѣрнѣе. А онъ какъ воды въ ротъ набралъ, хоть бы пикнулъ!

— Такъ поджечь бы ему чуточку пятки,—предложилъ съ своей стороны Балцеръ Зидекъ:—радикальное средство, испытанное съ большимъ успѣхомъ инквизиціей. И если бы панъ гетманъ мнѣ дозволилъ...

— Покамѣстъ объ этомъ не можетъ быть и рѣчи,—прервалъ панъ Тарло:—надо ему еще очувствоваться.

— Гмъ,—промычалъ Мнишекъ:—такъ онъ, значитъ, безъ памяти?

— Да. Слабосильная натура!

— Или же рука у васъ, пане, не въ мѣру тяжелая. Что же намъ теперь дѣлать? Вы поймете, князь, что въ избѣжаніе всякихъ кривотолковъ, впредь до разъясненія этого темнаго дѣла, неудобно оставить васъ на свободѣ; до поры до времени вамъ придется посидѣть также подъ арестомъ.

Курбскій молча поклонился.

— Подъ домашнимъ, конечно,—добавилъ отъ себя Димитрій, избѣгая, однако, взглянуть на своего друга.—Я за тебя, Михайло Андреичъ, ручаюсь передъ паномъ гетманомъ.

— И на томъ спасибо, государь!—не безъ горечи поблагодарилъ Курбскій.—Мнѣ можно, стало-быть, идти?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Гордіевъ узелъ.

Второй день уже Курбскій отбывалъ свой домашній арестъ. Кушанья ему присылались съ гетманскаго стола на серебряныхъ тарелкахъ; не забывались даже обычные «заѣдки»: цукаты, марципаны, шептала, имбирь въ патокѣ... Но Курбскій едва къ чему прикасался.

Снова наступилъ вечеръ, и Курбскій, засвѣтивъ свѣчу, раскрылъ Евангеліе, съ которымъ не разлучался даже въ походѣ. Не разъ уже въ святыхъ поученіяхъ нашего Искупителя находилъ онъ душевное успокоеніе и утѣшеніе. Теперь же мысли его съ большимъ трудомъ слѣдовали за тѣмъ, что̀ читали глаза, и стоило ему закрыть глаза, какъ передъ нимъ, точно на яву, являлось милое дѣвичье личико, но блѣдное, скорбное и орошенное

слезами. Онъ насильно отгонялъ отъ себя дорогой ему образъ и принимался опять читать, принуждая себя всей силой воли вникать въ дѣянія и слова Христовы. Какъ всегда, и на этотъ разъ они постепенно оказали на него благотворное дѣйствіе. Онъ, наконецъ, до того отвлекся отъ дѣйствительности, что не разслышалъ, какъ открылась за нимъ дверь, не замѣтилъ, какъ кто-то приблизился къ нему тихой, кошачьей поступью. Только когда вошедшій слегка тронулъ его за плечо, онъ вздрогнулъ и приподнялъ голову. Передъ нимъ стоялъ старшій изъ двухъ духовныхъ совѣтчиковъ царевича, патеръ Николай Сѣраковскій.

— Сидите, сидите, сынъ мой, — заговорилъ патеръ ласково-грустнымъ тономъ, пододвигая себѣ другой стулъ.—Вы, я вижу, ищете послѣднее refugium (убѣжище) въ Святомъ Писаніи? Ахъ, да! земное счастіе—невѣрный другъ, несчастіе же—честный врагъ, благодаря коему сколько заблудшихъ обращается на путь истины!

Курбскій давно убѣдился въ двуличности этого, какъ онъ зналъ, тайнаго іезуита; а потому холодно прервалъ его вопросомъ, чему онъ обязанъ честью его посѣщенія.

— Но безъ глубокой вѣры все-таки нѣсть спасенія,—продолжалъ Сѣраковскій, точно не слыша его вопроса.—Вѣдь и вы, сыны греческой церкви, вѣруете въ того же Всевышняго Бога, въ того же Христа Спасителя, что и мы, приверженцы святого папскаго престола; для васъ не менѣе, чѣмъ для насъ, дорого слово Божье, особливо когда смерт-

ный часъ близокъ. Умирать и старикамъ-то тяжко, а въ такіе цвѣтущіе годы, когда жизнь еще улыбается,—о!..

Сердце въ груди у Курбскаго сжалось, дыханіе сперло.

— Что̀ вы хотите этимъ сказать, преподобный отецъ?—спросилъ онъ.—Что и мой смертный часъ близокъ?

Патеръ устремилъ на него соболѣзнующій взоръ, но уклонился опять отъ прямого отвѣта: ему надо было подготовить почву для окончательнаго удара.

— Не всѣ ли мы подъ Богомъ ходимъ?—сказалъ онъ.—Еще Сенека, мудрецъ сѣдой древности, говорилъ: «Ты неизбѣжно умрешь, ибо родился», иными словами: всякій смертный съ момента рожденія приговоренъ къ смерти. А въ военное время приговоръ этотъ виситъ надъ каждымъ изъ насъ Дамокловымъ мечомъ. Война — увѣнчанная лаврами фурія; а чего, скажите, ждать отъ фуріи?

— Не мучьте меня, сдѣлайте милость!—теряя терпѣніе, вскричалъ Курбскій.—Скажите просто: по рѣшенію военнаго суда я долженъ умереть?

Іезуитъ со вздохомъ утвердительно преклонилъ голову.

— Военное время!—повторилъ онъ, какъ бы въ оправданіе суровости приговора.—Отъ измѣны, какъ отъ острой заразы, не можетъ быть слабыхъ средствъ. Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat (чего не из-

лѣчитъ лѣкарство, то излѣчитъ желѣзо, чего не излѣчитъ желѣзо, то излѣчитъ огонь).

— Но я не измѣнникъ!

— Объ этомъ не мнѣ судить; это—дѣло военнаго совѣта. Въ совѣтъ были приглашены всѣ регименгары (полковые командиры), и декретъ состоялся единогласно: poena colli (смертная казнь).

— Единогласно! Но неужели и самъ царевичъ тоже...

— Покровитель вашъ, царевичъ Димитрій, и на сей разъ выступилъ вашимъ речникомъ (защитникомъ); онъ требовалъ по крайней мѣрѣ вашей интерпелляціи (вызова для объясненія). Но—одинъ въ полѣ не воинъ, говоритъ ваша русская пословица; въ концѣ концовъ и ему, увы! пришлось подчиниться общему постановленію.

Курбскому сдавалось, что передъ нимъ разверзлась бездна, въ которую его сейчасъ вотъ столкнутъ. Въ глазахъ у него потемнѣло, по тѣлу пробѣжали мурашки. Но выказать упадокъ духа передъ этимъ іезуитомъ,—ни за что! Онъ стиснулъ зубы и, немного помолчавъ, произнесъ уже довольно спокойно:

— Ну, что жъ, значитъ, воля Божья! Меньше жить—меньше грѣшить. И когда же все кончится? Отсрочки никакой уже не будетъ?

— На походѣ диляція (судебная отстрочка) не примѣнима. Если бы вы вышли теперь на улицу, то услышали бы за лагеремъ стукъ топоровъ.

Курбскій вскочилъ со стула.

— Какъ!—вскричалъ онъ.—Меня хотятъ по-

вѣсить? И царевичъ не могъ выговорить для меня даже честную пулю?

— Въ этомъ отношеніи вамъ нечего безпокоиться, сынъ мой, — отвѣчалъ не безъ ироніи патеръ:—вы—воинъ, и потому, согласно регламенту, умрете воинскою смертью, но приговоръ вамъ все-таки прочтутъ у пренгира (позорнаго столба), сооружаемаго рядомъ съ висѣлицей.

— О, Боже праведный! Но висѣлица для кого же?

— А для вашего хлопца, который, правду сказать, обязанъ этимъ только вамъ.

— Но это ужасно, это такая вопіющая несправедливость!..

Курбскій заметался по комнатѣ, ломая руки.

— Вся вина его вѣдь въ томъ, что онъ, по своему усердію, не по разуму перемудрилъ. Не его карай, Господи, а меня одного!

Патеръ Сѣраковскій слѣдилъ за своей жертвой глазами хищнаго звѣря; но когда онъ теперь заговорилъ, то въ медовомъ голосѣ его звучало какъ бы искреннее сочувствіе:

— И мнѣ бѣднягу этого сердечно жаль... Виноватъ ли онъ, что еще такъ молодъ, что послушенъ вамъ такъ рабски? Я охотно избавилъ бы его отъ петли. Но петля эта—въ своемъ родѣ Гордіевъ узелъ: затянуть ее очень просто, развязать же — задача неразрѣшимая. Есть, правда, одно послѣднее средство...

Курбскій быстро повернулся, и подошелъ къ іезуиту.

— Какое средство, преподобный отецъ? Говорите!

— Средство, признаться, довольно-таки рѣшительное...

— Все равно; говорите, говорите.

— Онъ — схизматикъ.

— Да, какъ и я, онъ исповѣдуетъ православную вѣру.

— По нашему же—схизму. Отрекись онъ отъ православія, перейди въ лоно единой истинной, апостольской церкви...

— Этого онъ не сдѣлаетъ! — горячо прервалъ Курбскій.

— Самъ отъ себя, пожалуй, и нѣтъ: для этого онъ слишкомъ еще глупъ.

— Такъ чрезъ кого же?

— Чрезъ своего господина.

— Чрезъ меня? И вы можете думать, что я стану другого уговаривать отказаться отъ моей же родной вѣры?

— Зачѣмъ уговаривать? Покажите ему примѣръ: примѣръ вашъ былъ бы для него закономъ; и спасли бы вы какъ вашего слугу, такъ и себя самого.

— Чтобы я по доброй волѣ отказался отъ спасенія души ради спасенія жизни?!

— Никто этого отъ васъ и не требуетъ, сынъ мой.

— Да не сами ли вы сейчасъ?..

— Указывалъ вамъ средство къ спасенію вашей жизни,—да. Но то же средство должно спасти и

вашу душу. Вѣдь сколько милліоновъ людей признаютъ власть римскаго первосвященника, въ томъ числѣ не мало, конечно, людей столь же просвѣщенныхъ, какъ и вы. Самъ царевичъ Димитрій, какъ небезызвѣстно вамъ, призналъ эту духовную власть.

— Съ чѣмъ я доселѣ не могу примириться!— вставилъ опять Курбскій.

— И напрасно: съ неизбѣжнымъ должно мириться. Не знаю, дошло ли уже до васъ (въ то время вы были вѣдь въ отсутствіи), но теперь, передъ вѣчной разлукой вашей съ земною жизнью, не скрою отъ васъ: его царское величество, перейдя въ латинство, съ тѣмъ вмѣстѣ далъ тайный обѣтъ, закрѣпленный его подписью, не препятствовать намъ, ратоборцамъ латинства, распространять наше ученіе по всей землѣ русской. Московскіе царедворцы, безъ сомнѣнія, не преминутъ тотчасъ же принять вѣру своего государя, и что же останется вамъ, его другу, какъ не сдѣлать то же?

— Я-то ни въ какомъ случаѣ этого не сдѣлаю!—воскликнулъ Курбскій.—Но и насчетъ другихъ русскихъ вы сильно, думаю, ошибаетесь: русскій народъ свято чтитъ всѣ старые обычаи предковъ, а тѣмъ болѣе свою родную вѣру...

— Это, впрочемъ, еще далеко впереди,—перебилъ патеръ,—и будущее покажетъ, кто изъ насъ былъ правъ: вы или я. Какъ бы тамъ ни было, къ вамъ я зашелъ теперь съ вѣдома самого царевича: ему очень, кажется, дорога ваша жизнь;

но своею властью прибавить вамъ онъ не можетъ и часу времени. Жизнь ваша, какъ видите, виситъ на волоскѣ; къ утру волосокъ оборвется...

— И пускай! Я умру, по крайней мѣрѣ, съ чистою совѣстью, въ родной моей вѣрѣ.

— А смерть хлопца ни чуть не потревожитъ вашей совѣсти?

Курбскій на минутку задумался, но только на минутку.

— Хлопецъ мой не умретъ,—сказалъ онъ убѣжденно. — Съ моею смертью онъ не будетъ уже ничѣмъ связанъ, и вы узнаете отъ него всю истину.

— Если мы ему повѣримъ!—возразилъ Сѣраковскій.

— Не вы, такъ царевичъ повѣритъ. Я оставлю ему на всякій случай еще письменное признаніе, а такому посмертному признанію онъ не можетъ не повѣрить. Но времени для этого, простите, осталось у меня очень немного; а потомъ мнѣ надо еще послѣдніе часы жизни побесѣдовать съ Богомъ.

Съ этими словами Курбскій приподнялся съ мѣста, давая тѣмъ понять, что считаетъ разговоръ оконченнымъ.

Патеръ не могъ не видѣть, что дальнѣйшія убѣжденія будутъ безплодны.

— До сихъ поръ, любезный князь, я уважалъ въ васъ стойкость воина, а теперь уважаю и стойкость христіанина,—произнесъ онъ съ глубокою, повидимому, искренностью, также вставая и про-

тягивая Курбскому на прощанье руку. — Тѣмъ больнѣе мнѣ, что вы не такой же христіанинъ, какъ я самъ. Быть-можетъ, вы пожелали бы все-таки нѣсколько ближе ознакомиться съ главными началами апостольской церкви? Съ своей стороны я приложилъ бы всѣ старанія, чтобы на сей конецъ исполненіе приговора было на день, на два отсрочено...

— Благодарствуйте,—сдержанно поблагодарилъ Курбскій.—Но мои ближайшіе родственники: мать, братъ и сестра—католики, а потому мнѣ хорошо извѣстно различіе между ихъ вѣрою и моею, которую я одинъ изъ всей нашей семьи исповѣдую послѣ моего покойнаго родителя. Въ этой же вѣрѣ я и умру.

— Вольному воля! Вы сами затягиваете свой Гордіевъ узелъ.

Іезуитъ былъ, очевидно, крайне раздосадованъ своей неудачей. Отъ Курбскаго онъ прошелъ прямо къ Димитрію, который уже ждалъ его и встрѣтилъ словами:

— Ну, что̀, убѣдили?

— Увы! всѣ мои аргументы отскакивали отъ него, какъ отъ каменной стѣны.

— Я такъ и зналъ! А между тѣмъ онъ мнѣ теперь нуженъ болѣе, чѣмъ когда-либо прежде...

— На что̀, государь? смѣю спросить.

— Я собирался послать его въ Москву...

— Не съ эпистоліей ли къ узурпатору вашего престола?

— Да, къ Годунову: можетъ-быть, мнѣ все

же удалось бы убѣдить его, что Божьимъ Промысломъ я спасся отъ убійцъ въ Угличѣ...

— Отъ тѣхъ, которыхъ онъ самъ подослалъ?— съ ироніей добавилъ патеръ.

— Зачѣмъ колоть ему этимъ глаза? Если онъ въ томъ повиненъ, то внутренній голосъ ему это и безъ того подскажетъ.

— Ну, знаете, ваше величество, полагаться на чужой внутренній голосъ—въ наши времена довольно трудно.

— Но я еще объявлю ему, что не сложу оружія, доколѣ не возсяду на престолъ моихъ предковъ; что благо русскаго народа мнѣ столь же дорого, если не дороже, чѣмъ ему самому, но что въ послѣдней битвѣ пало русскихъ четыре тысячи человѣкъ, и кровь ихъ вопіетъ къ небу...

— Все это такъ, да тронетъ ли его черствое сердце?

— Оно не черство, clarissime: о народѣ своемъ онъ печется всѣми мѣрами.

— Печется затѣмъ, чтобы народъ его цѣнилъ и не вырвалъ скипетра у него изъ рукъ. Кто извѣдалъ разъ прелесть власти, тотъ, повѣрьте мнѣ, отказаться отъ нея уже не въ силахъ.

— Быть-можетъ, вы и правы...—проговорилъ задумчиво Димитрій—Во всякомъ случаѣ, я хотѣлъ бы испытать еще этотъ миролюбивый путь, чтобы упредить новые потоки крови. И вотъ для этого-то дѣла мнѣ нуженъ такой преданный человѣкъ, какъ Курбскій.

— Ваше величество попрежнему еще вѣрите въ его преданность?

— Сердцемъ все еще вѣрю, clarissime, наперекоръ даже уму.

— Но умъ все-таки заставляетъ васъ сомнѣваться въ немъ? Если же такъ, то не безразсудно ли, согласитесь, давать ему столь важное порученіе? И будто у насъ здѣсь не имѣется для того другихъ людей, вполнѣ уже вѣрныхъ и вдвое опытнѣе?

— Кто, напримѣръ?

— Да хоть бы коллега мой, патеръ Ловичъ. За него-то я отвѣчаю, какъ за самого себя. Кстати же на него можно было бы возложить тогда и другое порученіе, еще болѣе отвѣтственное, на случай, что первое не увѣнчалось бы желаннымъ успѣхомъ.

— Да что̀ можетъ быть еще отвѣтственнѣе?

— А изволите ли видѣть...

Іезуитъ опасливо оглянулся кругомъ и подошелъ къ двери, чтобы удостовѣриться, плотно ли она притворена.

— Дѣло вотъ въ чемъ,—продолжалъ онъ, таинственно понижая голосъ.— Легатъ вашего величества, прибывъ въ Москву, былъ бы принятъ, конечно, въ царскомъ дворцѣ. Между придворными чинами найдутся, безъ сомнѣнія, и такіе, которые не глухи къ разумному слову и... къ звону золота. Ну, а если вскорѣ затѣмъ царь Борисъ волею Божьею внезапно захвораетъ и отойдетъ въ лучшій міръ (всѣ мы смертны!), то цѣль наша будетъ достигнута сразу безъ пролитія единой капли крови, и народъ

московскій съ радостью призоветъ къ себѣ своего законнаго царя Димитрія.

Въ чертахъ Димитрія изобразились ужасъ и отвращеніе.

— Я не желаю понять васъ! — сказалъ онъ.— Если Провидѣнію угодно, чтобы я царствовалъ на Москвѣ, то оно поведетъ меня туда своими путями безъ всякаго насилія. Что тебѣ нужно?—обратился онъ къ появившемуся въ дверяхъ гайдуку.

Тотъ доложилъ, что какая-то женщина Христомъ-Богомъ молитъ допустить ее къ его царскимъ очамъ.

— Женщина въ нашемъ лагерѣ! Да какъ ее вообще пропустили сюда?

— Не могу знать, государь. За темнотою, знать, проглядѣли.

— И откуда она?

— Господь ее вѣдаетъ: имени своего не называетъ, сама платкомъ закрывается, чтобы не показать лица.

— Отведи-ка ее къ пану Тарло: пусть ее допроситъ.

— Слушаю-съ.

Но какъ только гайдукъ открылъ дверь, чтобы удалиться, мимо него ворвалась въ комнату сама просительница и упала къ ногамъ царевича. При этомъ прикрывавшій ея голову платокъ скатился на плечи, и оба: царевичъ и іезуитъ узнали въ ней любимую фрейлину панны Марины Мнишекъ, Мусю Биркину. Димитрій былъ такъ пораженъ, что забылъ даже о полномъ разрывѣ между двумя по-

другами. Первою мыслью его было, что фрейлина прислана къ нему отъ его невѣсты съ какою-нибудь ужасною вѣстью; а потому, выславъ изъ комнаты гайдука, онъ поднялъ молодую дѣвушку съ полу и спросилъ ее, не изъ Самбора ли она.

— Нѣтъ, ближе, государь,—отвѣчала Маруся, устремляя на него умоляющій, полный отчаянья взоръ.—До меня дошелъ слухъ, что князь Михайло Андреичъ Курбскій долженъ умереть, и вотъ... въ Польшѣ, я знаю, прощаютъ даже самаго закоренѣлаго преступника, если найдется дѣвушка, которая... которая согласна вѣнчаться съ нимъ...

— Правда, clarissime? — спросилъ Димитрій іезуита.

— У поляковъ, точно, есть старый законъ такого рода,—подтвердилъ Сѣраковскій.—Когда инкульпата ведутъ на казнь, и изъ толпы какая-нибудь дѣвушка броситъ ему полотенце, то провожающій его ксендзъ ведетъ обоихъ прямо къ алтарю...

— И инкульпатъ возвращается къ новой жизни—семейной!—подхватилъ царевичъ съ прояснившимся лицомъ. —Такъ вы, пани, хотите возвратить моего друга къ этой новой жизни?

— Да... ежели онъ самъ только согласится...— пролепетала Маруся, вспыхнувъ мимолетнымъ румянцемъ и потупляясь.

— А вотъ мы сейчасъ вызовемъ его сюда и спросимъ.

— Погодите, государь,—вмѣшался тутъ патеръ.—Вы упускаете изъ виду, что законъ этотъ старый польскій.

— Такъ что же? Мы въ польскомъ лагерѣ...

— Но законъ-то писанъ собственно для поляковъ, т.-е. для католиковъ; а вы, пани Марія, вѣдь схизматичка?

— Да, православная.

— И князь Курбскій точно также. Поэтому воспользоваться вамъ обоимъ нашимъ закономъ можно не ранѣе, какъ перейдя въ лоно нашей святой римской церкви.

— Но это невозможно! И князь Михайло Андреичъ навѣрно тоже не пойдетъ на это...

— Почему же нѣтъ? Онъ не останется глухъ къ убѣжденіямъ своей прекрасной спасительницы, тѣмъ болѣе, что и царственный другъ его принялъ уже латинство...

Если іезуитъ послѣднимъ своимъ доводомъ разсчитывалъ понудить царевича оказать и съ своей стороны давленіе на рѣшеніе Маруси, то ошибся въ разсчетѣ. Димитрій нахмурился и отозвался отрывисто и рѣшительно:

— Вѣра—дѣло совѣсти каждаго, житейскіе же законы для всѣхъ одинаковы. Поэтому и тотъ старый польскій законъ, о которомъ у насъ рѣчь, пригоденъ въ польскомъ лагерѣ какъ для католиковъ, такъ и для православныхъ. Все дѣло въ томъ, откуда взять намъ сейчасъ православнаго священника...

— Сейчасъ, государь, намъ и безъ того нельзя было бы вѣнчаться,—замѣтила скороговоркой Маруся, снова краснѣя:—до Крещенья у насъ, православныхъ, свадебъ быть не можетъ.

— И то правда... Этакая вѣдь досада! А къ Крещенью Михайло Андреичъ долженъ бы быть уже въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ?—подхватила, вся встрепенувшись, Маруся. — Ты, государь, посылаешь его въ Москву?

— Да, съ грамотой къ царю Борису. Онъ раненъ и для ратнаго дѣла пока все равно не способенъ.

— А мы съ дядей тоже собираемся въ Москву: дядя давно уже надумалъ перебраться туда къ своему старшему брату...

— Вотъ и прекрасно! Тамъ, значитъ, и повѣнчаетесь съ княземъ по православному обряду.

— Summum jus—summa injuria! (высшая справедливость—высшая несправедливость!) — пробормоталъ Сѣраковскій, котораго должна была крайне огорчить такая неудача его замысла.— Мелкихъ предателей вѣшаютъ, а крупныхъ награждаютъ.

— Князь Михайло Андреичъ никогда не былъ предателемъ!—возразила Маруся съ необычною у нея запальчивостью.

— Вы, пани, видно, не знаете, что онъ уличенъ въ тайной перепискѣ съ Басмановымъ.

— Съ Басмановымъ? И вы сами читали эти письма?

— Перехвачено было только одно письмо Басманова на имя князя; но и то не могло быть прочтено, потому-что переносчикъ успѣлъ бросить его въ костеръ.

— И переносчикъ этотъ былъ хлопецъ князя, Петрусь Коваль?

— Да, Коваль.

— Такъ письмо это было вовсе не отъ Басманова, а отъ меня! Я писала князю, что мы съ дядей собираемся въ Москву, но не знаемъ, какъ пробраться черезъ вашъ польскій лагерь. Коваль же былъ у насъ въ замкѣ даже безъ вѣдома своего господина...

— Слава Богу!—съ облегченіемъ воскликнулъ царевичъ.—Стало-быть, никакого предательства со стороны князя не могло быть.

— Никакого, конечно. Да и самъ Коваль былъ у меня только по моему же дѣлу.

— Въ такомъ случаѣ и его казнить нѣтъ законной причины.

— Но вѣдь все это слова, ваше величество, одни слова,—возразилъ патеръ.—Надо ихъ еще формально провѣрить...

— Полноте, clarissime. Кому, какъ не вамъ, сердцевѣдцу, съ одного взгляда проникать въ человѣческую душу. Взгляните же на эту молодую панну: ну, можетъ ли этотъ чистый, ясный взоръ лгать и притворяться? Дорогой ей человѣкъ приговоренъ къ смерти,—и она одна, въ темнотѣ, идетъ во вражескій станъ, чтобы спасти безвиннаго. Всѣ мы,—самъ панъ гетманъ и весь военный совѣтъ,—должны бы преклониться передъ такимъ истиннымъ геройствомъ.

— Преклоняюсь и я, пани,—произнесъ патеръ съ легкимъ поклономъ.—Но, сказавъ намъ, что

письмо къ князю Курбскому было отъ васъ, вы, надѣюсь, не откажете удовлетворить наше любопытство и насчетъ того, какимъ путемъ вы пробрались сквозь нашу воинскую цѣпь?

— Этого, извините, я вамъ уже не скажу!— наотрѣзъ отказалась Маруся.—Но у меня, государь, была бы къ тебѣ еще великая просьба...

— Повидать Михайлу Андреича?

— Да...

— Еще бы невѣстѣ не повидать жениха! А онъ-то, я чай, какъ будетъ счастливъ!

Появленіе царевича въ сопровожденіи Маруси Биркиной не столько, впрочемъ, осчастливило Курбскаго, сколько ошеломило.

— Ну, что, Михайло Андреичъ, не ожидалъ?— замѣтилъ Димитрій, съ улыбкой глядя на своего совершенно остолбенѣвшаго друга.—Не хочу вамъ мѣшать, мои милые, наговориться.

И онъ оставилъ ихъ однихъ. Опустившись на предложенный ей Курбскимъ стулъ, Маруся, запинаясь, принялась разсказывать о томъ, какъ Петрусь Коваль былъ вчера у нея въ замкѣ и спасся какимъ-то чудомъ отъ погони; какъ нынче вечеромъ Трошка принесъ изъ польскаго лагеря вѣсть о готовящейся казни ихъ обоихъ: господина и хлопца, и какъ она, Маруся, тѣмъ же потайнымъ ходомъ тотчасъ прошла также сюда, въ польскій лагерь, чтобы избавить ихъ отъ позорной смерти.

— И вотъ, слава Всевышнему, избавила...— закончила она свой разсказъ, осѣняя себя крестомъ, и слезы заглушили ея прерывающійся голосъ.

Курбскій слушалъ ее все время молча, строго сжавъ губы и не поднимая глазъ съ полу.

— Ты плачешь, Марья Гордѣевна,—замѣтилъ онъ теперь,—значитъ, что-нибудь вѣрно не такъ. Ты не скрыла отъ нихъ ничего?

— Ничего. Промолчала только про твой образокъ... Зачѣмъ имъ знать?

— Еще бы. А про письмо твое ко мнѣ говорила?

— Говорила...

— И тогда они всему такъ и повѣрили?

— Не сейчасъ... Я сказала имъ еще... Не гнѣвись, князь Михайло Андреичъ! но безъ этого все было бы напрасно...

Она опять замялась, задыхаясь отъ стыдливаго волненья.

— Да что́ же ты сказала имъ еще?

— Что ты .. что я будто бы сговорена съ тобой...

— Но какъ ты могла сказать имъ это!—возмутился Курбскій. — Вѣдь ты хорошо знаешь, что я давно женатъ?

— Да они-то этого не знаютъ. А есть такой старый польскій законъ, что даже приговореннаго къ смерти прощаютъ, если какая-нибудь дѣвушка готова идти съ нимъ сейчасъ подъ вѣнецъ.

— Но мнѣ-то нельзя опять жениться отъ живой жены!

— Да и не нужно. До Крещенья все равно не вѣнчаютъ; а царевичъ еще до тѣхъ поръ посылаетъ тебя съ граматой въ Москву; я съ дядей ѣду туда

же, будто бы затѣмъ, чтобы тамъ съ тобой вѣнчаться...

— А на самомъ дѣлѣ?..

— На самомъ дѣлѣ, чтобы постричься въ монахини. Такъ лучше, князь, повѣрь, гораздо лучше! А теперь прощай...

И прежде, чѣмъ смущенный ея великодушіемъ Курбскій нашелся, что сказать, дверь захлопнулась за нею.

Такъ Гордіевъ узелъ, который не удалось развязать хитроумному іезуиту, разрубила однимъ ловкимъ ударомъ слабая дѣвичья рука.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Двѣ, одна и ни одной.

Днéй десять спустя по большой дорогѣ отъ Брянска на Калугу мчались двѣ лихія тройки, за которыми едва поспѣвали парныя пошевни, нагруженныя разною дорожною кладью. Въ первыхъ саняхъ сидѣлъ Курбскій съ своимъ вѣрнымъ казачкомъ, во вторыхъ—Степанъ Марковичъ Биркинъ съ племянницей. Послѣдніе дни морозило такъ сильно, а постоялые дворы были такъ рѣдки, что наши путешественники не разъ вылѣзали изъ саней и бѣжали пѣшкомъ, чтобы отогрѣть окоченѣвшіе члены. Дѣлать привалъ въ попадавшихся тамъ и самъ жалкихъ деревенькахъ они вскорѣ закаялись: крайняя неопрятность жилья и людей съ миріадами насѣкомыхъ — этими неизбѣжными спутниками голой нищеты послѣ нѣсколькихъ

неурожаевъ,—все равно не давала бы спать, а отнимать у голодающихъ послѣдній кусокъ хлѣба духу не хватало. Изъ лѣсной чащи, съ наступленіемъ темноты, иногда сверкали огни жадныхъ волчьихъ глазъ. Голодали волки, конечно, не менѣе людей; но задорный звонъ колокольчиковъ, а еще болѣе, пожалуй, запахъ пороха, который волки, какъ извѣстно, чуютъ уже издали (пистоли у Курбскаго были заряжены), удерживали лѣсныхъ хищниковъ на почтительномъ разстояніи. Раза два-три путниковъ останавливали у царскихъ заставъ; но, по предъявленіи ими открытыхъ листовъ, свидѣтельствовавшихъ, что они сами — царскіе люди и ѣдутъ въ Москву по государеву приказу, ихъ пропускали безпрепятственно.

Уже завечерѣло, когда они добрались опять до постоялаго двора, гдѣ можно было и покормиться и хорошенько погрѣться. Первымъ въ «чистую» горницу, освѣщенную горящимъ въ свѣтцѣ пучкомъ лучины, ввалился Степанъ Марковичъ. Сбрасывая съ себя свою медвѣжью шубу, онъ властно гаркнулъ хозяйкѣ:

— Ну-ка, тетка, что̀ есть въ печи, все на столъ мечи!

За полторы недѣли совмѣстнаго странствія съ Курбскимъ, который обращался съ нимъ, какъ и вообще со всѣми, привѣтливо и просто, Биркинъ совершенно свыкся съ мыслью, что это—будущій мужъ его племянницы. Съ своей стороны, чтобы не ударить передъ нимъ въ грязь лицомъ, онъ выговорилъ себѣ право продовольствовать его

вплоть до Москвы. И вотъ, изъ кухни вскорѣ потянуло заманчивымъ духомъ чего-то жаренаго съ лукомъ; а между тѣмъ на столѣ, накрытомъ скатертью грубаго домашняго тканья, появились миска горячихъ лѣнивыхъ щей, толокно, пирогъ съ кашей и грибами, разныя соленья и моченыя яблоки, деревянные жбаны съ брагой и имбирнымъ медомъ.

Степанъ Марковичъ, однако, предварительно укрѣпился изъ своей дорожной сулеи (фляги) «забористой романеей» и затѣмъ уже принялся, какъ слѣдуетъ, за ѣду. Смачно чавкая, онъ даже распоясался, чтобы дать бо̀льшій просторъ своему тучному чреву.

— Что же вы, дѣтки мои, не кушаете?—спросилъ онъ, видя, что ни Курбскій, ни Маруся не торопятся утолить голодъ.—И оба, гляди-ка, скучные какіе! Повздорили межъ собой, что ли?

— О, нѣтъ! когда же намъ было?—отозвался Курбскій.

— И изъ-за чего?—добавила Маруся; но въ голосѣ ея, звучала такая тоскливая нота, что Биркинъ внимательно всмотрѣлся въ ея потухшіе глаза и головой покачалъ.

— Не нравишься ты мнѣ, Машенька! охъ, не нравишься! Чего тебѣ еще, кажись? Изъ купецкихъ дочерей да прямо въ княгини, эко на!

— Сразу не оправишься, Степанъ Маркычъ,—сказалъ Курбскій.—Вѣдь чего ей намедни натерпѣться пришлось! Никогда не прощу я себѣ...

— А я-то изъ-за нея мало, что ль, страху натерпѣлся?—подхватилъ Степанъ Марковичъ.—Вѣдь

я, какъ никакъ, долженъ же за нее Богу отвѣтъ дать. Какъ запропала она тогда ввечеру,—я туда-сюда: гдѣ моя дѣвонька? а она, поди-ко-сь, какое колѣнце выкинула: къ врагамъ ушла! И откуда ты, матушка, такой смѣлости набралась? А я изъ-за тебя всю ночь, почитай, въ сокрушеніи сердечномъ глазъ не сомкнулъ.

— Прости ужъ, дяденька,—извинилась Маруся.—Но одной мнѣ темною ночью возвращаться оттуда совсѣмъ неспособно было; дали бы мнѣ провожатаго изъ поляковъ, а тотъ подглядѣлъ бы нашъ потайной ходъ. На хуторѣ же у гетмана панъ Бучинскій мнѣ до утра свою собственную горницу въ верхнемъ жильѣ уступилъ.

— Знаю, родная моя, знаю; спасибо ему зато: обязательный парень, что̀ говорить. Да въ тѣ поры-то мнѣ невдомекъ. Зовутъ меня это поутру на замковую стѣну: «самъ Басмановъ, молъ, требуетъ!» Никола многомилостивый! Что̀ ему отъ меня? Бѣгу; у самого поджилки трясутся. Глядь: на стѣнѣ Басмановъ со стрѣльцами, а внизу, подъ стѣной, моя Машенька съ этимъ секретаришкомъ Бучинскимъ, оба платками машутъ. Что̀ за причта такая?

— Правду сказать, Степанъ Маркычъ, —замѣтилъ Курбскій,—не надѣялся я, что тебѣ удастся такъ скоро получить отъ Басманова открытый листъ до Москвы.

— А спроси-ка, милый человѣкъ: почему?

— Почему?

Биркинъ опасливо оглядѣлся на хозяйку, возившуюся до тѣхъ поръ за своей стойкой. Но та

скрылась между тѣмъ въ кухню, и онъ продолжалъ, на всякій случай все-таки понизивъ голосъ:

— Теперича уже не для чего таить отъ тебя. Скажу, такъ и быть: твоя милость везетъ царю Борису Ѳедорычу грамотку отъ своего царевича; ну, а мы веземъ ему свою отъ Басманова... Однако, кой прахъ! когда жъ они подадутъ намъ жаркое? Пойти самому на кухню.

Какъ только онъ вышелъ вонъ, Курбскій обратился къ Марусѣ:

— Ну, Марья Гордѣевна, здѣсь намъ и проститься.

Молодая дѣвушка, изо дня въ день ожидавшая этой рѣшительной минуты, тѣмъ не менѣе измѣнилась въ лицѣ.

— Какъ! уже? — пролепетала она, и на рѣсницахъ ея выступили слезы.

— Что̀ дѣлать! чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, коли ужъ тому быть. Отсюда поворотъ къ Мосальскимъ; а сама же ты пожелала, чтобы я примирился съ этой...

— Постылой женой твоей? Да, да... Хоть и повѣнчанъ ты съ нею противъ твоей воли, а все же ты мужъ ей передъ людьми и передъ Богомъ... Ч-ш-ш: дядя!

Когда Биркинъ узналъ тутъ о намѣреніи Курбскаго, по порученью будто бы царевича, завернуть на день, на два къ князю Рубцу-Мосальскому, то выразилъ даже удовольствіе.

— Поспѣемъ хошь къ пріѣзду твоему все въ домѣ пріубрать, приготовить.

— Да вѣдь ты, Степанъ Маркычъ, не имѣешь еще въ Москвѣ своего собственнаго дома?—сказалъ Курбскій.

— А на что́ же у меня тамъ старшій братъ, Иванъ Маркычъ? У него какъ для меня съ Машенькой, такъ и для тебя найдется всегда теплый уголокъ.

— Но я-то Ивану Маркычу совсѣмъ чужой.

— Вотъ на! Такой же, я чай, племянничекъ, какъ и мнѣ. Коли ты не остановишься у брата Ивана, то его просто́ до смерти изобидишь. Да и супружницу его, Платониду Кузьминишну. Такая она у него, я тебѣ скажу, добрая душа, хлѣбосолка... Ни, ни, ни! и думать не моги! — остановилъ Степанъ Марковичъ Курбскаго, собиравшагося еще что-то возразить. — Смотри только, не заживайся у Мосальскаго.

И вотъ насталъ часъ разлуки. Не разъ уже до этого дня посмѣивался Биркинъ надъ крайнею сдержанностью обрученныхъ, которые никогда при немъ не миловались и даже не называли другъ друга ласкательными именами. И теперь, прощаясь съ женихомъ, Маруся отвернулась и, точно нехотя, протянула ему руку. Но вдругъ она пошатнулась и закатила глаза; Курбскій едва лишь поспѣлъ подхватить ее. Пришлось спрыснуть бѣдняжку водой.

— Ага! — сказалъ Степанъ Марковичъ, когда племянница открыла опять глаза.—Какъ, матушка, ни крѣпись, а сердце скажется, квашни крышкой не прикроешь.

Отъ этихъ словъ дяди молодая дѣвушка окон-

чательно пришла въ себя. Она вырвалась изъ рукъ «жениха» и заторопила:

— Ѣдемъ же, дяденька, поскорѣе, поскорѣе...

Пять минутъ спустя сани съ дядей и племянницей, а за санями и пошевни съ поклажей, двинулись съ постоялаго двора по калужской дорогѣ. Въ сгустившихся сумеркахъ скоро не стало ихъ видно; а Курбскій съ непокрытой головой все еще глядѣлъ имъ вслѣдъ съ крыльца.

— Вмѣсто двухъ, одна, да какая!—пробормоталъ онъ про себя, но настолько громко и съ такой странной, безнадежной усмѣшкой, что стоявшій около него Петрусь его разслышалъ и, недоумѣвая, переспросилъ:

— Вмѣсто какихъ двухъ, княже?

— Ахъ, и ты тутъ?—сказалъ Курбскій, который теперь только замѣтилъ его присутствіе.

Отвѣта на свой вопросъ Петрусь такъ и не дождался. Возвратившись въ «чистую» горницу, Курбскій подозвалъ въ себѣ словоохотливую хозяйку и сталъ ее разспрашивать о Мосальскихъ. Оказалось, что до помѣстья ихъ было верстъ шестьдесятъ, а можетъ и семьдесятъ, при томъ все проселочной дорогой, занесенной теперь снѣгомъ. Такимъ образомъ добраться туда въ потемкахъ нечего было и думать: того гляди, съ пути собьешься. Что же до самихъ Мосальскихъ, то старикъ князь года полтора уже назадъ Богу душу отдалъ, а молодой князь былъ въ походѣ съ царской дружиной противъ супостатовъ-поляковъ. Къ уди-

вленію хозяйки, Курбскій какъ-будто былъ этимъ даже доволенъ.

— Превосходно,—сказалъ онъ.—А отецъ Смарагдъ еще тамъ?

— Попикъ-то? Живъ старичокъ, живъ; Господу, знать, еще угоденъ.

На другое утро, чѣмъ свѣтъ, Курбскій сидѣлъ опять въ своихъ саняхъ. Тройку, изъ-за проселка по дремучему бору, пришлось запречь гуськомъ; тѣмъ не менѣе лошади то и дѣло увязали въ снѣгу, а сани подбрасывало, качало на сугробахъ, какъ утлый челнокъ на бурномъ морѣ. Было уже далеко за полдень, когда изъ-за прилѣска показалась церковная колокольня. Около церкви, среди нависшихъ подъ снѣгомъ деревъ, ютился скромный домикъ священника. Далѣе по косогору безпорядочно раскинулось цѣлое село, а надъ селомъ угрюмо и строго высился, за высокимъ тыномъ, старый княжескій теремъ съ двойной кровлей и остроконечнымъ верхомъ. Какъ все это было знакомо Курбскому и памятно,—памятно не радостями, о, нѣтъ, а самыми горькими испытаніями!..

— Къ батюшкѣ!—приказалъ онъ, и сани остановились передъ низенькимъ крылечкомъ священническаго дома.

Отецъ Смарагдъ, сухенькій, но подвижный старичокъ, съ ясными, зоркими глазами, вышелъ ему навстрѣчу въ прихожую. Когда же Курбскій, принявъ отъ него пастырское благословеніе, поднялъ голову, то замѣтилъ, что батюшка пристально и

вдумчиво вглядывается въ его черты, словно припоминая, гдѣ-то онъ его уже видѣлъ.

— Память на старость лѣтъ слабѣть стала!— промолвилъ старичокъ со вздохомъ и пригласилъ гостя за собой въ свою «убогую хатину».

«Хатина», дѣйствительно, могла быть названа «убогой». Единственнымъ ея украшеніемъ былъ кіотъ съ многочисленными, стариннаго письма, образами. Даже деревянная лавка, на которую усѣлись теперь оба, ничѣмъ не была покрыта. Отецъ Смарагдъ началъ съ вопроса гостю, изъ дальнихъ ли онъ мѣстъ.

— Изъ дальнихъ, батюшка,—отвѣчалъ Курбскій:—ѣду я изъ Сѣверской земли, а путь держу на Москву; сюда же завернулъ нарочно по одному важному для меня дѣлу...

— Такъ, такъ. Зима зѣло студёная, и снѣга великіе; не убоялся,—значитъ, дѣло важное. Смѣю спросить, какъ величать?

Курбскій назвался, потомъ назвалъ и покойнаго отца своего; но для захолустнаго пастыря Божьяго фамилія знаменитаго сподвижника Грознаго царя была пустымъ звукомъ.

— Курбскій... Курбскій... — повторилъ онъ, внимательно опять всматриваясь въ своего молодого собесѣдника.—Къ нашему князю на моей памяти изъ князей Курбскихъ никто, кажись, не жаловалъ. А все жъ таки твою милость я словно бы однажды видѣлъ.

— И не однажды, но въ иномъ обличьи— въ холопскомъ.

— Михайло Безродный! — узналъ его вдругъ отецъ Смарагдъ.—Да нѣтъ, статочное ли дѣло?..

— Вѣрно, батюшка, Михайло Безродный: въ ту пору иного имени давать себѣ я не смѣлъ и былъ тутъ, у Мосальскихъ, за простого холопа [1]). Самъ же вѣдь ты окрутилъ, повѣнчалъ меня, по приказу стараго князя, съ тою... съ Раисой.

Свѣтлый взоръ старичка затуманился, и сѣдая голова его скорбно склонилась.

— Не прогнѣвись, сынъ мой,—сказалъ онъ:— и мы, служители Царя Небеснаго, передъ земными барами своими—тѣ же рабы, безвольные исполнители барской воли. Воспротивься я тогда приказу стараго князя,—тебя бы я все равно не вызволилъ изъ бѣды, а самъ бы благопріятства княжескаго лишился. Предалъ я все руцѣ Божіей. И вотъ Божіимъ же изволеніемъ ты свободенъ нынѣ отъ тѣхъ насильственныхъ узъ.

— Какъ свободенъ?

— Да ужли же до тебя не дошло еще, что жены твоей Раисы (царство ей небесное!) второй годъ уже нѣтъ въ живыхъ?

Курбскій осѣнился крестомъ и глубоко перевелъ духъ, точно у него гора скатилась съ плечъ.

— Упокой, Господи, ея душу! — прошепталъ онъ.—Но отъ чего это съ нею приключилось?

Отцу Смарагду доставляло, видимо, большое

---

[1]) Болѣе подробно объ этомъ эпизодѣ въ жизни Курбскаго разсказано нами въ повѣсти «Три вѣнца» (гл. XXVII и XLIV).

утѣшеніе обстоятельно повѣдать молодому князю о послѣднихъ покаянныхъ минутахъ Раисы. Еще два года назадъ ее свалилъ «недугъ огненный» (горячка), и тѣмъ недугомъ до того ослабило «весь тѣлесный ея составъ», что ей не суждено было уже подняться. Таяла она «яко свѣча восковая», а передъ смертнымъ часомъ, «яко лебедь поетъ послѣднее пѣніе свое при издыханіи», покаялась отцу Смарагду на духу во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ и поручила ему, буде судьба сведетъ его разъ съ ея мужемъ Михайлой, испросить для нея полное прощеніе.

— Нѣсть бо человѣка безъ грѣха, токмо одинъ Богъ, — заключилъ свой разсказъ старикъ. — Грѣхъ сладокъ, а человѣкъ падокъ. Но возсіяваютъ лучи солнечные и на лукавыхъ и на благихъ; да не зайдетъ же солнце въ гнѣвѣ твоемъ безъ прощенія, сынъ мой.

Потрясенный до слезъ, Курбскій выразилъ желаніе посѣтить могилу покойной. Но батюшка объяснилъ ему, что и лѣтомъ-то, пожалуй, не сразу отыскать ея могилу: такой же на ней, какъ и на другихъ, простой, деревянный крестъ безъ всякой надписи; теперь же, въ зимнюю пору, подъ снѣгомъ и крестовъ-то, поди, не видать. Тогда Курбскій вручилъ старичку довольно крупную сумму на поминовеніе души «рабы Божіей Раисы» и готовъ былъ сейчасъ же пуститься въ обратный путь. Только наступавшія уже сумерки принудили его отложить свой отъѣздъ до другого утра.

Зато, на слѣдующій день, выѣхавъ съ проселка снова на большую калужскую дорогу, онъ мчался

впередъ на Москву день и ночь. Его наполняло давно неиспытанное чувство полной свободы, точно у него крылья опять отросли, и онъ можетъ летѣть, куда хочетъ. Да правда ли: между нимъ и Марусей не стоитъ уже эта вѣчная черная тѣнь? Ему почти не вѣрилось въ такое счастье. Но сама Маруся ничего еще не знаетъ; что̀, если она не выждетъ его пріѣзда и приметъ уже схиму? И его, безстрашнаго въ смертельномъ бою со врагами, отъ одной этой мысли кидало въ жаръ, охватывалъ безумный страхъ. Но какъ ни спѣшилъ онъ нагнать Биркиныхъ, при всякой перемѣнѣ лошадей на вопросъ его: давно ли проѣзжалъ тутъ толстякъ-купецъ съ молодой дѣвушкой, былъ одинъ отвѣтъ: что проѣхали они еще наканунѣ. Очевидно, и Маруся съ своей стороны торопила дядю, чтобы возможно скорѣе оборвать послѣднюю нить съ прошлымъ.

Наконецъ-то онъ и подъ Москвою. Но когда онъ подъѣхалъ къ заставѣ, пробило уже 10 часовъ, и его задержали. Дѣло въ томъ, что ровно въ 10 часовъ вечера съ городскихъ башенъ набатъ оповѣщалъ москвичей объ «указномъ» часѣ для отдохновенія отъ дневныхъ трудовъ, и всѣ большія улицы затворялись рѣшетками [1]). Такой же набатъ за часъ до разсвѣта будилъ жителей и растворялъ рѣшетки. Поневолѣ Курбскому пришлось заночевать опять на подворьѣ у заставы. Однако и на утро его не пропустили еще въ городъ: предъявленный имъ на заставѣ царскому приставу «пропускной

[1]) Впослѣдствіи рѣшетки были замѣнены рогатками.

листъ», выданный ему царевичемъ Димитріемъ, возбудилъ небезосновательныя подозрѣнія. Отобравъ сомнительный документъ и подвергнувъ владѣльца его обстоятельному допросу:—кто такой, за какимъ дѣломъ и у кого остановится въ Москвѣ,—приставъ отправился куда-то по начальству и заставилъ ждать себя довольно-таки долго. Возвратясь, наконецъ, въ сопровожденіи двухъ конныхъ стражниковъ, онъ хотя и пропустилъ Курбскаго въ городъ, но подъ конвоемъ этихъ стражниковъ.

Жилъ Иванъ Марковичъ Биркинъ довольно далеко отъ Калужской заставы,—на Успенскомъ Вражкѣ, и потому у Курбскаго было полное время удовлетворить свое любопытство относительно общаго вида Москвы, гдѣ онъ былъ теперь впервые.

Москва начала XVII вѣка, имѣвшая въ окружности уже до 45-ти верстъ, на лѣвомъ берегу Москвы-рѣки состояла изъ четырехъ частей: двухъ центральныхъ—Кремля и Китая, окружавшаго ихъ до рѣки полукольцомъ Бѣлаго города и обхватывавшаго сей послѣдній такимъ же кольцомъ Земляного города. Собственно городомъ считались Кремль, Китай и Бѣлый городъ, отдѣленные каждый отъ сосѣднихъ частей высокими каменными стѣнами. Земляной городъ (называвшійся также Деревяннымъ и Скородомомъ) былъ не болѣе, какъ пригородъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ свободъ. Точно также и все Замоскворѣчье (правый берегъ Москвы-рѣки) было занято большою слободою—Стрѣлецкою.

Курбскій, побывавшій уже въ столицѣ поль-

ской, Краковѣ, и наслышавшійся столько о русской «Бѣлокаменной», былъ нѣсколько разочарованъ. Наименованіе «Бѣлокаменной» было присвоено Москвѣ, надо думать, главнымъ образомъ, благодаря возведеннымъ изъ кирпича и камня высокимъ городскимъ стѣнамъ и башнямъ, многимъ каменнымъ же церквамъ и казеннымъ строеніямъ. Что же до обывательскихъ домовъ, то не только въ слободахъ, а и въ самомъ «городѣ» бо̀льшая часть ихъ состояла изъ обыкновенныхъ деревѣнскихъ избъ, тамъ и сямъ даже такъ-называемыхъ «курныхъ», крытыхъ тесомъ и дранью, по окраинамъ же города просто соломой. Стекляныхъ оконъ въ то время у москвичей, конечно, не было еще и въ поминѣ; въ рѣдкихъ окнахъ была вставлена даже слюда; въ большинствѣ же ее замѣнялъ бычачій пузырь или намазанный масломъ холстъ. Немногія каменныя «палаты» вельможъ и богачей съ разнообразными «службами», а также деревянные, въ два-три жилья, дома зажиточныхъ горожанъ укрывались въ глубинѣ обширныхъ дворовъ и садовъ за деревянными заборами и съ улицы почти не были видны.

«Деревня, совсѣмъ деревня!» бормоталъ про себя Курбскій, проѣзжая по закривленнымъ улицамъ и переулкамъ, то безъ нужды широкимъ, то чрезмѣрно узкимъ, съ бревенчатыми домишками и безконечными между ними заборами или огородами, лугами, прудами, пустырями.

Хотя, по мѣрѣ приближенія къ центру города, дома принимали все болѣе городской видъ, и все чаще и чаще (чуть не черезъ каждый пятый домъ)

попадались либо церкви съ золотыми маковками, либо часовни, но въ той же мѣрѣ возрастало нетерпѣніе и безпокойство Курбскаго; ему было уже не до того, чтобы любоваться чѣмъ бы то ни было.

Наконецъ-то вотъ и Успенскій Вражекъ. Одинъ изъ конвойныхъ обогналъ сани Курбскаго, поднимавшіяся шагомъ по пологому откосу, и остановилъ коня передъ высокими воротами.

— Домъ Биркиныхъ? — спросилъ, подъѣзжая, Курбскій.

— Точно такъ.

Ворота были крѣпкія, дубовыя, съ двускатной кровлей; подъ кровлей — старинная икона съ неугасимой лампадой. Курбскому сейчасъ вспомнилось, что жена старшаго Биркина, Платонида Кузьминишна, по словамъ Степана Марковича, была женщина куда благочестивая и богомольная.

«А что, какъ она уже пристроила Марусю въ какой-нибудь монастырь?..»

Отъ одной этой мысли сердце у Курбскаго сжалось. Не выжидая, пока отворятъ ворота, онъ вошелъ въ калитку. Главный фасадъ дома былъ обращенъ во дворъ, и на крыльцѣ тамъ стоялъ уже, въ ожиданіи гостя, малецъ, чтобы провести его въ домъ. Очевидно, его углядѣли еще ранѣе изъ оконъ выходившаго на улицу бокового флигеля.

— Всѣ ли въ добромъ здоровьи?—былъ первый вопросъ Курбскаго, когда онъ поднялся на крыльцо.

— «Самому» не такъ-то можется,—отвѣчалъ малецъ. — Объѣлся вечоръ осетрины...

— Значитъ, онъ дома?

— Дома, и «сама» тоже.

— А Степанъ Маркычъ?—продолжалъ допрашивать Курбскій, нарочно отдаляя вопросъ свой о Марусѣ.

— Степанъ Маркычъ съ утра еще отлучился за Марьей Гордѣевной.

— Какъ! А она гдѣ же?

— Богъ ее вѣдаетъ! Ночью еще скрылась, не сказавшись.

— За мной, Петрусь! — крикнулъ Курбскій своему казачку, только-что отпиравшему ворота.

На улицѣ, однако, конные стражники загородили ему дорогу.

— Назадъ, бояринъ! До новаго приказа не велѣно пускать тебя за ворота.

Курбскому ничего не оставалось, какъ возвратиться въ домъ.

Здѣсь изъ «свѣтлицы» (гостиной) выплыла къ нему навстрѣчу съ низкими поклонами «сама», женщина полная и рыхлая, въ нарядномъ шелковомъ повойникѣ, который, однако, въ спѣшкѣ, видно, насаженъ былъ набекрень.

— Просимъ,—указала она ему съ глубокимъ вздохомъ на лавку въ красномъ углу — подъ великолѣпной божницей, такъ и блиставшей золотыми окладами иконъ и подвѣшанными внизу пасхальными яичками, и сама первая же грузно

опустилась на эту лавку, устланную богатымъ персидскимъ ковромъ.—Горе наше, горе!

И новый вздохъ. Курбскій попросилъ ее разсказать, какъ все случилось.

— Какъ случилось? — повторила Платонида Кузьминишна, утирая себѣ платочкомъ заплывшіе жиромъ глаза. — Степанъ Маркычъ не даромъ, вишь, сказывалъ, что иноческая келья давнымъ-давно уже грезилась Машенькѣ и во снѣ и наяву, какъ нѣкая тихая пристань отъ бурь житейскихъ. Ну, а какъ засядетъ тебѣ этакая мысль гвоздемъ въ головѣ...

— А странницы твои, матушка, молоткомъ вбили ей еще этотъ гвоздь!—донесся тутъ изъ сосѣдней горницы въ полуотворенную дверь сиплый мужской голосъ. — Здорово, князь! Эки дѣла-то!

— Здравствуй, Иванъ Маркычъ, — отозвался Курбскій, догадавшійся, что это «самъ». — Про какихъ такихъ странницъ говоришь ты?

— Да благовѣрная моя, изволишь видѣть, не по разуму жалостлива, принимаетъ въ домъ всякихъ побирушекъ и убогихъ...

— Анъ и неправда! — запротестовала «благовѣрная». — Этихъ-то несчастненькихъ я только милостыней одѣляю...

— И одѣваешь, обуваешь.

— Да коли кто голъ, какъ соколъ? Не самъ ли Спаситель нашъ велѣлъ отдавать ближнему послѣднюю рубаху! А богомольцевъ, странствующихъ людей Божьихъ, какъ у себя не пріютить?

— Ну, вотъ и пріютила этихъ двухъ бродяжекъ, которыхъ николи допрежь и въ глаза не видала!

— Да вѣдь увѣряли жъ меня, что идутъ прямехонько изъ святыхъ мѣстъ, отъ гроба Господня.

— Вѣрь больше! И оставила, вишь, цѣлый вечеръ ихъ однѣхъ съ Машенькой!

— До нихъ ли мнѣ было, Иванъ Маркычъ, самъ посуди? Вѣдь надо жъ мнѣ было все пріуготовить въ домѣ для дорогого гостя. Кому въ голову впадетъ, что онѣ, безсовѣстныя, тѣмъ часомъ уговорятся съ Машенькой!

— Такъ она ушла вмѣстѣ съ ними? - спросилъ Курбскій.

— Вмѣстѣ, батюшка, вмѣстѣ, тихомолочкомъ, такъ что мы и ахнуть не успѣли. Толкнулась нонече поутру горничная дѣвушка сперва къ Машенькѣ, потомъ къ странницамъ: что-й-то долго не встаютъ? Анъ пташка наша съ тѣми воронами залетными вмѣстѣ вылетѣла!

— Но куда? Не оставила ли она хоть записочки прощальной?

— Какъ же, какъ же, оставила: на столѣ у нея нашли. У тебя она вѣдь, Иванъ Маркычъ?

— У меня; а то у кого же?

— Такъ дай-ка сюда,— показать.

— На.

Въ дверь просунулась мясистая рука съ запиской. Когда Курбскій принялъ послѣднюю, то увидѣлъ на одинъ мигъ и самого владѣльца руки. Ростомъ Иванъ Марковичъ былъ, пожалуй, по-

ниже своего меньшого брата, зато туловищемъ вдвое его толще, при чемъ тучность его поражала тѣмъ болѣе, что онъ былъ въ затрапезномъ кафтанѣ нараспашку. Курбскому было, однако, не до толстяка. Онъ читалъ и перечитывалъ записку его племянницы.

«Не кляните меня, мои дорогіе!» писала бѣдная дѣвушка. — «Мнѣ одинъ конецъ—уйти отъ міра. Буду молиться обо всѣхъ васъ, а гдѣ—и не ищите. Князю Михайлѣ Андреевичу скажите, чтобы забылъ меня, горемычную; авось еще найдетъ свое счастье. Спасибо вамъ, родные мои, за все, за все»...

— Ну, что́, батюшка? — спросила Платонида Кузьминишна. — Ничего тоже не вычиталъ?

— Нѣтъ... Пишетъ только, что ей «одинъ конецъ—уйти отъ міра». А куда уйти человѣку отъ міра, какъ не въ монастырскую обитель?

— Вотъ и я тоже говорю. Ума только не приложу, какъ это онѣ выбрались отсюда ночью промежъ уличныхъ рѣшетокъ?

— Экая мудрость!—подалъ опять голосъ изъза двери Иванъ Марковичъ.—Въ Кремлѣ да въ Китаѣ, на глазахъ царя, рѣшетки, знамо, чинятся и замки въ порядкѣ. А къ намъ, въ Бѣлый городъ, кто изъ царедворцевъ заглянетъ?

— Но меня вечоръ отъ заставы и сюда не пропустили,—замѣтилъ Курбскій.

— Еще бы: положеніе строгое—держать всѣ улицы на запорѣ. А толкни-ка этакую рѣшетку у насъ хорошенько—сама собой отопрется, али совсѣмъ повалится.

— Но вѣдь кто-нибудь же долженъ быть за то въ отвѣтѣ? Вѣдь отпускаются же на то и деньги изъ казны?

— Э, батенька! казна не плачетъ, а карманы у подъячихъ нашихъ—прорва бездонная...

— Да, грѣхи, грѣхи!—заныла опять Платонида Кузьминишна.—А я-то какъ ужъ радовалась нашей богоданной дочкѣ,—и сказать не могу! Будетъ она мнѣ, думаю, писанія святыхъ отцовъ читать, будемъ вмѣстѣ и къ заутренѣ ходить и къ вечернѣ...

На этомъ іереміада ея была прервана Степаномъ Марковичемъ, вошедшимъ къ нимъ изъ прихожей, еще въ шубѣ и мѣховой шапкѣ.

— А, князь Михайло Андреичъ!—привѣтствовалъ онъ Курбскаго и, тяжело отдуваясь, опустился на ближайшую скамью.—Жаль мнѣ тебя, сердечный, жаль!.. Во всѣхъ нашихъ женскихъ обителяхъ перебывалъ, самихъ настоятельницъ выспрашивалъ...

— И ни къ чему?

— Вездѣ одинъ отвѣтъ, словно сговорились: «кабы и была къ намъ принята, такъ не выдали бъ: отрѣшилась, стало, на вѣки отъ міра и родныхъ».

У Курбскаго, питавшаго еще слабую надежду на поиски Степана Марковича, и руки опустились.

— Если бъ она только знала...—пробормоталъ онъ въ полномъ отчаяніи.—Но она еще не успѣла принять схиму... Если меня завтра же не выпустятъ изъ дому, я вырвусь отсюда насильно и розыщу ее во что бы то ни стало!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Передъ царемъ Борисомъ Годуновымъ.

Подъ гостепріимнымъ кровомъ Биркиныхъ, на мягкихъ пуховикахъ, взбитыхъ при личномъ участіи заботливой хозяйки, спалось Курбскому куда покойнѣе и слаще, чѣмъ на постоялыхъ дворахъ или просто въ саняхъ; а потому, несмотря на свою сердечную кручину, онъ съ дальной дороги заспался до поздняго утра. Когда онъ кончалъ уже одѣваться, къ нему постучались въ дверь.

— Кто тамъ?—спросилъ Курбскій.

— Скоро ли ты выйдешь, князь?—послышался въ отвѣтъ голосъ Ивана Марковича.

— А что?

— Къ тебѣ бояринъ отъ самого царя.

— Такъ я и ждалъ! Сейчасъ, скажи, выйду.

— Да ты съ нимъ не больно-то того... Вѣдь знаешь ли, кто этотъ бояринъ?

— Кто?

— Самъ князь Шуйскій Василій Ивановичъ!

«М-да! съ этимъ держи ухо востро. Онъ и у Грознаго царя, слышь, былъ въ большой милости, у царя Ѳедора же хоть и попалъ въ опалу, да у Годунова опять укрѣпился. Онъ же, вѣдь, дѣлалъ на мѣстѣ въ Угличѣ розыскъ объ убіеніи царевича Димитрія; ему, значитъ, ближе, чѣмъ кому-либо другому, вѣдомо, что убійцы второпяхъ, замѣсто царевича, закололи одного изъ его жильцовъ (пажей); но разъ Димитрій скрылся, надо было замести и слѣдъ, — и хитрецъ его замелъ. Посмотримъ, каковъ-то онъ, какъ себя теперь поведетъ?»

Въ воображеніи Курбскаго рисовался высокій старикъ съ колючими глазами, но съ вкрадчивой улыбкой. И что же? Навстрѣчу ему поднялся съ лавки приземистый, полный мужчина среднихъ еще лѣтъ; суроваго вида и куда невзрачный. Только богатая «турская» шуба и высокая «горлатная» шапка (изъ мѣха горла пушныхъ звѣрей), которыхъ тотъ такъ и не снялъ, свидѣтельствовали о его знатномъ происхожденіи, а въ его подслѣповатыхъ, съ кровяными жилками, глазахъ лишь изрѣдка, какъ бы невзначай, вспыхивалъ скрытый огонекъ, выдававшій сильный умъ, сильную энергію.

Чуть-чуть кивнувъ головой въ отвѣтъ на вѣжливый поклонъ Курбскаго, Шуйскій прямо заявилъ, что присланъ онъ отъ всемилостивѣйшаго своего государя, чтобы принять грамату того

человѣка, что̀ облыжно именуетъ себя царевичемъ Димитріемъ.

Курбскому стоило не малаго самообладанія, чтобы отвѣтить съ должною сдержанностью:

— Не взыщи, бояринъ, но такова воля царевича Димитрія Ивановича, чтобы грамату его я передалъ изъ рукъ въ руки самому царю Борису Ѳедоровичу.

— То воля твоего царевича, но воля моего царя иная, а у насъ на Москвѣ никакой иной воли, помимо царской, не положено.

— Для подданныхъ царя Бориса, точно; но для полномочныхъ пословъ еще выше воля ихъ монарховъ.

— Хотя бы таковой монархъ и былъ изъ бѣглыхъ монаховъ?

Но едва лишь Шуйскій произнесъ это, какъ весь съежился и помертвѣлъ, потому что стоявшій передъ нимъ молодой исполинъ, превышавшій его двумя головами, прикрикнулъ на него громовымъ голосомъ:

— Ой, берегись, бояринъ! Сдержи свой дерзкій языкъ! Коли не ты, такъ царь твой Борисъ хорошо знаетъ, что мой царевичъ—не бѣглый монахъ, а истинный сынъ царя Ивана Васильевича, спасенный Всеблагимъ Промысломъ отъ наемныхъ убійцъ. Это столь же вѣрно, какъ и то, что я—князь Курбскій, сынъ перваго сподвижника его родителя. И горе тебѣ, бояринъ, когда царевичъ мой возсядетъ на прародительскій престолъ! А раньше ли, позже ли это, вѣрь мнѣ, совершится, и

самъ ты тогда, какъ червь, приползешь къ его стопамъ...

Опытный царедворецъ успѣлъ уже оправиться и, не возвышая голоса, отвѣчалъ холодно и съ достоинствомъ:

— Что ты сынъ Андрея Михайловича Курбскаго—я охотно тебѣ вѣрю. Нѣкогда я не токмо зналъ его, но и дружилъ съ нимъ, пока онъ не пошелъ своей дорогой, и въ память этой-то дружбы, а также ради твоей юности, — прости тебя Богъ. Твоихъ горячихъ словъ я словно бы и не слышалъ. Такъ что же, грамоты къ царю Борису Ѳедоровичу ты мнѣ такъ и не отдашь?

— Не могу отдать, бояринъ, прости, хоть бы и радъ былъ.

— Твое дѣло. А допуститъ ли еще государь тебя до своихъ очей—зѣло сумнительно. И придется тебѣ, чего добраго, отъѣхать вспять ни съ чѣмъ.

— Не допуститъ до себя, такъ на свою же голову!—воскликнулъ Курбскій.

— Тише, тише, князь! Ты все, поди, забываешь, что мы здѣсь не въ Краковѣ у ляховъ, а въ первопрестольномъ градѣ русскаго царя. Доложу я государю о твоемъ отказѣ; что̀ онъ порѣшитъ —о томъ тебя въ свое время оповѣстятъ. А дотолѣ не изволь-ка выходить за порогъ дома.

— Но мнѣ по собственному дѣлу неотложно нужно!..

— Мало ли что̀ кому нужно! Да коли таковъ приказъ царскій? Его же не перейти.

Старшій Биркинъ, въ качествѣ хозяина, выжи-

далъ выхода именитаго посѣтителя въ прихожей и съ униженными поклонами проводилъ его до воз-ка, а проводивъ, влетѣлъ въ свѣтлицу къ Курбскому.

— Помилуй, князь, что ты съ нами дѣлаешь? Мы тебя пріютили, пригрѣли, а ты этакому-то вельможѣ у насъ же въ домѣ согрубилъ! Изъ-за двери мы съ братомъ все вѣдь слышали.

— Да, милый князь, не ждали мы отъ тебя, не ждали!—поддержалъ вошедшій вслѣдъ за братомъ Степанъ Марковичъ.—Теперича насъ, того и гляди, спровадятъ изъ Москвы куда Макаръ телятъ не гонялъ.

— А добро наше въ казну отберутъ,—подхватилъ опять Иванъ Марковичъ, и напустился вдругъ на младшаго брата:—А все ты, братъ Степанъ, все ты: «породнимся, молъ, съ родовитымъ княземъ,—самихъ насъ за собой въ дворянство вытянетъ». Вотъ тебѣ и породнились! вотъ тебѣ и дворянство!

Разгоряченнаго крупнымъ разговоромъ съ царскимъ посланцемъ Курбскаго какъ холодной водой окатило. Оба дяди Маруси, очевидно, оказывали ему до сихъ поръ такое расположеніе не столько даже изъ-за своей племянницы, сколько изъ-за своихъ личныхъ, честолюбивыхъ разсчетовъ. Но, ради Маруси, онъ готовъ былъ все это забыть.

— Мнѣ самому крайне прискорбно, что черезъ меня тебѣ, Иванъ Маркычъ, столько безпокойства,—сказалъ онъ.—Но не тревожь себя попусту. И тебя и Степана Маркыча я во всемъ обѣлю. Шуйскій—человѣкъ большого ума и долженъ понять, что

съ царевичемъ моимъ не шутки шутить. Не нынче, такъ завтра, помяни мое слово, онъ опять пожалуетъ звать меня прямо во дворецъ.

Говорилъ это Курбскій такъ увѣренно, что оба Биркина снова пріободрились. Когда онъ тутъ еще заявилъ, что, какъ только ему будетъ дозволено вытти за ворота, онъ первымъ дѣломъ поищетъ себѣ другого пристанища, — радушнаго вообще хозяина какъ-будто и совѣсть зазрѣла.

— Ну, что жъ, поживешь у насъ еще день-другой — не бѣда, — сказалъ онъ. — Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ.

— Да и бѣды, дастъ Богъ, никакой не будетъ, — подхватилъ младшій братъ. — А примутъ тебя во дворцѣ какъ заправскаго посла, такъ наша взяла.

— И самому тебѣ, послу, будетъ тогда посольскій почетъ, — добавилъ Иванъ Марковичъ. — Помнишь ли еще, братъ Степанъ, какъ при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ прибыло къ намъ въ Москву посольство изъ нѣмечины?

И оба брата принялись съ одушевленіемъ, наперерывъ, вспоминать о въѣздѣ нѣмецкаго посольства: навстрѣчу посламъ выѣхали-де за городъ два пристава со стрѣльцами и за 20 шаговъ вышли изъ саней и сняли шапки; то же самое сдѣлали оба посла и выслушали, съ непокрытой на морозѣ головой, привѣтствія сперва одного пристава, потомъ другого и, наконецъ, царскаго конюшаго. Этотъ предложилъ посламъ двухъ безподобныхъ бѣлыхъ коней съ богатѣйшей сбруей, а чинамъ посольства 12 другихъ коней; послѣ чего всѣ двинулись въ

городъ чиннымъ порядкомъ: впереди 24 конныхъ стрѣльца, за ними посольскіе чины, по три въ рядъ, за этими трубачи съ серебряными трубами, а за трубачами оба посла и по обѣ руки ихъ—пристава. Отъ самыхъ городскихъ воротъ до посольскаго дома по всѣмъ улицамъ были выстроены два ряда стрѣльцовъ. А народу-то, ротозѣевъ, видимо-невидимо... Вотъ почетъ, такъ почетъ!

Хотя розовыя надежды братьевъ Биркиныхъ и не оправдались, но ожиданіе не совсѣмъ-таки обмануло Курбскаго. На слѣдующее утро за нимъ были присланы придворныя сани; упряжные кони были рослые, въ богатой сбруѣ, полость была пышная, медвѣжья, а впереди бѣжали два скорохода; но тѣмъ и ограничился весь почетъ. Звать Курбскаго во дворецъ прибылъ теперь уже не бояринъ, а молоденькій боярскій сынъ, Андрей Васильевичъ Бутурлинъ. Выказывая такое пренебреженіе къ посланцу названнаго царевича Димитрія, Годуновъ не принялъ одного въ разсчетъ—молодости Бутурлина. Юноша невольно поддался обаянію свѣтлой личности Курбскаго. Когда кони понесли ихъ по направленію къ Кремлю, Бутурлинъ, чтобы изгладить передъ пріѣзжимъ первое невыгодное впечатлѣніе отъ Москвы, принялся съ особеннымъ усердіемъ выхваливать ему всѣ достопримѣчательности Бѣлокаменной. И вдругъ, совершенно неожиданно, спросилъ его, понижая голосъ, чтобы кучеръ не разслышалъ:

— А что, князь, прости за спросъ, ты никогда еще не видалъ нашего царя?

— Нѣтъ, не довелось, — отвѣчалъ Курбскій,— но много объ немъ наслышанъ.

— Что же ты слышалъ?

— Слышалъ, что мужъ онъ многомудрый, радѣетъ о державѣ своей, о народѣ.

— Вотъ, вотъ! —радостно подхватилъ Бутурлинъ. —Сколько дивнаго творилъ онъ для прославленія Руси, сколько добра для народа!

— А все не въ прокъ,—возразилъ Курбскій:— народъ все-таки ропщетъ, клянетъ Годунова...

— Потому что межъ бояръ есть у него недруги-завистники, что мутятъ народъ.

— А чѣмъ онъ нажилъ себѣ этихъ недруговъ? Тѣмъ, что ко властолюбію ненасытенъ, сердцемъ черствъ, безжалостенъ...

— О, нѣтъ! для добрыхъ онъ и доселѣ добръ; а ужъ въ дѣтяхъ своихъ: царевичѣ Ѳедорѣ да царевнѣ Ксеніи, просто души не чаетъ; самъ обучаетъ ихъ, особливо царевича, всякой книжной премудрости, чтобы было на кого оставить престолъ свой.

— Ну, этому никогда не бывать!—прервалъ Курбскій.—Этого Господь не попуститъ!

Бутурлинъ испуганно взглянулъ на него со стороны; но, встрѣтивъ его открытый, честный взглядъ, замѣтилъ:

— Ты, князь, я вижу, крѣпко любишь того, отъ кого присланъ; а я еще крѣпче, можетъ, люблю царя Бориса. О, кабы и тебѣ его такъ полюбить, утвердиться при немъ!

— Объ этомъ, Андрей Васильичъ, и разговору быть не можетъ; ты поймешь, разумѣется...

— Понимаю, князь, отлично понимаю, а все-таки такъ, право, жаль... И боюсь я за тебя!

— А что?

— Да слишкомъ ты ужъ прямодушенъ, всякому въ лицо правду рѣжешь. Какъ разъ накличешь еще на себя немилость царскую. Козни боярскія, нечего таить, ожесточили царя; чаетъ онъ измѣну вездѣ, даже тамъ, гдѣ ея нѣтъ. Остерегись же, Бога ради, въ рѣчахъ своихъ, не перечь ему!

— Хорошо, хорошо, остерегусь, — улыбнулся въ отвѣтъ Курбскій, котораго не могло не тронуть такое теплое участіе къ нему юноши, видѣвшаго его первый разъ въ жизни.

И вотъ они во дворцѣ, и рядомъ палатъ проходятъ въ престольную палату. Несмотря на свою возбужденность при входѣ въ эту палату, Курбскій вскользь не могъ не замѣтить ея богатаго убранства: стѣны были затѣйливо расписаны, а полъ устланъ дорогими коврами. Въ глубинѣ палаты, подъ образомъ Богоматери, сдѣланнымъ мозаикой изъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, на возвышеніи въ нѣсколько ступеней, обитомъ алымъ бархатомъ, возсѣдалъ на тронѣ, въ порфирѣ и мономаховомъ вѣнцѣ, со скипетромъ въ рукѣ, самъ царь Борисъ. Около трона, слѣва, виднѣлись, на серебряномъ, рѣшетчатомъ столикѣ,—держава съ крестомъ, а на столикѣ поменьше—золотая умывальница съ расшитымъ полотенцемъ. По сторонамъ трона стояли четыре (по два съ каждой стороны) молодыхъ

рындъ (тѣлохранителей) въ бѣлыхъ бархатныхъ кафтанахъ съ горностаевой опушкой, въ высокихъ рысьихъ шапкахъ, съ нагрудными золотыми цѣпями и съ серебряными сѣкирами на плечѣ. Хотя Годунову, какъ зналъ Курбскій, было уже 53 года, но на видъ онъ былъ еще очень бодръ, сановитъ и красивъ, а торжественная обстановка придавала ему еще бо́льшую величавость и мужественную красоту.

Рядомъ съ царемъ сидѣлъ такой же красивый, бѣлолицый и черноглазый, полнаго сложенія отрокъ въ парчевой одеждѣ съ непокрытой головой: по семейному сходству съ Борисомъ, въ немъ нельзя было не признать его сына, царевича Ѳедора [1]); по стѣнамъ же кругомъ, также на уступахъ, но пониже, сидѣли на скамьяхъ бояре и окольничіе въ роскошной одеждѣ изъ золотой и персидской ткани.

При появленіи Курбскаго, взоры всѣхъ присутствующихъ разомъ обратились на входящаго. Одинъ царь только, казалось, не примѣтилъ его и протя-

---

[1]) Современникъ (Кубасовъ) такъ описываетъ молодого царевича: «Царевичъ Ѳеодоръ, царя Бориса отроча зѣло чудно, благолѣпіемъ цвѣтущи, яко цвѣтъ дивный на селѣ отъ Бога преукрашенъ, и яко кринъ въ полѣ цвѣтущь; очи имѣя велики черны, лице же ему бѣло, млечною бѣлостію блистаяся, возрастомъ средній, тѣломъ изобиленъ; наученъ же бѣ отъ отца своего книжному почитанію, во отвѣтѣхъ дивенъ и сладкорѣчивъ вельми, пустошное же и гнилое слово никогда же изъ устъ его исходаше, о вѣрѣ и поученіи книжномъ со усердіемъ прилежаше».

нулъ руку къ сыну, чтобы взять у него изъ рукъ какой-то большой листъ. Водя по листу перстомъ, Годуновъ началъ задавать царевичу вопросы. По долетавшимъ до Курбскаго отдѣльнымъ названіямъ: «Мурманское море», «Великій Новгородъ», «Литва», онъ догадался, что то была географическая карта.

— И все это, сынъ мой, ты самъ начерталъ?— явственно донесся теперь голосъ царя.

— Самъ, царь-батюшка,—прозвенѣлъ отвѣтъ царственнаго отрока.

— Теперь я, стало-быть, могу умереть спокойно; у меня есть преемникъ, знающій свой край [1]).

«Онъ хочетъ принизить во мнѣ моего царевича передъ всѣми царедворцами!» ударило въ голову Курбскаго, и, забывъ уже о придворныхъ обрядностяхъ, которыми обставленъ всякій подобный пріемъ, онъ безъ приглашенія сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Такая безтактная смѣлость видимо озадачила самого Годунова. Онъ окинулъ смѣльчака хмурымъ, огненнымъ взглядомъ. Этотъ его орлиный взглядъ и поистинѣ царственная осанка, вмѣстѣ со всѣмъ окружающимъ величіемъ царскаго сана, смутили Курбскаго. Отвѣсивъ поклонъ, онъ съ ненужною торопливостью, захватывавшею духъ,

[1]) Карта Россіи съ планомъ Москвы, сдѣланная рукою царевича Ѳедора Борисовича Годунова, сохранилась до нашего времени. Точный снимокъ съ нея приложенъ къ изданію Н. Устрялова: «Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ».

произнесъ обычную формулу привѣтствія отъ имени своего царевича; послѣ чего, подойдя къ самому трону, съ новымъ поклономъ хотѣлъ вручить Годунову грамату царевича—большой пергаментный свитокъ, завязанный шелковымъ шнуромъ и припечатанный сургучною печатью. Никто раньше не догадался предупредить его, что самому царю на Руси изъ рукъ въ руки даже признанные иноземные послы ничего передавать не въ правѣ, а потому Курбскій счелъ опять знакомъ пренебреженія со стороны царя, что тотъ обратился къ сидѣвшему съ краю старшему боярину:

— Прими-ка, князь Василій Ивановичъ, и прочитай намъ.

То былъ вчерашній посѣтитель Курбскаго, князь Василій Ивановичъ Шуйскій. Принявъ свитокъ, Шуйскій не спѣша снялъ печать, развязалъ шнуръ, развернулъ свитокъ и сталъ затѣмъ читать его, читать громко, внятно и безстрастно. Но вотъ и его голосъ, вполнѣ, казалось, ему послушный, замѣтно дрогнулъ. Да и было отъ чего! Его устами, великому государю его, Борису Ѳедоровичу, въ присутствіи всей боярской думы, вовсеуслышанье говорились такія продерзостныя рѣчи:

«...Жаль намъ, что ты душу свою, по образу Божію сотворенную, такъ осквернилъ, и въ упорствѣ своемъ гибель ей готовишь; развѣ не знаешь, что ты смертный человѣкъ? Надобно было тебѣ, Борисъ, удовольствоваться тѣмъ, что̀ Господь Богъ далъ; но ты, въ противность волѣ Божіей, будучи

нашимъ подданнымъ, укралъ у насъ государство съ дьявольскою помощью»...

Далѣе перечислялись преслѣдованія, которымъ со стороны Годунова подверглись всѣ приверженцы прежняго царскаго рода, а потомъ описывалось, какъ онъ «началъ острить ножъ» и на младенца—царевича Димитрія, и какъ тотъ былъ спасенъ «по старанію» приставленнаго къ нему врача Симеона.

Заканчивалось посланіе новымъ увѣщеваніемъ: «Опомнись и злостью своей не побуждай насъ къ большему гнѣву. Отдай намъ наше, и мы тебѣ, для Бога, отпустимъ всѣ твои вины и мѣсто тебѣ спокойное назначимъ. Лучше тебѣ на этомъ свѣтѣ что-нибудь претерпѣть, чѣмъ въ аду вѣчно горѣть за столько душъ, тобою погубленныхъ [1])».

По мѣрѣ чтенія Шуйскимъ этой жестокой отповѣди, облако на челѣ Годунова все болѣе сгущалось, а взоры его, прикованные къ губамъ чтеца, метали молніи. Но всякій разъ, когда Шуйскій запинался и вопросительно взглядывалъ на него, царь кивалъ головой, чтобы онъ продолжалъ.

«Хочетъ ли онъ до дна испить горькую чашу», говорилъ себѣ, наблюдая за нимъ, Курбскій, «или же, въ безграничной гордынѣ своей, хочетъ показать и мнѣ и своимъ боярамъ, что онъ неколебимъ, какъ утесъ среди всякихъ бурь?»

— Все? — спросилъ Годуновъ, когда чтецъ умолкъ. — Подай сюда.

И, взявъ у него грамату, онъ изорвалъ ее вдоль

[1]) Подлинный текстъ граматы Самозванца къ Годунову.

и поперекъ, обрывки же смялъ въ комокъ и комкомъ бросилъ къ ногамъ Курбскаго.

— Вотъ мой отвѣтъ!

Вступая, передъ тѣмъ, въ престольную палату, Курбскій повторилъ про себя благоразумное предостереженіе Бутурлина—не раздражать царя, не перечить. Но теперь, когда грамата царевича Димитрія не только не возымѣла никакого успѣха, но передъ всей боярской думой подверглась такому поруганію, кровь хлынула ему въ голову, и онъ внѣ себя крикнулъ:

— Государь! это тебѣ такъ не пройдетъ...

Онъ прибавилъ бы, пожалуй, еще много неподобающаго, не укажи на него Годуновъ своимъ тѣлохранителямъ:

— Убрать его!

Тѣ кинулись исполнить царскую волю. Курбскій уже опомнился и безъ сопротивленія отдался въ ихъ власть. Но тутъ, ко всеобщему изумленію, заговорилъ царевичъ Ѳедоръ, этотъ безгласный въ присутствіи родителя, 16-ти-лѣтній отрокъ.

— Царь-батюшка! коли онъ забылся, такъ отъ тяжкой обиды за того, кѣмъ присланъ...

И, наклонясь еще ближе къ отцу, царевичъ сталъ ему что-то нашептывать, умоляюще сложивъ руки. Борьба оскорбленнаго величія и нѣжнаго родительскаго чувства продолжалась недолго: послѣднее взяло верхъ.

— Оставьте его!—приказалъ Борисъ рындамъ, а затѣмъ отнесся къ Курбскому: — На сей разъ, князь, такъ и быть, тебѣ это не зачтется. Правду

молвилъ царевичъ, что твоими устами говорилъ не ты самъ, а прославшій тебя. Его же вина, что прислалъ онъ ко мнѣ не зрѣлаго мужа, а молодчика, у коего, что̀ на душѣ, то и на языкѣ. Иди съ миромъ, и да послужитъ тебѣ это впредь наукой.

Сознавая самъ, что въ своей обидѣ за царевича онъ хватилъ черезъ край, Курбскій, какъ провинившійся мальчикъ, потупилъ глаза въ полъ.

— А отвѣтной граматы не будетъ?—спросилъ онъ.

Годуновъ переглянулся опять со своимъ сыномъ и наслѣдникомъ и, вмѣсто прямого отказа, отозвался неопредѣленно:

— Первымъ дѣломъ отдохни отъ пути. Вѣдь въ Москвѣ у насъ ты впервой?

— Впервой, государь.

— И на Иванѣ Великомъ нашемъ еще не побывалъ?

— Нѣтъ.

— Такъ вотъ поднимись-ка туда: увидишь, какова наша Первопрестольная.

Пріемъ, очевидно, былъ конченъ. Курбскій откланялся уставнымъ поклономъ и, не чуя ногъ подъ собой, выбрался вонъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Медвѣжья яма.

Ну, князь Михайло Андреичъ, милостивъ же твой Богъ!—тихонько замѣтилъ Курбскому молодой Бутурлинъ, когда они спускались съ Краснаго крыльца.— Не вступись царевичъ, по тебѣ бы хоть панихиду служи. А что, и впрямь, не подняться ли намъ сейчасъ на Ивана Великаго?

— А туда не далеко?—спросилъ Курбскій.

— Да вонъ же онъ передъ нами. Благо, мы разъ въ Кремлѣ...

Не прошло десяти минутъ, какъ оба были уже на исполинской колокольнѣ подъ самыми колоколами. На всѣ четыре стороны открывался обширнѣйшій кругозоръ. У Курбскаго просто глаза разбѣжались. Да! отсюда, съ высоты птичьяго полета, Москва представлялась совсѣмъ иною, чѣмъ внизу, промежъ домовъ да заборовъ. Все, что̀ пряталось тамъ за заборами, что̀ заслонялось до-

мами, раскинулось здѣсь воочію, какъ на ладони. Безчисленнымъ крышамъ и церковнымъ куполамъ, среди опушенныхъ инеемъ густыхъ садовъ, конца-края не видать; только зубчатыя каменныя стѣны съ башнями отдѣляютъ разныя части города одну отъ другой, да Москва-рѣка широкой лентой извивается, охватывая полукругомъ Стрѣлецкую слободу.

Долго любовался Курбскій молча, пока не выразилъ своего чувства въ одномъ словѣ:

— Красота!

— Не правда ли?—оживленно подхватилъ его юный спутникъ.—Не даромъ государю любъ этотъ Ивановъ столпъ: вѣдь по его же, государеву, велѣнію выстроена эта громада въ голодные годы, чтобы бѣдному люду была работа. Да теперь-то что! Зима—все въ снѣгу. А вотъ посмотрѣлъ бы ты лѣтомъ, когда всѣ сады зелены, крыши красны, а золотые кресты да главы церковныя на солнцѣ какъ жаръ горятъ!

— Церквей и то вѣдь—считай—не сосчитаешь, —замѣтилъ Курбскій:—есть гдѣ помолиться православнымъ!

— Да вѣдь про Москву нашу такъ и слава идетъ, что церквей у насъ сорокъ сороковъ. Будетъ ли столько—кто ихъ считалъ? А близко, надо быть [1]). Вотъ хоть бы тутъ въ Кремлѣ...

[1]) По словамъ одного изъ бытописателей того времени (Олеарія), въ Москвѣ насчитывалось тогда до 2000 церквей, по словамъ же другого (Бера)—даже до 3000. Въ то число по всему вѣроятію, входили и часовни.

И Бутурлинъ, войдя въ свою роль проводника, началъ перечислять кремлевскіе монастыри и соборы, съ надлежащими комментаріями, какъ напримѣръ, что въ Вознесенскомъ монастырѣ погребаются царицы; а затѣмъ, кстати, указалъ и разныя другія зданія: дворы боярскіе (трехъ Годуновыхъ: Симона, Димитрія и Григорія, Мстиславскаго, Бѣльскаго, Шереметева, Сицкаго, Клешнина), старый дворъ самого царя Бориса (того времени, когда онъ былъ еще правителемъ при царѣ Ѳедорѣ), дворы: патріаршій, оружейный и казенный (казнохранилище царево), посольскій приказъ, судебные приказы...

Между тѣмъ на вышкѣ Ивана Великаго, открытой всѣмъ вѣтрамъ, нашихъ двухъ молодыхъ собесѣдниковъ зимнею стужей порядкомъ-таки прохватило. У Курбскаго, давно закаленнаго противъ всякой непогоды, отъ морозной сиверки теперь только лицо разгорѣлось; словоохотливый же спутникъ его успѣлъ уже охрипнуть и въ заключеніе раскашлялся.

— Изъ-за меня ты, Андрей Васильичъ, чего добраго, еще простуду себѣ наживешь,—сказалъ Курбскій.—Довольно мы тутъ наглядѣлись.

— Одного я тебѣ только не показалъ,—отвѣчалъ Бутурлинъ.—Вонъ, видишь ли, на Москвѣ-рѣкѣ снѣжная горка, гдѣ народъ толпится?

— Вижу.

— Такъ тамъ у насъ медвѣжья яма. На послѣдней охотѣ у Шереметева захватили, вишь, живьемъ медвѣдицу съ медвѣжатами. Шереметевъ

прислалъ ихъ во дворецъ для царскаго стола; а государь, чтобы народъ позабавить, велѣлъ соорудить для нихъ на льду логово, да кругомъ его, въ родѣ какъ бы горки, завалить снѣгомъ. Ну, народъ туда такъ валомъ и валитъ.

— Да вѣдь зимой медвѣди больше спятъ,— не добудишься.

— Медвѣдица и то носу не кажетъ; въ медвѣжатахъ же ея кровь молодая играетъ; а народъ имъ еще покою не даетъ: и дразнитъ-то и бросаетъ разное съѣстное. Знаешь что, князь: заѣдемъка сейчасъ туда? Посмотришь тоже: потѣха!

Курбскій уже не возражалъ, и, спустившись съ колокольни, они велѣли кучеру везти ихъ на Москву-рѣку къ медвѣжьей ямѣ. Здѣсь, на вершинѣ невысокаго снѣжнаго холма, вокругъ ямы, скучились живой стѣной любопытные обоего пола. Но то были одни простолюдины, которые, при видѣ нашихъ двухъ боярскихъ сыновей, тотчасъ почтительно разступились. Такъ оба, безъ всякаго затрудненія, подошли къ самому краю ямы, огороженной деревянными перилами. Тутъ Курбскій къ удивленію своему увидѣлъ въ числѣ зрителей и своего казачка, Петруся Коваля.

— Ты какъ сюда попалъ?

Петрусь раньше у него не отпросился и потому слегка смѣшался.

— Ужъ очень много Биркинскіе люди наболтали мнѣ про этихъ медвѣжатъ,—поспѣшилъ онъ оправдаться,—а я не чаялъ, что ты такъ скоро возвра-

тишься изъ дворца... Не погнѣвись, княже! Сейчасъ лечу домой...

— Ладно,—сказалъ Курбскій.—Разъ ты уже здѣсь, такъ оставайся.

Притихшая было кругомъ толпа, видя такое благодушіе молодого князя, пришла опять въ движеніе и принялась кидать въ яму кусочки хлѣба. На днѣ ямы копошилось четверо медвѣжатъ. Стоя на заднихъ лапахъ, съ поднятой кверху мордой, каждый изъ нихъ норовилъ поймать добычу на-лету. Но это рѣдко кому изъ нихъ удавалось: остальные трое отмахивали лапой кусокъ передъ самымъ носомъ у счастливца, и тогда всѣ четверо, сердито ворча, валились кубарями другъ на друга,—къ немалому, конечно, удовольствію зрителей, разражавшихся всякій разъ дружнымъ хохотомъ.

Особенно забавлялась этимъ одна толстуха, судя по холеному лицу—кровь съ молокомъ и по бѣличьей шубкѣ—изъ купчихъ. Въ рукахъ у нея былъ цѣлый каравай ситнаго хлѣба, отъ котораго она отламывала для медвѣжатъ кусочекъ за кусочкомъ.

— Да полно тебѣ, тетка, зря бросать-то! —укорилъ ее сосѣдъ—щедушный мужиченка въ рваномъ тулупѣ.—Дай взлѣзть которому-либо на колесо; ну, тогда и корми на здоровье: заработалъ.

Разумѣлъ же онъ колесо, утвержденное на вершинѣ древеснаго ствола съ обрубками вѣтвей, возвышавшагося изъ середины ямы до самыхъ перилъ.

— Такъ вотъ для тебя, вохляка, и полѣзутъ! —окрысилась купчиха.

— Для меня-то и полѣзутъ: старые знакомые.

— Поздравляю! Гдѣ жъ вы ознакомились?

— Въ берлогѣ.

— О!

— Вѣрно тебѣ говорю.

— Въ ихъ собственной берлогѣ?

— А ты думала, въ твоей?

Дешевая острота пришлась по вкусу сѣрой толпѣ и даже самой купчихѣ. Что же до Курбскаго, то онъ (какъ припомнятъ, можетъ-быть, читавшіе нашу повѣсть «Три вѣнца») прожилъ простымъ полѣщукомъ болѣе года въ Полѣсьѣ и не разъ ходилъ также на медвѣдя, а потому заинтересовался самимъ мужичкомъ.

— Ты, любезный, что же, вѣрно изъ Шереметевскихъ? спросилъ онъ.

Мужичекъ снялъ шапку и отвѣчалъ, что, точно, изъ Шереметевскихъ.

— Медвѣжатникъ?

— Хошь и не медвѣжатникъ (много чести!), а все жъ изъ загонщиковъ.

Говоря такъ, онъ приглаживалъ ладонью рѣдкіе волосы на макушкѣ, которые раздувало порывистымъ вѣтромъ.

— Накройся-ка,—сказалъ ему Курбскій: — вѣтеръ, вишь, какой холодный.

— Ничего, господинъ честной, и такъ постоимъ.

— Накройся,—еще настоятельнѣе повторилъ Курбскій и началъ затѣмъ разспрашивать о послѣдней медвѣжьей охотѣ.

Поощренный такимъ вниманіемъ, загонщикъ разговорился. Говорилъ онъ не очень-то складно

и пустился въ излишнія еще подробности о томъ, какъ ночевали они, загонщики, въ лѣсной сторожкѣ съ полѣномъ подъ головой замѣсто подушки; какъ подкрѣпились чарочкой зелена вина да закусили корочкой хлѣбца; какъ подъ утро разыгралась вьюга и замела медвѣжій слѣдъ; какъ увязали они по поясъ въ рыхломъ снѣгу и какъ наконецъ-то ужъ добрались до берлоги звѣря, гдѣ онъ залегъ крѣпко.

— Звѣря?—переспросила купчиха.—Да вѣдь ты говорилъ все про медвѣдицу съ медвѣжатами?

Загонщикъ снисходительно усмѣхнулся.

— А медвѣдица, по-твоему, нешто не звѣрь?

— Звѣрь—самъ медвѣдь...

— А жена его—звѣриха?

— Ну тебя, зубоскалъ! Да живьемъ-то вы какъ ее взяли?

— Есть у насъ одинъ такой медвѣжатникъ, Вавилой звать, самого чорта, поди, не испугается. Взялъ онъ это изъ костра головню,—только искры сыплются,—и полѣзъ къ ней ползкомъ въ гости, въ самую берлогу.

— Вотъ безстрашный! Ну, а она что же?

— Старуха-то? Спитъ, знамо, своей зимней спячкой, во снѣ лапу сосетъ, а около жмутся ея ребятки-медвѣжата. Ткнулъ онъ ей тутъ горящей головней прямо въ морду,—хошь не хошь, проснулась, да какъ зареветъ благимъ матомъ!

— Ай, страсти какія! Ну, и что же? Накинулась на твоего Вавилу?

— Зубами-то сама на него щелкаетъ, а чтобы

тронуть—ни-ни! Онъ же долго тоже растабаривать съ нею не сталъ, хвать за загривокъ одного медвѣженка, да по-рачьи опять назадъ къ выходу. Выползъ здравъ и невредимъ.

— Но она-то, мать родная, чего смотрѣла? Безъ бою, такъ и отдала свое дѣтище?

— Да коли передъ мордой тебѣ этакой головней машутъ, такъ, небось, не полѣзешь въ драку.

— И совсѣмъ не вылѣзла изъ берлоги?

— Вылѣзла. Да мы-то, прочіе, стояли ужъ наготовѣ, всей гурьбой на нее навалились, живой рукой связали. Одному, правда, изрядно тутъ отъ нея попало: вмѣстѣ съ шапкой ему и кожу съ черепа сняла...

— Царица Небесная! Да я теперича со страху, хоть золотомъ меня осыпь, не пойду уже въ лѣсъ!

— Пойди, тетка, сдѣлай такую милость! Тебя тамъ только и недоставало.

Новый взрывъ хохота окружающихъ наградилъ остроумца, разобиженная же «тетка» плюнула и надулась.

— А тебѣ, князь, случалось тоже охотиться на медвѣдя?—спросилъ Бутурлинъ Курбскаго.

— Сколько разъ,—отвѣчалъ Курбскій.—У насъ вѣдь на Литвѣ, въ Полѣсьѣ, красному звѣрю самый водъ, и нашимъ панамъ нѣтъ лучше потѣхи, какъ этакая звѣриная облава, либо травля. Но самому-то мнѣ, признаться, болѣе по душѣ итти на медвѣдя, да и на кабана, одинъ на одинъ.

— Но это вѣдь куда опаснѣй?

— Вотъ потому-то мнѣ и любо. Это не про-

стая бойня, а настоящій бой, гдѣ можно помѣриться силами.

Бутурлинъ взглянулъ на говорящаго съ удивленіемъ и восхищеніемъ.

— И съ какимъ оружіемъ ты шелъ въ этакій бой?—спросилъ онъ.—Только съ самопаломъ?

— Ходилъ и съ самопаломъ, но чаще того съ шибнемъ.

— А это что̀ за штука?

— Шибень—короткое копье о двухъ желѣзныхъ концахъ, а то и просто деревянная палица съ обожженными концами.

— Шибнемъ-то что!—замѣтилъ тутъ загонщикъ съ важностью бывалаго охотника.—А вотъ, поди-ко-сь, возьми медвѣдя, какъ нашъ братъ, голыми руками!

Самохвальство слабосильнаго на видъ мужиченки вызвало у Курбскаго только улыбку; Петрусь же счелъ долгомъ огрызнуться за своего господина.

— Храбёръ ты, братику, поколѣ самому реберъ не поломали! И медвѣженка-то, поди, не посмѣешь пальцемъ тронуть!

— Я-то?

— Да, ты.

— Медвѣженка?

— Медвѣженка. А хочешь показать свою прыть, такъ полѣзай къ нимъ сейчасъ въ яму.

— Зачѣмъ я къ нимъ полѣзу?—отозвался храбрецъ тономъ значительно уже ниже, не безъ

опаски заглядывая въ глубину.—Медвѣжата—тѣ же щенки; охота мнѣ съ ними возжаться!

— Есть тамъ про тебя и мать-медвѣдица: только спитъ, въ снѣгу зарылась.

— Такъ чего ее, старуху, будить-то? Пущай дрыхнетъ!

Бутурлина, не менѣе другихъ, забавляли неудачныя увертки загонщика.

— Экой ты сердобольный!—сказалъ онъ.—Даромъ лѣзть туда, понятно, кому охота. А вотъ, коли я дамъ тебѣ рубликъ заработать...

Съ этими словами юноша досталъ изъ кармана кошель, а изъ кошеля новенькій серебряный рубль. Соблазнъ для бѣдняка-мужика былъ не малый; а насмѣшки окружающихъ еще болѣе его подзадоривали.

— Ну, давай ужъ сюда!—рѣшился онъ, наконецъ, и потянулся за рублемъ.

— Нѣтъ, любезный, сперва заработай.

— Правда! Когда жъ за работу впередъ платятъ?—раздались кругомъ одобрительные голоса.

— Впередъ все вѣрнѣе...

— А не вѣришь, такъ изволь: доставай самъ!—сказалъ Бутурлинъ и бросилъ монету въ яму къ медвѣжатамъ.

Тѣ долго уже понапрасну ожидали новыхъ подачекъ; теперь всѣ четверо разомъ накинулись на монету, и одному изъ нихъ, дѣйствительно, удалось схватить ее зубами. Но она не пришлась ему, видно, по вкусу: онъ тотчасъ выпустилъ ее изо рта. Послѣ этого и остальные, одинъ за

другимъ, обнюхали блестѣвшій на снѣгу кружокъ, но, не менѣе разочарованные, оставили его также лежать.

— Ну, что же? — спросилъ Бутурлинъ хвастуна-мужиченку, который въ раздумьи почесывалъ въ затылкѣ.

— Эхъ, горе-богатырь! — снова поднялъ его на смѣхъ Петрусь. — Воевать тебѣ на печи съ тараканами!

— Посмотрѣлъ бы я, какъ ты самъ полѣзъ бы! — проворчалъ тотъ сквозь зубы.

— А что же ты думаешь: не полѣзу?

— Ну, и полѣзай!

— И полѣзу.

Прежде, чѣмъ Курбскій могъ задержать не въ мѣру шустраго казачка, этотъ махнулъ уже черезъ перила къ древесному стволу, возвышавшемуся, какъ сказано, изъ середины ямы. Схватившись сперва за верхушечное колесо, онъ по обрубкамъ вѣтвей спустился на самое дно ямы. Медвѣжата, совершенно неприготовленные къ такому визиту, сами до того перепугались, что Петрусь могъ преспокойно поднять съ земли монету. Но ему, удалому сыну Запорожья, такой легкой побѣды было мало. Схвативъ двухъ медвѣжатъ за шиворотъ, онъ стукнулъ ихъ головами, потомъ сдѣлалъ то же съ двумя другими и свалилъ ихъ въ одну кучу съ первыми. Медвѣжата были дотого ошеломлены и раззадорены, что, забывъ уже про своего общаго врага, сцѣпились межъ собой и принялись тузить другъ друга.

— Важно! — поощрилъ ихъ Петрусь. — А гдѣ же ваша мама?

Тутъ только замѣтилъ онъ входъ въ самодѣльное логовище медвѣдицы, откуда выставлялась мохнатая голова, уткнувшаяся мордой въ переднія лапы.

— Гай, гай, мамо!—сказалъ онъ.—Дѣтки дерутся, ажно чубы трясутся, а она хоть бы что́. Стыдися, стара, проснися!

Сопровождавшій эти слова пинокъ былъ такъ убѣдителенъ, что спящая сразу очнулась и угрожающе зарычала. Но озорникъ нашъ не сталъ дожидаться болѣе убѣдительнаго отвѣта. Когда онъ теперь появился опять на верхушечномъ колесѣ и оттуда перемахнулъ обратно къ периламъ, то былъ встрѣченъ единодушными похвалами:

— Ну, ужъ хватъ! Малъ, да удалъ! Въ одно ухо влѣзетъ, въ другое выскочетъ!

Всѣмъ онъ угодилъ, одному лишь нѣтъ—мужиченкѣ-загонщику: очень ужъ досадно тому было, что этакій молокососъ осрамилъ его передъ всѣмъ честнымъ народомъ, да еще рубль въ карманъ положилъ.

— Эка невидаль!—сказалъ онъ.—И мой же рубль еще себѣ забралъ!

— Такъ чего жъ ты самъ-то зѣвалъ?—спросилъ Бутурлинъ. — Но коли тебѣ такъ ужъ жалко...

— Знамо, жалко!

— То я, такъ и быть, еще рубль брошу. Бросать, что ли?

— Бросай.

— Не будетъ ли, Андрей Васильичъ? — вмѣшался тутъ Курбскій. — Не дай Богъ, еще сорвется внизъ...

— Я-то сорвусь? — вскинулся мужиченка. — Бросай!

Второй такой же рубль упалъ въ яму. Отдавъ свою шапку на сохраненіе сосѣду, загонщикъ, не безъ ловкости, перекинулся также черезъ перила. До колеса же онъ не допрыгнулъ и полетѣлъ съ вышины прямо къ медвѣжатамъ.

Зрители ахнули и перегнулись черезъ перила. Въ глубинѣ разыгралась уже маленькая мелодрама: упавшій самъ хоть и не расшибся, потому что угодилъ какъ разъ на одного изъ медвѣжатъ, но этотъ завизжалъ, какъ поросенокъ подъ ножомъ мясника. Для чадолюбивой же медвѣдицы такой визгъ родного медвѣженка то же самое, что̀ дѣтскій плачъ для нѣжной мамаши. Не успѣлъ мужичокъ приподняться, какъ медвѣдица его уже облапила, и самъ онъ завопилъ пуще медвѣженка:

— Спасите, родимые! ослобоните!

Хотя, при движеніи лѣвымъ плечомъ, Курбскій ощущалъ еще нѣкоторую боль и слабость въ рукѣ, раненой подъ Новгородомъ-Сѣверскомъ, но передъ выѣздомъ своимъ во дворецъ все-таки снялъ съ руки повязку. Теперь, въ виду угрожавшей его ближнему смерти, онъ забылъ уже о своей рукѣ Шибня при немъ хоть и не было, да за поясомъ былъ турецкій кинжалъ.

Сбросивъ съ плечъ шубу, онъ перешагнулъ черезъ перила и, не пользуясь даже древеснымъ стволомъ, соскочилъ прямо внизъ. Мужиченкѣ, несмотря на его овчиный тулупъ, приходилось плохо: медвѣдица сорвала уже съ него эту кожаную броню и добралась до его собственной шкуры, когда подоспѣлъ Курбскій. Пронзенная его острою сталью въ самое сердце, она откинулась назадъ, чтобы уже не встать. Но, въ паденіи своемъ, она увлекла за собою Курбскаго и, въ предсмертныхъ судорогахъ, обхватила обѣими лапами поражающую руку такъ крѣпко, что кости хрустнули.

— Батюшки-свѣты! — вскричалъ мужиченка, помогая Курбскому приподняться.—Что̀ съ твоей милостью?

А у того правая рука повисла какъ плеть, и сквозь изодранный рукавъ кровь лилась ручьями.

— Кость, видно, повредило...—пробормоталъ Курбскій, не издавшій до сихъ поръ ни крика, ни стона; но румянецъ сошелъ съ его лица, и самъ онъ едва держался на ногахъ.—Не знаю ужъ, право, какъ выбраться теперь отсюда...

— Лѣстницу сюда! веревокъ! — крикнулъ загонщикъ.

Но то и другое пришлось доставать еще изъ города, и когда пострадавшаго подняли наконецъ изъ ямы, то отъ большой потери крови онъ лишился уже чувствъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Басмановъ.

Шла третья недѣля послѣ злоключенья съ Курбскимъ въ медвѣжьей ямѣ. Триста лѣтъ назадъ самымъ вѣрнымъ средствомъ при переломѣ костей считалась ампутація, по пословицѣ: сорную траву съ корнемъ вонъ. Очень можетъ быть, что и Курбскому предстояло бы то же, попадись онъ въ руки одному изъ старшихъ придворныхъ лейбъ-медиковъ. Но, по счастью, царь Борисъ счелъ достаточнымъ прислать къ нему младшаго изъ своихъ лѣкарей, студента медицины пражскаго университета Эразма Бенскаго [1]). Пожалѣлъ ли этотъ молодость

[1]) Современная хроника сохранила имена и остальныхъ медиковъ, нарочно выписанныхъ Годуновымъ изъ-за границы. Самымъ искуснымъ въ лѣченіи всякихъ болѣзней почи-

Курбскаго или не рѣшился на свой страхъ его калѣчить,—какъ бы тамъ ни было, но ограничился онъ лишь тѣмъ, что забинтовалъ ему сломанную руку въ лубокъ. (До гипсовыхъ перевязокъ хирурги въ то время еще не додумались). Сдѣлалъ онъ это настолько удачно, что кость начала опять срастаться, и паціентъ могъ уже, съ крайнею, конечно, осторожностью, двигаться по комнатѣ Правда, лѣкарь предупредилъ его, что прежней гибкости и силы рука его уже не получитъ, и что отъ сабли, какъ отъ оружія, ему навсегда придется отказаться.

— Но съ однимъ человѣкомъ у меня еще не покончены счеты! — воскликнулъ Курбскій, не забывшій даннаго ему паномъ Тарло обѣщанія «быть къ его услугамъ» послѣ похода.

— Ну, такъ научитесь драться лѣвой рукой,—

тался уроженецъ Венгріи Христофоръ Рейтлингеръ, прибывшій въ Москву съ англійскимъ посланникомъ. Другіе были чистокровные нѣмцы: Давидъ Вазмеръ, Генрихъ Шредеръ (изъ Любка), Іоганъ Вильке (изъ Риги) и Каспаръ Фидлеръ (изъ Кёнигсберга). Какъ дорожилъ Годуновъ этими учеными людьми, показываетъ ихъ обезпеченное матеріальное положеніе: каждый имѣлъ свою деревню съ тридцатью работниками и пять лошадей верховыхъ и каретныхъ; кромѣ трехъ или четырехъ блюдъ съ царской кухни, каждому отпускались: ежедневно штофъ водки, уксусу и «запасъ для стола» и ежемѣсячно—«знатное» количество хлѣба, бочка пива и 60 возовъ дровъ. Затѣмъ, послѣ всякаго удачнаго лѣченія царя, они получали еще экстренные подарки камками, бархатами и соболями.

утѣшилъ его съ улыбкой былой студентъ.—Времени у васъ на то довольно.

— Да не одному же мнѣ упражняться съ самимъ собой?

— А я-то на что? У насъ въ Прагѣ любой студентъ дерется почти что одинаково, что правой, что лѣвой рукой.

— Весьма вамъ обязанъ,—сказалъ Курбскій.— Но и лѣвой рукой я боюсь шевельнуть: правая сейчасъ заноетъ.

— Patientia, amice! (Терпѣнія, мой другъ!) Къ веснѣ все у васъ будетъ въ порядкѣ.

Были у Курбскаго и другія двѣ заботы. Одна касалась Маруси: несмотря на дальнѣйшіе поиски со стороны обоихъ ея дядей, мѣстопребываніе ея оставалось неизвѣстнымъ: какъ видѣніе, она исчезла безъ слѣда.

Едва ли не болѣе еще, однако, озабочивалъ Курбскаго одинъ упорный слухъ, ходившій по городу: говорили, будто бы царевичъ Димитрій покинутъ поляками и снялъ даже осаду съ Новгорода-Сѣверска. Провѣрить этотъ слухъ не представлялось возможности. Бутурлинъ, съ которымъ Курбскій съ перваго же дня такъ хорошо было сошелся, не показывалъ уже глазъ. По словамъ Бенскаго, бѣдному юношѣ, подавшему первый поводъ къ катастрофѣ съ Курбскимъ въ медвѣжьей ямѣ, досталась за то если не «бастонада» (батоги), то капитальная головомойка (cine capitale Kopfwäscherei); вѣроятно, ему было воспрещено и навѣщать больного. Самъ же Бенскій, на вопросъ

Курбскаго относительно упомянутаго слуха, дипломатично отговорился тѣмъ, что война—не по его части.

Тутъ, наканунѣ Валеріанова дня (21 января), въ комнату къ Курбскому ворвался младшій изъ дядей Маруси, весь сіяя отъ удовольствія.

— Узналъ вѣдь, узналъ!

— Про Марусю?—встрепенулся и Курбскій.

— Да нѣтъ же! Не я узналъ, а онъ меня узналъ, рукой еще вотъ этакъ махнулъ.

— Да кто такой, Степанъ Маркычъ? О комъ ты говоришь?

— О комъ вся Москва говоритъ? О Басмановѣ. Вѣдь ты же слышалъ, что государь нарочно вызвалъ его сюда изъ Сѣверской земли?

— Слышалъ; да что́ мнѣ въ томъ?

— Какъ что́! Онъ одинъ вѣдь изъ всѣхъ нашихъ военачальниковъ далъ отпоръ этому самозванцу...

— Ты забываешь, Степанъ Маркычъ, — прервалъ Курбскій,—что для меня то не самозванецъ.

— Ну, ну, не буду. Такъ вотъ, изволишь видѣть, вышелъ я нонече раннимъ утромъ по дѣламъ своимъ изъ дому; какъ завернулъ на Арбатъ,—такое многолюдство, что съ нуждою пробраться. «Куда, ребята? На пожаръ, что ли?» — «Какое на пожаръ! Басманова встрѣчать: бояре съ часъ уже, слышь, за городъ къ нему выѣхали».

— И ты побѣжалъ за другими?

— А чѣмъ же я ихъ хуже? Долго-ли, коротко-ли, загремѣли барабаны, затрубили трубы, за-

свистали флейточки. Ну, ѣдутъ! И точно, впереди всѣхъ стрѣльцы, за стрѣльцами музыканты, а тамъ царедворцы, сперва помельче чиномъ, потомъ все крупнѣе, а за самыми крупными—онъ, нашъ батюшка Петръ Ѳедорычъ Басмановъ! Какъ я тутъ гаркну: «Слава Басманову!» Услышалъ вѣдь, оглянулся на меня, да этакъ ручкой знакъ подалъ: «И ты, молъ, здѣсь, милый человѣкъ?» Тутъ я заоралъ уже во всю голову: «Слава!» И народъ кругомъ, спасибо, не выдалъ, подхватилъ; по всей улицѣ, какъ громъ, прокатилось: «Слава! слава!..» Да ты не слушаешь, князь?—не безъ досады прервалъ самъ себя Биркинъ, замѣчая раздумчивый и угрюмый видъ своего слушателя.

— Все слышалъ,—отвѣчалъ Курбскій.—Только дивлюсь я тебѣ, Степанъ Маркычъ: съ чего ты такъ обрадовался?

— Какъ съ чего? Перво-на-перво я тоже сынъ отечества; а потомъ... какъ знать? Коли подвернется какой ни есть подрядъ для царскаго двора, да этакій первый бояринъ словечко за меня замолвитъ, такъ мое дѣло и въ шляпѣ: глядь, предоставятъ мнѣ безпошлинный торгъ по всей землѣ русской...

Несмотря на свое удрученное настроеніе духа, Курбскій не могъ не улыбнуться надъ полетомъ купеческой фантазіи.

— Басмановъ, сколько мнѣ вѣдомо,—сказалъ онъ, — вовсе еще и не бояринъ, а не то что первый.

— Чего нѣтъ, то можетъ статься; а что Бас-

манову до боярства лишь рукой подать,—это какъ пить дать.

Въ данномъ случаѣ Биркинъ оказался, дѣйствительно, пророкомъ. Заглянувшій на слѣдующій день къ своему паціенту Бенскій разсказалъ ему о царскихъ милостяхъ, которыхъ удостоился Басмановъ: на первомъ же пріемѣ государь поздравилъ этого доблестнаго воина съ званіемъ боярина, тутъ же собственноручно поднесъ ему золотое блюдо, вѣсомъ въ 6 фунтовъ, насыпанное червонцами, да вдобавокъ пожаловалъ ему еще помѣстье съ крестьянами, всякіе цѣнные подарки и наличными деньгами двѣ тысячи рублей [1]).

Степанъ Марковичъ торжествовалъ.

— А? что я говорилъ? Кабы только вспомнилъ теперича обо мнѣ...

И этой надеждѣ его какъ-будто суждено было осуществиться. По крайней мѣрѣ, не далѣе, какъ черезъ три дня, передъ воротами Биркиныхъ остановились сани вновь пожалованнаго боярина. Оба брата едва поспѣли выскочить за ворота, чтобы высадить его изъ саней. Но на ихъ низкіе поклоны и благодарность за оказанную великую честь Басмановъ отвѣтилъ только легкимъ кивкомъ. Къ немалому ихъ разочарованію, онъ пожелалъ видѣть лишь ихъ постояльца, князя Михайлу Андреевича Курбскаго.

---

[1]) Тогдашній рубль, по мнѣнію однихъ ученыхъ, равнялся нынѣшнимъ тремъ рублямъ, по мнѣнію же другихъ,—даже пяти рублямъ.

Самъ Курбскій никогда еще ранѣе не встрѣчался съ Басмановымъ. Первое впечатлѣніе, производимое на насъ незнакомымъ человѣкомъ, рѣдко насъ обманываетъ. Уже самая внѣшность Басманова, этого статнаго, виднаго брюнета въ новой, съ иголочки, боярской ферези съ привѣшанной къ струйчатому шелковому кушаку саблей, была очень представительна. Но что особенно расположило Курбскаго въ его пользу, это—открытое выраженіе его лица, благородная простота обращенія. Послѣ обмѣна обычныхъ привѣтствій, Басмановъ объявилъ Курбскому, что прибылъ къ нему по желанію самого царевича.

— Царевича Димитрія! — заликовалъ Курбскій.

Басмановъ, однако, охладилъ его пылъ:

— О, нѣтъ. Для меня, какъ и для всякаго вѣрнаго россіянина, есть одинъ только царевичъ—сынъ и наслѣдникъ нашего царя Бориса Ѳедоровича, Ѳедоръ Борисовичъ.

— Такъ что же надобно отъ меня сыну твоего царя, бояринъ?

— Какая надобность, скажи, царскому сыну отъ заѣзжаго чужеземца? Въ особыхъ услугахъ твоихъ нужды ему, понятно, быть не можетъ. Но царевичъ нашъ зѣло еще юнъ: не можетъ взирать равнодушно на чужія страданія. Какъ узналъ про постигшую тебя злую напасть, такъ совсѣмъ, поди, разжалобился, выпросилъ для тебя у государя дохтура, чтобы починилъ твои изъяны, а нынче вотъ и меня упросилъ тебя провѣдать. Плакаться

тебѣ на здѣшнихъ хозяевъ, кажись, не приходится?

Такое неожиданное участіе къ нему царственнаго отрока не могло не тронуть отзывчиваго сердца Курбскаго. Да и самому посланцу доставляло видимое удовольствіе передать ему эту отрадную вѣсть.

— Благодарствую за спросъ, бояринъ, — промолвилъ съ чувствомъ Курбскій, — царевичу же Ѳедору великое отъ меня спасибо. Живу я здѣсь въ полномъ довольствѣ, какъ рѣдкому плѣннику живется!—добавилъ онъ со вздохомъ.

— Какой же ты плѣнникъ!

— А двухъ конныхъ стражниковъ у воротъ ты, бояринъ, развѣ не замѣтилъ?

— Ну, тѣ больше для почета.

— Богъ съ нимъ, съ такимъ почетомъ! И знаю я, очень хорошо знаю, кому я въ этомъ случаѣ обязанъ.

— Кому?

— Шуйскому.

— Князю Василію Ивановичу? Да, онъ близкій совѣтникъ государя...

— Близкій, да добрый-ли, надежный-ли?

— Ну, объ этомъ, князь, не намъ съ тобой судить! — коротко обрѣзалъ Басмановъ щекотливую тему. — А что Шуйскій—мужъ остраго ума и у государя въ большой силѣ,— можешь видѣть изъ того, что государь отрядилъ его теперь воеводой въ ратное поле.

— Вотъ какъ! На смѣну Мстиславскаго?

— Нѣтъ, ему въ помощь: князь Мстиславскій доселѣ вѣдь не оправился еще отъ своихъ тяжелыхъ ранъ.

— А что̀, бояринъ, разъ зашла у насъ рѣчь о ратномъ полѣ, — не дозволишь-ли мнѣ разспросить тебя кой о чемъ, что̀ тебѣ лучше вѣдомо, чѣмъ всякому иному?

— Спрашивай, князь; что̀ смогу сказать — безъ нужды не скрою.

— Еще о Рождествѣ, когда я отбылъ сюда изъподъ Новограда-Сѣверскаго, ты съ своими стрѣльцами не могъ тронуться изъ замка. А теперь, вишь, ты уже здѣсь, въ Москвѣ, да принятъ еще точно побѣдитель. Что же, ты пробился сквозь нашу цѣпь?

— Нѣтъ, я вышелъ изъ замка безвозбранно.

— Такъ, стало-быть, вѣрно, что осада съ него снята?

— Снята на второй же день іануарія мѣсяца.

— Но почему? идетъ тутъ молва (только не хотѣлось бы вѣрить!), будто бы гетманъ Мнишекъ со всѣми своими поляками убрался вдругъ во-свояси. Такъ-ли?

— Такъ. А почему убрался — знаю только по наслышкѣ отъ раненыхъ, оставленныхъ ими на мѣстѣ. Казна гетманская въ походѣ-де истощилась; жалованье ратникамъ платилось крайне неисправно; стали они роптать... При тебѣ, князь, этого развѣ еще не было?

— Было..— нехотя долженъ былъ признать Курбскій.— Но гетманъ обнадеживалъ скорой побѣдой.

— Ну, вотъ, и одержали они побѣду, отпи-

ровали ее, слышно, на славу. Однако жалованья своего никто все-таки, какъ ушей своихъ, не увидѣлъ. Тутъ уже всѣ поляки возроптали, а нѣкій панъ Федро прямо будто бы пригрозилъ, что уйдетъ сейчасъ домой въ Польшу съ своимъ отрядомъ.

— И пускай бы убирался!—сказалъ Курбскій: —онъ всегда мутилъ другихъ.

— Димитрій твой, однако, поопасился, знать, что уйдетъ этотъ Федро,—и прочихъ не удержишь, тайно отъ другихъ выдалъ ему съ его ратниками все ихъ жалованье...

— Вѣчно эта скрытность! А другіе провѣдали о томъ и возмутились?

— Да, разграбили всѣ припасы, разнесли боевые снаряды...

— Господи Боже мой! Да гетманъ-то чего глядѣлъ?

— Мнишекъ? Не знаю ужъ, правда-ль, нѣтъ-ли, но къ нему будто бы въ тотъ самый день и часъ прискакалъ гонецъ отъ короля Сигизмунда, съ приказомъ, чтобы безмѣшкотно вернулся со всею своею ратью. Ну, онъ и не посмѣлъ ослушаться.

— Да не самъ-ли Сигизмундъ дозволилъ ему раньше навербовать для царевича вольныхъ рыцарей и жолнеровъ?

— Хоть и дозволилъ, да, вѣдь, безъ согласія польскаго сейма?

— Да, негласно.

— То-то же. А государь нашъ Борисъ Ѳедоровичъ отрядилъ къ королю въ Краковъ дворя-

нина Огарева объявить тотчасъ войну Польшѣ, буде поляки не будутъ отозваны. Король и нашелъ, видно, что дурной миръ все же лучше доброй ссоры.

— Бѣдный царевичъ! Каково-то ему было вынести все это!

— М-да, не сладко... Сказываютъ, что онъ совсѣмъ голову потерялъ, метался по лагерю отъ палатки къ палаткѣ, упрашивалъ поляковъ, Бога ради, не покидать его, цѣловалъ съ плачемъ руки у польскихъ патеровъ...

— Ну, это дѣло нестаточное! Унижаться такъ онъ не сталъ бы!—запальчиво перебилъ Курбскій.

— За что̀ купилъ, за то и продаю. Какъ бы тамъ ни было, патеры при немъ остались, да задержали съ собой и тысячи полторы польской шляхты.

— Что̀ значитъ такая горсть противъ десятковъ тысячъ русскихъ!

— Покамѣстъ не ушли отъ него и казаки. Но особенно онъ этому безшабашному народу, кажись, не довѣряетъ; зачѣмъ бы ему иначе было снять осаду?

— Такъ гдѣ жъ онъ теперь?

— Засѣлъ, слышно, въ Сѣвскѣ. Но наше царское войско также двинулось туда, и — какъ знать? въ это самое время, что̀ мы бесѣдуемъ здѣсь съ тобой, Сѣвскъ, можетъ, уже взятъ, а съ нимъ и самъ воръ-разстрига.

Точно оса его ужалила, Курбскій сорвался съ мѣста.

— И не грѣхъ тебѣ, бояринъ, — сказалъ онъ, — давать такую кличку родному сыну царя Ивана Васильевича!

Глаза его вспыхнули при этомъ такимъ искреннимъ, благороднымъ гнѣвомъ, что Басмановъ на него заглядѣлся.

— При нашемъ дворѣ ему нѣтъ иного званія, — отвѣчалъ онъ. — Да и въ Разрядной книгѣ, по повелѣнію государеву, онъ точно такъ же прописанъ...[1])

---

[1]) Выписываемъ здѣсь упомянутую статью въ Разрядной книгѣ:

« Учинилась вѣсть государю царю и великому князю Борису Ѳедоровичу всея Русіи, что назвался въ Литвѣ воръ государскимъ именемъ царевичемъ Дмитріемъ Углицкимъ, великаго государя царя Ивановымъ сыномъ.

«А тотъ воръ, разстрига, Гришка сынъ сотника стрѣлецкаго Богдана Отрепьева, постригшись былъ въ Чудовѣ монастырѣ въ дьяконѣхъ и во 111 (1603) году сшелъ на Сѣверу (въ Сѣверскую землю) и сбѣжалъ за рубежъ въ Литву и пришелъ въ Печерскій монастырь, а съ нимъ воръ жъ чернецъ Мисаило Повадинъ, и умысля дьявольскою кознію, разболѣлся до умертвія и велѣлъ бить челомъ игумену Печерскому, чтобъ его поновилъ, и въ духовнѣ (на духу) сказалъ, будто онъ сынъ великаго государя царя Ивана Васильевича, царевичъ Дмитрій Углицкій, а ходитъ будто бы въ искусѣ непостриженъ избѣгаючи, укрываяся отъ царя Бориса, и онъ бы, игуменъ, послѣ его смерти, про то всѣмъ объявилъ; и послѣ того всталъ, сказалъ, будто полегчало ему.

« И тотъ игуменъ съ тѣхъ мѣстъ учалъ его чтить, чаялъ то правда, и вѣдомо учинилъ королю и сенаторамъ; а тотъ разстрига, сложивъ черное платье, сшелъ къ Сендомирскому (воеводѣ), называючись царевичемъ, да и Московскаго государства во всей Сѣверѣ и въ польскихъ городѣхъ учинилось то вѣдомо».

— Но онъ царевичъ, онъ настоящій царевичъ!— съ жаромъ подхватилъ Курбскій. — И самъ бы ты, бояринъ, увѣровалъ въ его царское происхожденіе, кабы зналъ про него все, какъ я. Коли дозволишь, я сейчасъ разскажу тебѣ.

Точно испугавшись, что доводы Курбскаго могутъ оказаться слишкомъ убѣдительными, Басмановъ быстро приподнялся.

— Я и то у тебя засидѣлся,—сказалъ онъ и, осторожно пожавъ здоровую лѣвую руку Курбскаго, пожелалъ ему поскорѣе поправиться.

Опять прошли двѣ недѣли времени. Тутъ по Москвѣ пронеслись новые слухи, одинъ другого для Курбскаго тревожнѣе: сперва, будто запорожцы, подкупленные новымъ царскимъ воеводой Василіемъ Шуйскимъ, измѣнили царевичу Димитрію и ушли обратно въ свою Запорожскую Сѣчь; потомъ, будто остальная рать царевича (изъ оставшихся при немъ поляковъ, донцовъ и русскаго сброда) разбита на голову, при чемъ называлось и мѣсто роковой битвы—село Добрыничи, и, наконецъ, будто самъ царевичъ взятъ въ полонъ, и его въ желѣзной клѣткѣ везутъ въ Москву. Послѣднее извѣстіе—о плѣненіи царевича—не подтвердилось.

— Мало ли что́ болтаетъ черный народъ! Fama crescit eundo (молва растетъ на ходу), —отозвался на вопросъ Курбскаго Бенскій, презрительно пожимая плечами.

Относительно же измѣны запорожцевъ и разгрома Димитріева войска подъ Добрыничами не оставалось уже сомнѣнія. Вскорѣ стало еще извѣст-

нымъ, что царевичъ съ поляками заперся въ Путивлѣ, а оставшіеся ему вѣрными донскіе казаки, подъ начальствомъ своего лихого атамана Корелы, двинулись впередъ и заняли крѣпость Кромы, которая тотчасъ и была обложена царскимъ войскомъ.

Со дня на день Курбскій ожидалъ роковую вѣсть, что Кромы пали. Но недѣля шла за недѣлей, наступилъ апрѣль мѣсяцъ, а какихъ-либо извѣстій о новыхъ успѣхахъ царскихъ воеводъ что-то не приходило. Напротивъ того, передавали шопотомъ изъ устъ въ уста, что въ государевой рати, безуспѣшно третій уже мѣсяцъ осаждавшей Кромы, открылись повальныя болѣзни, а между военачальниками возникли серіозные раздоры; далѣе, что отъ названнаго царевича Димитрія по всей Руси разсылаются увѣщательныя грамоты народу, и тѣ грамоты крѣпко мутятъ умы.

Курбскій пуще прежняго порывался теперь вонъ изъ Москвы. Сломанная правая рука его совершенно срослась, и, вопреки предсказанію лѣкаря, онъ могъ даже держать въ ней саблю. Но на сдѣланный имъ черезъ Бенскаго запросъ: когда же его, наконецъ, отпустятъ, получился изъ дворца уклончивый отвѣтъ: «можетъ ждать».

Такъ ему ничего не оставалось, какъ вооружиться терпѣньемъ, а въ ожиданіи упражнять одеревенѣвшія въ лубкѣ мышцы своей правой руки, фехтуя то съ Бенскимъ, то просто съ воображаемымъ противникомъ. За этимъ же занятіемъ засталъ его и Басмановъ, который неожиданно навѣстилъ его вторично.

— Вотъ за это хвалю! — сказалъ Басмановъ.— Никогда не унывай, князь...

—Все со скуки, бояринъ,—отвѣчалъ Курбскій.— Съ тѣхъ поръ, что я оправился, и лѣкарь мой рѣдко ужъ когда заглянетъ, чтобы потѣшиться со мной сабельнымъ боемъ.

— Такъ я могу доставить тебѣ это пріятство,— усмѣхнулся Басмановъ и обнажилъ свою собственную саблю.

Клинки ихъ скрестились. Первое нападеніе сдѣлалъ Басмановъ,— сдѣлалъ какъ бы шутя. Скоро, однако же, онъ убѣдился, что самому ему надо отбиваться отъ наносимыхъ ему быстрыхъ и ловкихъ ударовъ; все болѣе тѣснимый, онъ отступалъ назадъ шагъ за шагомъ, пока не уперся спиной въ стѣну.

— Исполать тебѣ и твоему лѣкарю! — сказалъ онъ, влагая саблю обратно въ ножны.—Тебѣ хоть сейчасъ въ рукопашную. А знаешь ли, князь: кабы намъ съ тобой этакъ бокъ о бокъ стоять въ бранномъ полѣ...

— И самъ я весьма радъ бы,—отвѣчалъ Курбскій.—Но раньше этому не бывать, пока мой царевичъ не станетъ и твоимъ царемъ.

— Никогда онъ имъ не будетъ...

— Будетъ, будетъ! Правому дѣлу Господь не дастъ погибнуть.

— А ты, князь, считаешь его дѣло правымъ? Ты вѣришь, что онъ настоящій царевичъ?

— Да какъ же не вѣрить? Всѣ, кто есть при немъ, въ него вѣрятъ.

— Да самъ-то онъ въ себя вѣритъ ли?

— Какъ ты можешь говорить такъ, бояринъ!— возмутился Курбскій. — Притворяйся онъ, неужто я, видя его каждый день, чуть не каждый часъ, ничего бы не подмѣтилъ? Нѣтъ, онъ ведетъ себя во всемъ, какъ царскій сынъ...

И онъ принялся описывать въ живыхъ образахъ и краскахъ благородный нравъ и все поведеніе, всю жизнь Димитрія, начиная съ его перваго появленія у князя Адама Вишневецкаго въ Брагинѣ вплоть до осады Новгорода-Сѣверска. И, странное дѣло! на этотъ разъ Басмановъ не пытался даже прервать глубоко убѣжденную рѣчь пылкаго юноши; слушалъ онъ молча, строго опустивъ глаза и сжавши губы; когда же Курбскій кончилъ, то замѣтилъ:

— Теперь я понимаю, князь, что ты ему такъ безмѣрно преданъ. Винить тебя за то у меня языкъ не повернется. Но мы съ тобой какъ люди разной вѣры: ты вѣришь въ своего царевича, какъ я въ моего царя. Не будемъ же спорить, смущать другъ друга. Не могу - ли я чѣмъ услужить тебѣ? скажи.

— Можешь, бояринъ; одно у меня челобитье: дай мнѣ выбраться, наконецъ, изъ этой тюрьмы!

— Да какая же это тюрьма? Жизнь у тебя здѣсь довольственная, привольная...

— Привольная, когда и шагу не смѣю сдѣлать за ворота!

— Почему такъ? Гуляй себѣ безвозбранно по всему городу.

— Съ двумя стражниками за собою? Я, слава

Богу, не колодникъ и не подлый рабъ, а свободный человѣкъ, прибывшій сюда по охранному листу..

— Да отъ кого? Въ томъ-то и дѣло! Что, сидя этакъ въ четырехъ стѣнахъ, ты извелся со скуки,— какъ не повѣрить. Ходатайствовать о томъ, чтобы тебя сейчасъ отпустили изъ Москвы,—мнѣ, видишь-ли, не совсѣмъ способно. Убрать же стражниковъ, — приложу всѣ тщанія.

— И за то, бояринъ, буду тебѣ много благодаренъ! До сего времени вѣдь не могъ поклониться даже святынямъ московскимъ.

— А ты даешь мнѣ свое княжеское слово безъ вѣдома царя не отлучаться изъ Москвы?

— Даю.

— Такъ наутріе стражниковъ уже не будетъ. А засимъ будь здоровъ; авось, скоро опять свидимся.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Какъ опасно тому заходить въ кружало, кто не держитъ языка за зубами.

Первое, что́ услышалъ Курбскій на другое утро отъ прислуживавшаго ему при одѣваніи Петруся Коваля, было, что обѣщаніе Басманова исполнено: у воротъ дома не видать стражниковъ, торчавшихъ тамъ и денно и нощно, какъ бѣльмо на глазу.

«Хорошій человѣкъ — этотъ Басмановъ», сказалъ себѣ Курбскій.—«Откуда только онъ у Годунова такую власть взялъ?»

О главной причинѣ тому онъ, конечно, не могъ знать: недавно еще Годуновъ прочилъ въ мужья своей единственной дочери, княжнѣ Ксеніи, своего перваго воеводу, князя Мстиславскаго. Теперь же, когда Мстиславскій, вмѣстѣ съ Шуйскимъ,

не могъ одолѣть самозваннаго Димитрія, а героемъ дня сталъ Басмановъ, Годуновъ намѣтилъ себѣ въ зятья уже Басманова, обѣщавъ ему въ приданое за Ксеніей царства Казанское и Астраханское, не ранѣе, однако, пока тотъ не представитъ ему самозванца живымъ или мертвымъ.

Самъ Басмановъ, впрочемъ, также не подозрѣвалъ, что хотя царь и снизошелъ на его просьбу—удалить стражниковъ отъ дома Биркиныхъ, но что вслѣдъ затѣмъ начальникомъ сыскного приказа, княземъ Татевымъ, по особому царскому повелѣнію, были отряжены двое ловкихъ сыщиковъ, чтобы слѣдить за Курбскимъ на его прогулкахъ по городу неотступно шагъ за шагомъ.

Не зная этого, Курбскій вышелъ на улицу въ самомъ лучшемъ расположеніи духа. Сопровождалъ его только его вѣрный казачекъ; за три мѣсяца пребыванія въ Москвѣ, Петрусь успѣлъ исходить Москву вдоль и поперекъ, а потому могъ служить ему уже довольно опытнымъ проводникомъ.

Было 13-е апрѣля 1605 года, навсегда затѣмъ врѣзавшееся въ память Курбскаго. Покамѣстъ, однако, ничто еще не предвѣщало рокового переворота, висѣвшаго уже, такъ-сказать, въ воздухѣ, и на душѣ у Курбскаго было такъ легко, такъ хорошо! Погода стояла вѣдь такая солнечная, чисто весенняя; на пригрѣвѣ было совсѣмъ даже тепло, почти по-лѣтнему. За зиму хотя и навалило громадные сугробы снѣга (о вывозѣ его за городъ не было тогда, конечно, и помину), но, подъ дѣй-

ствіемъ весенняго солнца, отъ нихъ остались только жалкія, сѣрыя кучи, съ безчисленными колдобинами и водороинами, по которымъ рѣзво бѣжали и журчали мутные ручейки. На деревянныхъ заборахъ и въ виднѣвшихся за ними безлиственныхъ еще деревьяхъ задорно чирикали и трещали воробьи. И прохожіе на улицѣ словно пробудились отъ долгой спячки: всѣ шли какъ-то особенно бодро, посвистывая, со смѣхомъ перепрыгивая лужи и весело только вскрикивая, когда переложенныя кое-гдѣ доски подъ ногою тяжело хлюпали по водѣ. На всѣхъ лицахъ была написана радость возрожденія: «А вѣдь славно все-таки жить на бѣломъ свѣтѣ!»

Такъ, по крайней мѣрѣ, сдавалось Курбскому. У него самого встрепенулось въ груди давнишнее, насильно заглушаемое имъ чувство. Онъ готовъ былъ опять повѣрить въ возможность собственнаго счастья; а какое счастье было бы для него безъ Маруси? Если Богу угодно, то она, конечно, найдется; надо ему только уповать на милость Господню, молиться о томъ крѣпко, всѣмъ сердцемъ, всѣмъ помышленіемъ...

И онъ уже въ Кремлѣ — въ Архангельскомъ соборѣ, ставитъ свѣчи передъ святыми иконами, прикладывается къ нетлѣннымъ мощамъ угодниковъ Господнихъ и молится, молится, молится, сперва, разумѣется, за нее—за Марусю, но потомъ и за своего царевича, за всѣхъ своихъ доброжелателей и недруговъ: за пана Тарло, Балцера Зидека и кто бы тамъ еще ни былъ.

Когда онъ, наконецъ, вышелъ изъ собора, на душѣ у него былъ такой же миръ и покой, какъ въ самомъ храмѣ. Впервые послѣ долгаго, долгаго времени онъ могъ опять всѣмъ своимъ существомъ отдаться окружающей жизни. А его юный спутникъ только этого и ждалъ, обращалъ его вниманіе на все, что̀ попадалось на глаза.

— Смотри-ка, княже,—указалъ онъ на деревянную мостовую, проглядывавшую уже кое-гдѣ сквозь ледянисто-снѣжную кору:—тутъ все равно, что по полу ходишь. Само-собой, что этакій полъ въ одномъ Кремлѣ.

— А камнемъ здѣсь развѣ совсѣмъ не мостятъ?— спросилъ Курбскій.

— Камнемъ?—удивился Петрусь.—Да гдѣ жъ ты наберешь столько камню, чтобы замостить цѣлый городъ?

— Въ столицѣ польской Краковѣ на всѣхъ лучшихъ улицахъ мостовыя каменныя.

— Овва!

— Вѣрно тебѣ говорю.

— Ты самъ, княже, своими очами видѣлъ?

— Самъ.

— Стало, вѣрно. Ну, да вѣдь то какой ни на есть польскій городишка, а это, на-ка, поди, Москва матушка! какъ пораскинулась! Сто лѣтъ мости—не замостишь.

Каменныхъ мостовыхъ Москва, дѣйствительно, дождалась только безъ малаго черезъ сто лѣтъ, при Петрѣ Великомъ (указъ 1692 г.).

— А вонъ и крючкотворы, чернильныя души!— замѣтилъ Петрусь.

Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь же, подъ открытымъ небомъ, на Ивановской площади разсѣлось за столиками нѣсколько площадныхъ писцовъ, а стоявшій передъ ними безграмотный людъ диктовалъ имъ письма къ роднымъ, либо излагалъ имъ свои нужды для составленія кляузныхъ челобитныхъ или оброчныхъ, мытныхъ, купчихъ и иныхъ актовъ.

Въ Кремлѣ же Петрусь подвелъ своего господина къ царь-пушкѣ. На ней былъ изображенъ царь Ѳедоръ Ивановичъ въ царскомъ облаченіи и со скипетромъ, верхомъ на конѣ. Тутъ Курбскій узналъ отъ своего казачка, что первымъ удовольствіемъ этого царя было звонить въ колокола.

Изъ Кремля они Фроловскими (нынѣ Спасскія) воротами прошли въ Китай-городъ, этотъ торговый центръ столицы. И въ ту пору уже вдоль Красной площади тянулись всевозможные торговые ряды: иконный, колчанный, пушечный, сапожный, красный, хлѣбный, калашный и соляной, рыбный, сельдяной, луковый, медовый, свѣчной и мыльный.

Тутъ же и Лобное мѣсто, гдѣ въ большіе праздники бывало богослуженіе, а также объявлялись народу всякіе царскіе указы. Вокругъ же шалаши да балаганы мелкихъ торговцевъ шапками, рукавицами, кушаками и разною снѣдью.

Замѣтивъ, что Петрусь, облизываясь, заглядѣлся на латокъ разнощика съ разными просто-

народными лакомствами, Курбскій купилъ для него пряниковъ и орѣховъ.

Жуя, грызя и щелкая, мальчикъ тѣмъ не менѣе находилъ время любоваться «небывалой красотой» разноцвѣтныхъ куполовъ церкви Василія Блаженнаго, а также разсказать своему господину о томъ зодчемъ, который создалъ это «великолѣпіе» по приказу Грознаго царя. Къ удивленію его, Курбскій отнесся какъ-будто неодобрительно къ рѣшительной мѣрѣ царя, велѣвшаго выколоть глаза искуснику-зодчему, чтобы тотъ отнюдь не вздумалъ построить такое же чудо для кого-либо другого.

Когда они затѣмъ межъ торговыхъ рядовъ проходили по Ильинкѣ, самъ Курбскій остановился при видѣ одного любопытнаго зрѣлища: посреди улицы нѣсколько цирюльниковъ одновременно занимались стрижкой волосъ и не поспѣвали удовлетворить всѣхъ желающихъ, дожидавшихся своей очереди. Вся улица кругомъ была точно вымощена волосомъ, который никогда, повидимому, не убирался; нога въ немъ утопала, какъ въ пуховикѣ.

— Вся Москва, кажется, стрижется сегодня!—замѣтилъ Курбскій.

— А то какъ же,—отозвался Петрусь: — вѣдь нонѣ же суббота—день банный.

Изъ Китая пройдя въ Бѣлый городъ, они съ Лубянки свернули къ Кузнецкой слободѣ (въ настоящее время—Кузнецкій мостъ). Но гдѣ теперь высятся каменныя громады съ зеркальными окнами

роскошныхъ магазиновъ, тогда стояли лишь простыя лачуги, а сама улица представляла почти непролазныя «великія» грязи.

— Однако, братецъ, въ какую трущобу ты завелъ меня...—сказалъ казачку своему Курбскій.

— Да не самъ-ли ты, княже, пожелалъ узнать Москву, какъ она есть? — оправдывался тотъ.— Спасибо, хоть вся жижа стекаетъ въ рѣку (Неглинной зовутъ) не то совсѣмъ бы проходу не было. Коли тебѣ чего позанятнѣй, такъ сходимъ еще къ Лебяжьему пруду. Какіе тамъ лебеди, я тебѣ доложу,—подлинно царскіе!

И повелъ онъ его топкимъ берегомъ Неглинной и краемъ нынѣшней Театральной площади, гдѣ въ невысыхавшей даже лѣтомъ огромной лужѣ глядѣлось, какъ въ зеркалѣ, нѣсколько вѣтряныхъ мельницъ; потомъ далѣе, вдоль глубокаго рва за Кремлевской стѣной, гдѣ теперь раскинулся великолѣпный Александровскій садъ, а тогда было чуть не сплошное болото, служившее при томъ свалочнымъ мѣстомъ. Поэтому Курбскій былъ радешенекъ, когда они выбрались, наконецъ, къ Лебяжьему пруду. Прудъ настолько очистился уже ото льда, что лебедямъ было гдѣ плавать. Увидѣвъ подходящихъ, они не замедлили подплыть къ берегу, а выползшій изъ своей сторожки инвалидъ-сторожъ вынесъ для нихъ Курбскому нѣсколько ломтей ситника. Заплативъ за хлѣбъ, Курбскій принялся кормить лебедей.

— А мнѣ, княже, тоже можно? — спросилъ Петрусь.

— Разумѣется.

Но мальчикъ, завладѣвъ самымъ большимъ ломтемъ, преспокойно сталъ уплетать его самъ за обѣ щеки.

— Эге! такъ ты это для себя? — улыбнулся Курбскій.

— Да чѣмъ же я хуже лебедя? А тебя, княже, развѣ голодъ еще не пронялъ?

— Не то что голодъ, а жажда. Глотокъ бы воды...

— Зачѣмъ же воды, коли есть медъ да брага?— подалъ голосъ сторожъ.

— Гдѣ, дѣдушка?

— Да вонъ сейчасъ тутъ, около Боровицкихъ воротъ, царское кружало, — буде твоя милость только не погнушается сѣсть за одинъ столъ съ подлымъ народомъ.

Курбскій, проведшій не одинъ годъ среди «подлаго народа», не сталъ гнушаться и пять минутъ спустя, въ сопровожденіи своего казачка, входилъ уже въ кружало.

Кружалами, гдѣ народъ «кружитъ», въ старину назывались попросту питейные дома. Впрочемъ, кромѣ напитковъ, тамъ можно было получать и разнаго рода снѣдь. Поэтому Курбскій, присѣвъ о край длиннаго стола въ красномъ углу, очищенный для него «подносчикомъ», велѣлъ подать чего-нибудь посытнѣе для Петруся, себѣ же потребовалъ только кружку меда.

— А самъ, господинъ честной, ничего не покушаешь? — спросилъ подносчикъ, принеся Пе-

трусю кулебяки, на которую тотъ накинулся голоднымъ волкомъ

— Нѣтъ,—отказался Курбскій, невольно поморщась,—очень ужъ тутъ у васъ душно: дышать нечѣмъ.

— О! это не долго справить.

И расторопный малый поднялъ опускную раму и подперъ ее деревянными подпорками. Съ наслажденіемъ вдыхая струю пахнувшаго снаружи свѣжаго воздуха, Курбскій отпилъ полкружки, а затѣмъ съ любопытствомъ оглядѣлся.

Помѣщеніе кружала было самое незатѣйливое: просторная, но простая бревенчатая изба; нѣсколько покрытыхъ грубыми скатертями столовъ съ некрашенными скамьями безъ спинокъ; въ глубинѣ огромная, неуклюжая печь съ лежанкой, да хозяйская стойка, за которой по всей стѣнѣ полки съ посудой, и тутъ же висящій оловянный умывальникъ съ полотенцемъ—для посѣтителей, желавшихъ умыть руки; но полотенце, повидимому, не первой свѣжести.

Хотя день былъ будній, но часъ былъ положенный обѣденный: въ тѣ патріархальныя времена какъ вельможи, такъ и простолюдье обѣдали въ полдень. Такъ всѣ столы кругомъ были заняты. Шнырявшіе взадъ и впередъ молодые парни-подносчики, въ красныхъ рубахахъ и съ бѣлымъ полотенцемъ подъ мышкой, то и дѣло утирали полотенцемъ потъ, катившійся съ ихъ разгоряченныхъ лицъ въ три ручья, а вслѣдъ затѣмъ, конечно, не задумывались обтирать тѣмъ же по-

лотенцемъ подаваемую посѣтителямъ посудину. Откушавъ, нѣкоторые изъ посѣтителей оставались еще поиграть въ шашки либо въ зернь (игра въ зерна на четъ и нечетъ); большинство же, разомлѣвъ отъ ѣды, отправлялись тотчасъ, по тогдашнему обычаю, домой на боковую,—кто на часокъ, а кто и на два.

Наружныя двери безпрестанно хлопали, выпуская однихъ и впуская другихъ. Такъ, вскорѣ за Курбскимъ, вошли одинъ за другимъ еще двое: толстенькій купчикъ въ охабнѣ синяго сукна съ закинутыми назадъ рукавами и субъектъ неопредѣленной профессіи съ сизымъ носомъ и въ поношенной, кургузой епанчѣ. Купчикъ, быстро оглядѣвшись, поманилъ къ себѣ пальцемъ одного изъ подносчиковъ, сунулъ ему что-то въ руку и кивнулъ на красный уголъ, гдѣ помѣстился Курбскій съ Петрусемъ. Подносчикъ мигомъ очистилъ ему желаемое мѣсто, спровадивъ за дверь сидѣвшаго рядомъ съ казачкомъ сермяжника.

— Что, милый паренекъ. кулебякой балуешься? — отнесся купчикъ съ ласковою важностью къ Петрусю.—Ѣсть можно?

— Ничего себѣ: очень даже хороша...—отвѣчалъ Петрусь съ полнымъ ртомъ.

— Ну, такъ и мнѣ подай-ка кулебяки, да уже сразу два добрыхъ куса, —заказалъ купчикъ подносчику.

— А питія какого твоя милость прикажетъ?— предложилъ подносчикъ. — Есть всякое: ренское, угорское, мальвазія...

— И все-то, я чай, московскаго производства?

— Знамо, московскаго; а то еще какого жъ?

— Эхъ ты, фофанъ! Проваливай! Да куда жъ ты? постой! Нацѣди-ка мнѣ жбанчикъ браги, да смотри, чтобъ играла и пѣнилась, какъ быть слѣдуетъ.

Между тѣмъ кургузый, который уже при входѣ своемъ былъ, казалось, навеселѣ, подошелъ къ стойкѣ. Повелительнымъ голосомъ приказавъ налить чарочку «сивалдая» (сивухи), онъ разомъ опрокинулъ ее въ горло; послѣ чего колеблющеюся, какъ бы порхающею походкой направился туда же, гдѣ пристроился купчикъ.

— Хлѣбъ да соль! — съ пояснымъ поклономъ обратился онъ къ Курбскому, а потомъ и къ купчику.—Званъ быхъ и пріидохъ.

Курбскій показалъ видъ, что не слышалъ; купчикъ же снисходительно усмѣхнулся:

— Кто тебя звалъ, забубенная башка?

— Кто зоветъ добрыхъ людей въ кружало царево, какъ не отечественная хлѣбная слеза?

— Хлѣбная слеза?

— Да, что̀ стараго и малаго подъ тынъ кладетъ. Руси есть веселіе пити—не можетъ безъ того быти. Не примете ли, государи мои, въ свое общество?

— Что жъ, садись, пожалуй, гость будешь,— великодушно снизошелъ за себя и за другихъ купчикъ.—Потѣснитесь, православные.

Занимавшая нижній конецъ стола компанія сѣрыхъ мужичковъ потѣснилась не очень-то охот-

но; но между крайнимъ изъ нихъ и сидѣвшимъ около Курбскаго сухопарымъ, смиреннаго вида мужчиной въ черной «однорядкѣ» (однобортномъ, долгополомъ кафтанѣ безъ ворота) образовалось все-таки достаточное пространство для кургузаго. Считая его уже какъ бы своимъ гостемъ, купчикъ покровительственно спросилъ его, не желаетъ ли онъ тоже какого-либо брашна.

— Ужо виднѣе будетъ,—былъ отвѣтъ.—А для почину выпить бы по чину.

— Хлѣбной слезы? хе-хе-хе! Эй, малецъ, подай-ка хлѣбной. А ты, милый человѣкъ, складно, вижу, говоришь: вѣрно, въ грамотѣ умудренъ?

— Сподобился малость: въ чернилахъ рожденъ, бумагой повитъ, концомъ пера вскормленъ.

— Инако сказать: приказная строка, крапивное сѣмя,—неожиданно выпалилъ тутъ смиренный однорядецъ.

— Ахъ ты, такой-сякой!—оскорбился приказный и ударилъ себя въ грудь кулакомъ.—Я самъ себя хоть кормлю, а ты при чемъ состоишь?

— Я-то?

— Да, ты.

— При христіанскомъ тоже дѣлѣ—при монастырѣ.

— Да вѣдь не монашествующій?

— Нѣтъ еще... Въ смиренномудріи и покорствѣ судьбѣ спасаюсь покуда лишь отъ коловратностей жизни....

— И зубами за другихъ работаешь?—насмѣшливо перебилъ приказный:—тоже святъ мужъ—

монастырскій захребетникъ! Только пеленой обтереть да въ рай пустить.

Даже мужичковъ смѣхъ взялъ. Самъ смиренникъ готовъ былъ, кажется, окрыситься; но купчикъ принялъ его сторону.

— Ну, полно, милый человѣкъ,—замѣтилъ онъ насмѣшнику.—Захудалъ, вишь, отъ «коловратностей»; дай нагулять себѣ тѣло. Все же не совсѣмъ пустосвятъ, монастырю своему вѣренъ, не какой ни на есть бѣглый разстрига, Гришка Отрепьевъ.

— Гмъ...—промычалъ приказный и, лукаво подмигивая однимъ глазомъ, спросилъ пониженнымъ голосомъ: — А твое степенство какъ насчетъ онаго Отрепьева смекаешь?

— Т. е. какъ смекаю?

— Да какъ ты его понимаешь? Точно-ли онъ простой разстрига?

— Коли самимъ благовѣрнымъ царемъ нашимъ всенародно объявлено...

— Да для чего, спроси, объявлено?

— Для чего?

— Можетъ, для того, чтобы глаза отвести. Молва ходитъ, говоръ бродитъ; гдѣ наткнется, тамъ и приткнется.

И, какъ бы въ разсѣянности схвативъ стоявшій передъ купчикомъ жбанъ съ брагой, приказный присосался къ нему, пока не вытянулъ доброй половины, послѣ чего окинулъ окружающихъ смѣлымъ взглядомъ и прищелкнулъ языкомъ.

Всѣмъ, казалось, стало какъ-будто не по се-

бѣ. Особенно же струхнулъ монастырскій захребетникъ.

— Владыко живота моего!—пробормоталъ онъ, крестясь.—Все это пустобрешество...

Но захмѣлѣвшій приказный, какъ борзый конь, принятый въ шенкеля, закусилъ уже удила.

— Пустобрешество? — подхватилъ онъ. — Га! Ужъ коли на то пошло, то скажу прямо: хоть и объявленъ тотъ человѣкъ разстригой Отрепьевымъ, а взаправду-то онъ вовсе не разстрига, да и не Отрепьевъ...

— Прекрати! — прервалъ его опять захребетникъ.—Видно, ты о двухъ головахъ.

— Чѣмъ тяжеле языкъ, тѣмъ легче рѣчи,— замѣтилъ купчикъ.—Мало ли кто себя за кого выдаетъ! А коли приказано намъ почитать его за самозванца...

— Приказано! — вскинулся охмѣлѣвшій. — Нешто мыслямъ своимъ что̀ прикажешь?

— Такъ кто же то по-твоему?

— Кто? Да я живъ быть не хочу, коли то не подлинный царевичъ Димитрій! Потолкуемъ съ тобой вразумительно. Будь онъ просто бѣглый разстрига, такъ зачѣмъ бы великому государю трепетать его, какъ буки, нарочито посланіями разувѣрять народъ?

— Да что̀, и правда вѣдь... А ты какъ полагаешь, господинъ честной? — обратился купчикъ къ Курбскому.

До сихъ поръ Курбскій не вмѣшивался въ разговоръ, хотя сердце въ немъ учащенно билось.

Но на такой прямой вопросъ отречься отъ своего царевича—казалось ему постыднымъ малодушіемъ. И у него, точно его кто толкнулъ, само собой слетѣло съ языка:

— Для меня-то онъ несомнѣнный царевичъ Димитрій.

Петрусю давно уже не терпѣлось вставить свое слово, и онъ хвастливо договорилъ за своего господина:

— Мы близкіе ему люди и нарочно присланы отъ него въ Москву.

Отъ такой излишней болтливости казачка Курбскаго покоробило — не со страху за себя лично, а потому что онъ словно бы превысилъ данное ему царевичемъ полномочіе. Смутились, видимо, и мужички; а монастырскій захребетникъ разомъ вскочилъ изъ-за стола.

— Куда, братъ?—спросилъ приказный, хватая его за рукавъ.

— Блаженъ иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ.—отвѣчалъ тотъ, тщетно стараясь высвободить свой рукавъ.

— Постой, погоди! Ты слышалъ вѣдь сейчасъ, что господинъ этотъ и холопъ его подосланы сюда самозванцемъ и прямо называютъ его царевичемъ Димитріемъ? И вы тоже слышали, православные?

Отвѣта ни отъ кого не послѣдовало. Но общее глухое молчаніе служило какъ бы отвѣтомъ.

Махнувъ рукой нѣсколькимъ стрѣльцамъ, си-

дѣвшимъ за однимъ изъ сосѣднихъ столовъ, приказный зычно гаркнулъ на все кружало:

— Слово и дѣло!

Слишкомъ хорошо извѣстенъ былъ всей Москвѣ этотъ страшный окрикъ отечественной инквизиціи — тайнаго сыскного приказа. Стрѣльцы не замедлили нагрянуть и окружить Курбскаго и Петруся; остальные посѣтители кружала, сколько ихъ ни было, точно также всполохнулись. Но приказный предупредилъ ихъ:

— Стой! Никто покуда ни съ мѣста! А теперь, сударикъ мой,—обернулся онъ къ Курбскому, доставая изъ кармана пару желѣзныхъ наручниковъ,— пожалуй-ка сюда твои рученьки.

— Ни за что!

И Курбскій схватился за саблю. Неизвѣстно, чѣмъ бы окончилась эта неравная борьба, не вступись въ дѣло второй сыщикъ—купчикъ.

— Не замайте его, ребята,— сказалъ онъ.— Его милость — человѣкъ разсудливый: попусту чинить противленіе не станетъ. Сила солому ломитъ, господинъ честной; усугублять свою вину пролитіемъ крови вѣрныхъ слугъ государевыхъ ты вѣдь не похочешь? А мы тебя избавимъ отъ сихъ ручныхъ украшеній, буде ты добровольно сдашь намъ свое оружіе.

Что оставалось Курбскому, какъ не покориться обстоятельствамъ?

Не долго упирался теперь и монастырскій захребетникъ, котораго сыщики признали нужнымъ,

вмѣстѣ съ двумя мужичками, прихватить тоже съ собой на случай, что «востребуются какія-либо вопрошанія».

— Скорпіоны, аспиды! — ворчалъ онъ только сквозь зубы. — Я нѣмотствую и умываю руцѣ въ неповинныхъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Кончина Годунова и бѣгство Курбскаго.

Бояринъ или боярскій сынъ, ведомый по улицѣ стрѣльцами, какъ обыкновенный преступникъ,—это было и тогда явленіемъ незаурядным; а потому рѣдкій прохожій не оглядывался на Курбскаго, возбуждавшаго при томъ своимъ молодцоватымъ и благороднымъ видомъ невольное сочувствіе. Иные, посмѣлѣе, обращались къ конвойнымъ съ вопросомъ, за что̀, молъ, его взяли и куда ведутъ. Но тѣ отгоняли ихъ рѣзко и сурово:

— Пошли, пошли, пока самихъ не забрали!

Разъ до слуха Курбскаго донеслось и соболѣзнованіе какой-то женщины:

— Ахъ, ты родненькій, красавчикъ этакій! Нешто такой можетъ быть злодѣемъ! Помоги тебѣ Господи и Микола заступникъ!

Краска стыда заливала щеки Курбскаго, и онъ вздохнулъ съ облегченіемъ, когда, наконецъ, очутился въ мрачной и непріютной пріемной сыскного приказа (находившагося въ Кремлѣ, около Архангельскаго собора).

— Что̀, самъ тутъ?—справился приказный у дневальнаго стража.

На утвердительный отвѣтъ, онъ юркнулъ въ боковую дверь; товарищъ его—слѣдомъ за нимъ.

Въ это время откуда-то снизу, точно изъ-подъ пола, донеслись какіе-то отрывистые крики и глухіе стоны.

— Что̀ тамъ такое?—справился Петрусь шопотомъ у своего господина.—Ужъ не застѣнокъ ли?

— Надо быть, что такъ: кого-нибудь, знать, пытаютъ,—отвѣчалъ Курбскій.—Но ты, милый, не бойся: тебя я на этотъ разъ не дамъ въ обиду.

— О! съ тобой, княже, мнѣ ничуть не страшно. А станутъ пытать, хошь всѣ жилы вытянутъ,—ни отъ тебя, ни отъ царевича нашего не отступлюсь.

Тутъ въ дверяхъ показался какой-то жиденькій, невзрачный человѣчекъ въ забрызганномъ чернилами кафтанѣ съ высокимъ козыремъ (стоячимъ воротомъ); за ухомъ у него торчало гусиное перо; у пояса болталась на цѣпочкѣ мѣдная чернильница. Но чего ему недоставало въ ростѣ и во всей внѣшности, то онъ старался восполнить своей пѣтушиной осанкой и заносчивымъ обращеніемъ. Едва удостоивъ арестованныхъ косого взгляда, онъ объявилъ стрѣльцамъ:

— Нынче допроса не будетъ: посадить ихъ въ яму!

Курбскій вспыхнулъ и выступилъ впередъ.

— Позволь узнать,—спросилъ онъ,—чье это приказаніе?

Тотъ оглядѣлъ его теперь нахально съ головы до ногъ.

— Чье приказаніе? Да хоть бы мое!

— Такъ, видно, ты самъ бояринъ князь Татевъ, что̀ начальствуетъ въ приказѣ?

— Не самъ бояринъ, вѣстимо...

— А не самъ, такъ только подначальный его письмоводчикъ, дьякъ?

Слово «только» задѣло зазнавшагося дьяка за живое. Но рѣшительный видъ и могучая фигура Курбскаго не позволили ему слишкомъ возвысить тонъ.

— Боярина нашего здѣсь нѣту, — буркнулъ онъ:—крѣпко занедужилъ...

— Такъ ли? Сейчасъ вотъ только дневальный говорилъ, что онъ здѣсь.

— Ты что жъ это, чортовъ сынъ?—напустился дьякъ на дневальнаго:—болтаешь зря, когда строго воспрещено...

— Помилуй, кормилецъ!—взмолился тотъ.— Коли сыщикъ спрашиваетъ, такъ какъ же скрыть-то?

— Ладно! Съ тобой разговоръ впереди. Такъ изволишь видѣть,—обратился дьякъ опять къ Курбскому:—боярина будто здѣсь и нѣту.

— Все-таки, пойди, доложи: не тебѣ обо мнѣ рѣшать.

— Но ему, слышалъ вѣдь, неможется. Нынче

въ сборѣ вся боярская дума: государь принимаетъ иноземныхъ пословъ; а бояринъ мой, вишь, отговорился; если жъ и пожаловалъ сюда, въ приказъ, то ради совсѣмъ неотложнаго дѣла.

— Для пристрастнаго допроса?

Новый искрометный взглядъ въ сторону дневальнаго. Но Курбскій выгородилъ послѣдняго:

— Этого-то онъ мнѣ не выдавалъ; выдалъ самъ пытаемый. Вонъ, слышишь?

Въ самомъ дѣлѣ, изъ-подъ пола, какъ и прежде, долетѣлъ отчаянный, какъ бы предсмертный вопль.

— Дурачье! не могутъ утихомирить...—прошипѣлъ дьякъ.—Да что́ же мнѣ доложить отъ тебя боярину?

— Доложи, что я такой же полномочный посолъ, какъ и тѣ, и что за всякое насиліе надо мной ему не сдобровать.

— Та́къ вотъ ему и скажешь!

— А не скажешь, такъ тебѣ же первому быть въ отвѣтѣ.

Какъ ни былъ опытенъ дьякъ въ самыхъ кляузныхъ вопросахъ, но тутъ сталъ втупикъ. Машинально взявъ изъ-за уха перо, онъ бородкою его въ раздумьи почесалъ себѣ переносицу, а затѣмъ, круто повернувшись на каблукахъ, удалился. Прошло не мало времени, когда онъ опять вернулся, чтобы провести Курбскаго и его казачка въ сосѣдній покой, гдѣ они застали уже обоихъ сыщиковъ.

*

Вслѣдъ затѣмъ изъ противоположныхъ дверей вошелъ самъ начальникъ тайнаго сыскного приказа, бояринъ князь Татевъ. Шелъ онъ вперевалку, шаркая подошвами, словно ногамъ его было не подъ силу нести его грузное тѣло; а болѣзненно-желтый, какъ бы отъ разлитія жолчи, цвѣтъ его обрюзглаго и злого лица, въ особенности же сильный кашель, одолѣвшій его съ первыхъ же словъ, наглядно подтверждали, что ему, дѣйствительно, нездоровится.

Свысока чуть-чуть кивнувъ головой на поклонъ Курбскаго, онъ приступилъ прямо къ допросу:

— Ты называешь себя Курбскимъ?

— Да, я князь Михайло Курбскій, полномочный посланецъ царевича Димитрія...

— Такого царевича нѣтъ...

— Для тебя, бояринъ, покуда нѣтъ, но скоро, повѣрь мнѣ, будетъ. Самъ царь твой Борисъ Ѳедоровичъ принялъ меня какъ его посланнаго...

— Но разорвалъ его грамату!

— А! такъ ты былъ тоже при этомъ? Сталобыть, ты слышалъ самъ, что царь велѣлъ мнѣ ждать его отвѣтную грамату, а посему безъ него надо мною здѣсь не можетъ быть никакой расправы. Коли же я, по-твоему, въ чемъ виноватъ, то идемъ сейчасъ къ самому царю.

Вѣжливый, но рѣшительный тонъ Курбскаго, возражавшаго грозному допросчику смѣло, не моргнувъ ни однимъ глазомъ, остался не безъ дѣйствія.

— Гмъ...—промычалъ Татевъ, обводя комнату

исподлобья свирѣпымъ взглядомъ.—Допрежь того во всякомъ разѣ я долженъ допросить тебя...

— Понапрасну, бояринъ, станешь только утруждать себя,—прервалъ Курбскій.—Я не присягалъ царю Борису и не обязанъ отвѣчать кому-либо изъ его бояръ; самому же царю я готовъ держать отвѣтъ. Веди меня къ нему.

Стоявшій въ почтительномъ разстояніи позади своего начальника дьякъ приблизился теперь къ нему на цыпочкахъ и началъ что-то ему настоятельно нашоптывать. Напряженный слухъ Курбскаго подхватилъ послѣднія слова:

— ...не дай Богъ его теперь прогнѣвить! Ну, а коли самъ ужъ прикажетъ подвергнуть законному истязанію...

— Будь такъ,—согласился, видимо неохотно, Татевъ.—Мнѣ придется вѣдь еще заѣхать къ себѣ обрядиться...

И въ сердцахъ онъ посулилъ кому-то дьявола.

— А этихъ вотъ,—спросилъ дьякъ, указывая на нашихъ арестантовъ,—отправить во дворецъ?

— Безпромедлительно! И со свидѣтелями. Самъ бы, кажись, могъ догадаться. Не малый ребенокъ!

И, злобно фыркая, бояринъ закутался плотно въ поданную ему дорогую шубу, нахлобучилъ до бровей пышную соболью шапку и вышелъ на крыльцо, чтобы сѣсть въ дожидавшійся его тамъ собственный возокъ.

Когда затѣмъ Курбскій съ Петрусемъ, съ тремя свидѣтелями и обоими сыщиками, подъ тѣмъ же стрѣлецкимъ конвоемъ, подходилъ ко дворцу,

здѣсь стояло нѣсколько такихъ же боярскихъ возковъ и саней; впереди же всѣхъ красовался раззолоченный сверху до низу возокъ, запряженный шестерней бѣлой масти цугомъ (съ двойнымъ выносомъ) въ сверкающей серебромъ упряжи.

«Посольскій возокъ!» сообразилъ Курбскій.— «Значитъ, послы еще во дворцѣ, и есть время обдумать, что̀ сказать Годунову».

Но обдумывать ему было уже нечего. Едва лишь вошли они въ обширныя сѣни-вестибюль и стали въ сторонкѣ, въ ожиданіи прибытія князя Татева, какъ главныя двери во внутренніе царскіе покои шумно растворились, и оттуда не столько выбѣжали, сколько вылетѣли двое мужчинъ въ праздничной иноземной одеждѣ. Очевидно, то были сами послы (датскіе, какъ узналъ впослѣдствіи Курбскій). Ихъ разгоряченныя, растерянныя лица, а также та неподобающая ихъ званію торопливость, съ какою они приняли поданное имъ верхнее платье, чтобы безъ оглядки затѣмъ вырваться на вольный воздухъ, показывали, что произошло что-то совсѣмъ необычайное. Подтверждалось это и тѣмъ переполохомъ, который одновременно поднялся во всемъ дворцѣ, загудѣвшемъ, какъ роящійся улей. Двери то и дѣло хлопали; черезъ сѣни взадъ и впередъ перебѣгали и слуги и высшіе чины, метались какъ угорѣлые и, сшибаясь другъ съ другомъ, не думали извиняться. Изъ общаго гомона голосовъ можно было разобрать только одно:

— Государь умираетъ! Да гдѣ жъ эти проклятые лѣкаря? Бѣгите, зовите лѣкарей!

А вотъ и одинъ изъ нихъ, почтенный, бритый старичокъ. Нѣсколько рукъ сразу сорвали съ него плащъ и не дали ему даже оправить фалды своего долгополаго, чернаго кафтана.

— Скорѣй, мейнъ герръ, скорѣй: того и гляди, истечетъ кровью...

— O, Gott! was soll das werden? (О Боже! что-то будетъ?)—бормоталъ про себя старичокъ и опрометью побѣжалъ впередъ, сѣменя своими высохшими, какъ палки, ножками въ черныхъ, до колѣнъ, чулкахъ и башмакахъ съ серебряными пряжками.

Курбскій какъ-то уже слышалъ, что Годуновъ давно страдаетъ безсонницей и ломотой въ ногахъ (подагрой), что съ году на годъ, можно сказать, со дня на день онъ становится раздражительнѣе; но что тѣлеснымъ складомъ онъ еще крѣпокъ. Такъ съ чего бы теперь вдругъ?.. Знать, тому какая-нибудь особая причина. Отъ кого бы узнать?

Тутъ въ дверяхъ появился Басмановъ и повелительно крикнулъ:

— Позвать къ государю святѣйшаго патріарха, да чтобы сейчасъ былъ здѣсь! слышите?

Нѣсколько слугъ со всѣхъ ногъ бросилось исполнить приказаніе царскаго любимца. Самъ онъ повернулся было, чтобы уйти, когда на глаза ему попался выдвинувшійся впередъ Курбскій.

— Князь Михайло Андреичъ!—удивился онъ и подошелъ ближе. — Ты подъ стражей? Что это значитъ?

— Это значитъ, что уличенъ въ измѣнѣ,— отвѣчалъ съ самодовольствомъ сыщикъ-приказный.

— Тебя не спрашиваютъ!—сухо оборвалъ его Басмановъ; затѣмъ снова обратился къ Курбскому:— не сказался-ли ты сторонникомъ того человѣка, что̀ выдаетъ себя за царевича Димитрія?

— Да, отрекаться отъ него мнѣ, посланцу его, не приходилось. А что̀ такое, скажи, бояринъ, съ царемъ-то? Не вышло ли у него чего съ этими иноземными послами?

— Охъ, ужъ эти мнѣ послы! Упившись зѣло виномъ, заспорили съ государемъ, какъ съ равнымъ себѣ, стали требовать совсѣмъ несуразнаго...

— Такъ было это за обѣденнымъ столомъ?

— Да, въ Золотой палатѣ. Государь же, крѣпко на нихъ осерчавъ, въ гнѣвѣ своемъ вскочилъ съ престола, да вдругъ какъ грохнется на полъ... Кровь изъ носу, изъ глазъ, изъ ушей...

— И о сю пору онъ все тамъ же еще, въ палатѣ?

— Нѣтъ, его подняли, перенесли въ опочивальню; но по всему-то пути за нимъ кровь да кровь...

Тутъ Басмановъ словно спохватился, что сказалъ, пожалуй, лишнее. Кивнувъ Курбскому со словами: «Ужо еще увидимся», онъ быстро удалился.

Патріаршій дворъ находился рядомъ съ царскимъ дворцомъ; поэтому не прошло и десяти минутъ, какъ наружныя двери снова раскрылись, чтобы впустить его святѣйшество съ напутствую-

щимъ его старшимъ церковнымъ клиромъ. Патріархъ Іовъ былъ первымъ изъ московскихъ патріарховъ, избраннымъ (въ царствованіе Ѳедора Ивановича въ 1589 г.) не въ Царьградѣ, а въ самой Москвѣ, всероссійскимъ соборомъ. Преклонный возрастъ и строго-схимническій образъ жизни наложили печать «не отъ міра сего» на его высохшее, изборожденное морщинами лицо и впалые глаза. Но свою убѣленную рѣдкими прядями волосъ и покрытую митрой голову онъ несъ высоко. Держа въ правой рукѣ золотое распятіе, онъ лѣвою почти не упирался на свой патріаршій жезлъ. Если его и вели подъ руки два видныхъ архіерея, то скорѣе для почета. На ходу благословляя преклонявшихся передъ нимъ мірянъ, онъ прослѣдовалъ далѣе, сопутствуемый тремя митрополитами: Іоной—со святыми дарами, Ермогеномъ и Исидоромъ. Какою благоговѣйною любовью пользовался святитель у москвичей, можно было судить уже потому, какъ заговорили теперь объ немъ всѣ оставшіеся въ сѣняхъ; при чемъ одни восхищались его лазоревымъ атласнымъ облаченіемъ и золотой митрой, разукрашенной жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями, а другіе препирались относительно его жезла: былъ-ли то жезлъ воскресный или панихидный.

Курбскій былъ, однако, слишкомъ взволнованъ, чтобы вслушиваться въ эти разговоры. Объ немъ самомъ какъ-будто всѣ забыли. Не замѣтилъ его и князь Татевъ, прибывшій, наконецъ, ради него же изъ дому. Отъ быстраго перехода сперва

изъ тепла собственнаго дома на свѣжій воздухъ, а затѣмъ съ улицы въ теплыя сѣни дворца, бояринъ жестоко раскашлялся. Пока съ него снимали шубу, ему наскоро доложили о случившемся, и онъ, все еще кашляя, поспѣшилъ въ царскую опочивальню. Что̀ за дѣло, право, было ему теперь до какого-то уличеннаго преступника, хотя бы и княжескаго рода, когда самъ царь лежалъ на смертномъ одрѣ!

А царю становилось, видно, все хуже: подначальные придворные чины и слуги продолжали шмыгать взадъ и впередъ съ перепуганными лицами, таинственно перешоптываться между собой. Такъ время шло да шло...

— Смотри-ка, княже, тотъ боярскій сынъ съ медвѣжьей ямы, Бутурлинъ,—шепнулъ Курбскому Петрусь.—Не тебя ли онъ ищетъ?

Показавшійся на порогѣ Бутурлинъ, дѣйствительно, искалъ кого-то глазами, завидѣвъ же Курбскаго, направился прямо къ нему.

— Здорово, милый князь,—сказалъ онъ.—Гдѣ встрѣтиться-то довелось! Пожалуй-ка за мною.

— Куда, смѣю спросить?—вмѣшался тутъ сыщикъ-приказный.

— Куда велѣно.

— Да кѣмъ велѣно-то? Княземъ Татевымъ?

Бутурлинъ вымѣрилъ сыщика взглядомъ, полнымъ нескрываемаго презрѣнія.

— Не княземъ Татевымъ, а кое-кѣмъ, можетъ, еще повыше: бояриномъ Петромъ Ѳедоровичемъ Басмановымъ.

Имя побѣдоноснаго воина и новаго фаворита

имѣло уже магическую силу. При всей своей наглости, сыщикъ нехотя преклонился передъ этимъ именемъ и отступилъ назадъ.

— А я-то что же?—спросилъ Петрусь?..

Бутурлинъ теперь только узналъ казачка и привѣтливо кивнулъ ему головой.

— Ахъ, это ты? Ну, конечно, куда господинъ, туда и слуга.

Такъ они втроемъ безпрепятственно цѣлымъ рядомъ палатъ и полутемныхъ переходовъ прошли весь дворецъ, пока не вышли на заднее крыльцо. Здѣсь Бутурлинъ опасливо оглядѣлся; но кругомъ не было ни души. Кому, въ самомъ дѣлѣ, была охота сторожить какое-то заднее крыльцо, когда внутри дворца совершалось событіе, которое должно было перевернуть весь прежній строй придворнаго быта!

— Ну, прощай, князь,—сказалъ съ чувствомъ Бутурлинъ.—Гдѣ-то судьба дастъ еще свидѣться!

— Какъ такъ?—спросилъ, недоумѣвая, Курбскій.—Вѣдь ты сейчасъ говорилъ, что ты отъ Басманова?

— Да, я провелъ тебя сюда по его приказу; но для того, чтобы ты могъ тихомолкомъ выбраться на улицу, а тамъ—куда хочешь, на всѣ четыре стороны. Самому ему нельзя теперь отойти отъ умирающаго государя...

При этихъ словахъ юноша всхлипнулъ, и изъ глазъ его брызнули слезы.

— Ты не дивись, что я плачу,—продолжалъ

онъ, утирая глаза. —Но государь былъ ко мнѣ всегда такъ милостивъ...

— А развѣ ему навѣрное не выжить?

— Гдѣ ужъ! Еле поспѣлъ проститься съ царицей, съ царевичемъ, съ царевной, благословить царевича на царство, а потомъ воспріять схиму...

— Его постригли уже въ монахи?

— Да, съ именемъ Боголѣпа. При мнѣ же онъ впалъ въ безпамятство и стали его соборовать. Ахъ, Богъ Ты мой! мы съ тобой заболтались; а тебя могутъ хватиться. Бѣги, голубчикъ князь, спасайся, и чтобы сегодня же, смотри, въ Москвѣ духу твоего не было.

— Нѣтъ, я остаюсь,—съ рѣшительностью объявилъ Курбскій.—Прежде, чѣмъ царевичъ Ѳедоръ возложитъ на себя вѣнецъ царскій, я переговорю съ нимъ, и онъ уступитъ, долженъ уступить вѣнецъ подлинному сыну царя Ивана Васильевича!

— Если недоброхоты твои тебя до него допустятъ!—возразилъ Бутурлинъ.

— Да какъ они посмѣютъ меня не допустить? Я скажу тому же Басманову...

— Бояринъ Басмановъ пожалѣлъ тебя, точно; но въ боярской думѣ онъ еще не верховодитъ.

— Да, наконецъ, самъ царевичъ Ѳедоръ, какъ только ему доложатъ обо мнѣ...

— Царевичъ Ѳедоръ еще меня моложе на два года; хоть и пожелалъ бы, сможетъ ли онъ итти противъ всѣхъ стариковъ-бояръ? А еще вѣрнѣе, что онъ ничего про тебя и знать-то не будетъ; отъ него просто скроютъ...

— И впрямь вѣдь, княже,—вмѣшался тутъ въ разговоръ Петрусь. — Чего намъ съ тобою еще ждать-то? Чтобы насъ забрали опять въ сыскной приказъ, стали пытать въ застѣнкѣ, а коли выживемъ, такъ упекли бы за тридевять земель?

— А это весьма даже можетъ статься,—поддержалъ Бутурлинъ.—Задачу свою здѣсь ты вѣдь исполнилъ, грамату свою сбылъ съ рукъ...

— Но отвѣтной отписки никакой не имѣю...— колебался еще Курбскій.

— Да кто тебѣ ее здѣсь теперь дастъ-то?

— Однако вернуться эдакъ къ моему царевичу ни съ чѣмъ...

— По крайности вернешься невредимымъ,— продолжалъ убѣждать Петрусь. —Царевичъ тебя, я чай, въ Путивлѣ ждетъ не дождется. Уберемся-ка, право, по добру по здорову. Гайда!

Курбскій не сталъ уже долѣе настаивать на своемъ и обнялся на прощанье съ Бутурлинымъ.

Съ задней площади дворца, позади Благовѣщенскаго собора, Курбскій съ своимъ казачкомъ, никѣмъ не замѣченный, выбрался изъ Кремля Шешковскими воротами на Москву-рѣку, чтобы берегомъ своротить къ Бѣлому городу.

Въ эту минуту съ высотъ Ивановскаго столпа раздался протяжный погребальный звонъ; въ отвѣтъ ему тотчасъ же загудѣли всѣ сорокъ сороковъ Бѣлокаменной, сотрясая воздухъ на десятки верстъ въ окружности непрерывнымъ зловѣще-заунывнымъ гуломъ.

— Скончался!—проговорилъ Курбскій и, снявъ шапку, набожно перекрестился.

Братьевъ Биркиныхъ онъ не засталъ дома: раньше вечера ихъ не ожидали изъ торговыхъ рядовъ въ Китай-городѣ, гдѣ у старшаго брата были двѣ собственныя лавки.

Платониду Кузьминишну внезапная вѣсть о томъ, что царя Бориса не стало, поразила какъ громомъ. Когда же Курбскій еще объявилъ ей о своемъ рѣшеніи не медля убраться изъ Москвы, толстуха совсѣмъ голову потеряла.

— Ай, матушки-свѣты! Владычица Небесная! Бѣда бѣду родитъ! Да какъ же такъ безъ Ивана Маркыча? Изъ воли его я выйти не смѣю. Нѣтъ, голубчикъ князь, какъ хочешь, а безъ него я тебя не пущу. Ахъ, ахъ! прогнѣвили мы, знать, Господа... Да будетъ Его святая воля!

Курбскому стоило не малаго краснорѣчія вразумить ее, что ему необходимо воспользоваться тѣмъ временемъ, что сыщики еще во дворцѣ и не выслѣдили его снова.

— А ну, какъ насъ-то здѣсь опосля притянутъ за то къ Іисусу?

— За что? Да они и знать не будутъ, что я заходилъ еще домой. Но выбраться отъ васъ мнѣ надо все-таки съ опаской и бережью. Кабы у тебя, матушка, нашлась для меня какая-нибудь одёжа попроще...

— А и въ самомъ дѣлѣ! Для странниковъ Божьихъ у меня одёжи на всякій ростъ припасено. Сейчасъ тебя обрядимъ...

Обрадованная счастливой мыслью, толстуха выкатилась бочкой изъ комнаты.

И точно, въ ея богатомъ запасѣ отыскалось какъ для Курбскаго, такъ и для Петруся, все, что нужно было: странническое облаченье, скуфья, котомка и посохъ.

— А обличьемъ все же не странникъ! — замѣтила Платонида Кузьминишна, озабоченно оглядывая Курбскаго; — изъ себя больно статенъ и пригожъ...

— Ну, это-то не долго справить,—сказалъ Петрусь.—Садись-ка, княже; я тебя живой рукой состарю.

Доставъ изъ печки золы и уголекъ, онъ золою навелъ своему господину на здоровый румянецъ щекъ сѣрую тѣнь, а угольком провелъ ему на лбу и около угловъ рта рѣзкія морщины. Сдѣлалъ онъ это настолько искусно, что Платонида Кузьминишна руками всплеснула.

— А ей-ей вѣдь не узнать: старикъ старикомъ!

— Теперь только одёжу подновить,—сказалъ Петрусь и новой порціей золы перепачкалъ Курбскому платье сверху до низу. — Лучше не надо! Вотъ тебѣ и посохъ въ руки. Покажи-ка, старче, не разучился-ли ходить. Э, нѣтъ! Нешто старые люди такимъ орломъ выступаютъ? Сгорби спину-то, ниже, ниже! А ноги переставляй какъ деревяшки. Ну, такъ; вотъ, вотъ!

— И смѣхъ и грѣхъ!—говорила, качая головой, Платонида Кузьминишна.—А ты, князь, теперича куда отселѣ?

— Въ Путивль, матушка, — отвѣчалъ Курбскій.—Тамъ, слышно, стоитъ съ своей ратью царевичъ Димитрій.

— Въ Путивль! Вотъ подлинно: никто не можетъ, такъ Богъ поможетъ!

— А что?

— Да вѣдь у меня тутъ заправскій странничекъ (вечоръ забрелъ), что̀ туда же путь держитъ. Убогій человѣкъ, не въ своемъ, кажись, разумѣ: одинъ, того гляди, пропадетъ! До ночи вмѣстѣ съ нимъ мы Богу молились, чтобы послалъ ему добраго попутчика, — анъ вотъ и нашелся! Вѣдь ты, князь, не откажешься взять его съ собой?

— Ну, что жъ, коли ему туда же, такъ отчего не взять.

Когда, однако, хозяйка привела къ нему будущаго попутчика, Курбскій готовъ былъ уже раскаяться, что согласился: такъ былъ на видъ онъ старъ и дряхлъ.

— Буди благословенъ, сынъ мой! —прошамкалъ старецъ, поправляя дрожащими руками котомку за спиною.—Пособи-ка подтянуть покрѣпче...

— Да донесутъ ли тебя, дѣдушка, ноги до Путивля?—спросилъ Курбскій.—Вѣдь туда слишкомъ семьсотъ верстъ.

— Доплелся сюда изъ Углича, такъ съ Божьей помощью и до мѣста доплетусь.

— Изъ Углича?—переспросилъ Курбскій.—Гдѣ будто бы убитъ былъ царевичъ Димитрій?

Странникъ въ свою очередь воззрился на него своими тусклыми глазами.

— Такъ, стало, это вѣрно, что онъ еще живъ и здравъ?

Курбскій объяснилъ, что возвращается именно къ царевичу.

— Да будешь же ты мнѣ, сынъ мой, путеводной звѣздой! Лишь бы узрѣть мнѣ его опять своими очами...

— А ты, дѣдушка, зналъ его еще въ Угличѣ?

Старикъ, точно не слыша, молитвенно шевелилъ губами и крестилъ себѣ лобъ и грудь. Курбскій долженъ былъ повторить свой вопросъ.

— Мнѣ ли было его не знать! — отвѣчалъ странникъ.—Мнѣ ли было его не знать!

— Но ты самъ-то кто, скажи?

— Я-то кто? Видишь: убогій странникъ Божій.

— Но въ ту пору былъ чѣмъ въ Угличѣ?

— Въ ту пору въ Угличѣ?.. Огурцомъ былъ.

— Огурцомъ?—повторилъ, недоумѣвая, Курбскій.—Да звать-то тебя какъ?

— Такъ и зови. Былъ Огурцомъ и остался Огурцомъ.

Платонида Кузьминишна изъ-за спины старца указала Курбскому на лобъ свой: на вышкѣ, молъ, у бѣдняги не въ порядкѣ, изъ ума выжилъ. Тутъ Петрусь напомнилъ своему господину, что пора, однако жъ, и въ путь-дорогу; и пять минутъ спустя три наши странника пробирались уже глухими закоулками къ Калужской заставѣ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Кто былъ Огурецъ и чѣмъ кончилась его встрѣча съ царевичемъ.

Въ послѣднихъ числахъ того же апрѣля мѣсяца, въ городѣ Путивлѣ названный царевичъ Димитрій цѣлый вечеръ совѣщался опять съ двумя безотлучными теперь совѣтчиками своими—іезуитами Николаемъ Сѣраковскимъ и Андреемъ Ловичемъ. На столѣ передъ ними была разложена большая карта Стараго Свѣта. Наклонившись надъ картой, Димитрій показывалъ патерамъ окружный морской путь вокругъ Африки на Индію.

— Вѣдь имъ, сами видите, приходится каждый разъ огибать вотъ мысъ Доброй Надежды, — говорилъ онъ, — а намъ изъ Москвы прямехонько черезъ Астрахань и Каспій.

— Но отъ Каспія еще черезъ всю Персію, — возразилъ Сѣраковскій.

— Да что̀ Персія! развѣ Александръ Великій не перешагнулъ ее точно также почти безъ всякой задержки?

— М-да,—протянулъ патеръ, обмѣниваясь съ своимъ младшимъ собратомъ многозначительнымъ взглядомъ.—Но Александръ Великій не засиживался три мѣсяца слишкомъ безъ движенія въ Путивлѣ.

Это было не въ бровь, а въ глазъ; царевичъ такъ и вспыхнулъ.

— Отъ васъ, clarissime, я, кажется, менѣе всего заслужилъ бы такой упрекъ! Если я съ нашими слабыми силами не трогался до сихъ поръ съ мѣста, то не по вашему-ли совѣту?

— Вѣрно... Московское войско вѣдь во много разъ сильнѣе нашего...

— И все-таки за тѣ же три мѣсяца не можетъ взять Кромъ! Значитъ, пока мы ничего не потеряли...

— А время для его царскаго величества между тѣмъ не пропало безплодно,—вступился тутъ патеръ Ловичъ:—мы усердно упражнялись въ наукахъ...

— И начали совершенно вѣдь случайно,— подхватилъ царевичъ.—вижу на столѣ у патера Андрея раскрытую книгу...

«— Что̀ это, говорю,—у васъ?

«— Сочиненіе Квинтиліана.

«— Какого такого Квинтиліана?

«— А Марка-Фабія, римскаго оратора и словесника начала христіанской нашей эры.

«— Къ стыду моему, говорю,—никогда объ немъ не слышалъ! О чемъ же его книга?

«— О писаніяхъ греческихъ и римскихъ.

«— Любопытно?

«— И очень даже. Угодно послушать?

«И стали мы читать вмѣстѣ изо-дня въ день. Потомъ принялись за грамматику»...

— А теперь и за философію,—добавилъ молодой іезуитъ.

— Все это препохвально,—сказалъ Сѣраковскій. —Будущему монарху нельзя не быть просвѣщеннымъ, особенно монарху такой страны, какъ Московія, утопающей еще въ глубокомъ невѣжествѣ...

— А вотъ погодите,—съ оживленіемъ перебилъ Димитрій:—у меня вездѣ заведутся народныя школы, въ большихъ городахъ—академіи...

На тонкихъ губахъ іезуита заиграла ироническая улыбка.

— Вопросъ лишь въ томъ, государь, гдѣ вы возьмете для нихъ между москвитянами хорошихъ учителей?

— Да я буду посылать для этого молодыхъ людей на выучку въ Краковъ, въ Прагу, въ Лейпцигъ...

— Прекрасно. Но ранѣе просвѣщенія, казалось бы, необходимо укрѣпить въ народѣ корни истинной вѣры.

— Что русскій народъ — богомольный, вы,

clarissime, наглядно видите здѣсь же въ Путивлѣ: съ тѣхъ поръ, что сюда, по моему приказу, перенесена изъ Курска чудотворная икона Божіей Матери, здѣсь такой наплывъ богомольцевъ...

— А къ намъ, иновѣрнымъ слугамъ церкви, народъ начинаетъ уже привыкать, — досказалъ опять Ловичъ.—Давно-ли, кажется, на наши тонзуры и черныя рясы глядѣли здѣсь всѣ съ недовѣрьемъ; а теперь первые горожане приглашаютъ насъ къ себѣ запросто въ домъ, просятъ обучать грамотѣ ихъ дѣтей; а дѣти бѣгутъ намъ сами навстрѣчу, принимаютъ отъ насъ гостинцы... Одинъ мальчикъ умолялъ меня даже взять его съ собой въ Москву, и у меня есть полная надежда обратить его въ католичество.

Въ это время тихонько растворилась дверь, и послышался знакомый всѣмъ тремъ собесѣдникамъ голосъ:

— Можно войти, сударь?

Всѣ трое разомъ оглянулись. Но стоявшій на порогѣ высокаго роста странникъ съ истомленнымъ, сильно загорѣлымъ лицомъ и съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ показался имъ съ перваго взгляда совсѣмъ чужимъ.

— Ужели я такъ уже перемѣнился, государь?— спросилъ съ улыбкой странникъ.

По этой улыбкѣ Димитрій сразу узналъ своего единственнаго истиннаго друга.

— Михайло Андреичъ! Ты-ли это? А я думалъ, что тебя и на свѣтѣ-то давно нѣтъ.

И, быстро подойдя къ Курбскому, Димитрій крѣпко его обнялъ и расцѣловалъ.

— Гдѣ ты это, братецъ, пропадалъ?

— Все въ Москвѣ,— отвѣчалъ Курбскій.—Не могъ благоуспѣшно выполнить твое порученіе, государь: Годуновъ не давалъ отвѣта, да и не отпускалъ изъ Москвы. А тутъ онъ самъ внезапно скончался...

— И до насъ уже о томъ вѣсть дошла: привезъ ее Авраамъ Бахметевъ. Отъ него же мы знаемъ про предсмертную волю Годунова, чтобы Басмановъ перенялъ начальство надъ всѣми войсками.

— То-то онъ по пути обогналъ насъ!—воскликнулъ Курбскій.—Ну, теперь, государь, твое дѣло на половину уже выиграно.

— А развѣ Басмановъ не противъ меня?

— Думаю, что нѣтъ. Зачѣмъ бы ему то было дважды навѣстить меня, такъ много разспрашивать про тебя? Зачѣмъ бы онъ помогъ мнѣ потомъ уйти изъ Москвы?

— О! коли такъ... Но разскажи-ка, разскажи по ряду, что было съ тобой.

И сталъ Курбскій разсказывать. Относительно Маруси Биркиной онъ упомянулъ только вскользь; даже имя ея произнести было ему теперь больно. Но что за дѣло было Димитрію и обоимъ іезуитамъ до какой-то купеческой дочки! Выслушавъ подробный отчетъ Курбскаго о пріемѣ его Годуновымъ, о посѣщеніи его Басмановымъ и о собственномъ его, Курбскаго, побѣгѣ изъ Москвы, они осыпали

его вопросами о сынѣ Борисовомъ, теперь царѣ Ѳедорѣ, о боярской думѣ, о настроеніи москвичей.

Разспросы эти были прерваны приходомъ маленькаго секретаря царевича. Панъ Бучинскій привѣтствовалъ Курбскаго чуть-ли не такъ же сердечно, какъ и самъ царевичъ; послѣ чего обратился къ послѣднему:

— А я, ваше величество, долженъ обезпокоить васъ экстреннымъ дѣломъ.

— Что̀ такое?

— Да вотъ вмѣстѣ съ княземъ Курбскимъ прибылъ сюда одинъ странникъ...

— Да, государь,—подхватилъ Курбскій.—Онъ прямо изъ Углича.

Димитрій весь вздрогнулъ и измѣнился въ лицѣ.

— Изъ Углича?—повторилъ онъ.—Но что̀ ему нужно отъ меня?

— Онъ Христомъ-Богомъ молитъ дать ему сейчасъ взглянуть на ваше величество,—отвѣчалъ Бучинскій.—Ни ѣстъ, ни пьетъ, пока не узритъ васъ.

— Да, преупрямый старикъ, — подкрѣпилъ Курбскій. - И дорогой сюда, кромѣ хлѣба да воды, ничего въ ротъ не бралъ. Онъ помнитъ тебя, государь, вѣдь еще съ малыхъ лѣтъ. Утѣшь ужъ старика!

— Да кто онъ такой? чѣмъ былъ тогда въ Угличѣ?

— Этого онъ мнѣ не хотѣлъ сказать. Называетъ же себя просто Огурцомъ.

— Изволите видѣть!—вмѣшался тутъ патеръ Сѣраковскій.—Все это весьма и весьма подозрительно... Давно-ли священная жизнь вашего величества едва не пресѣклась отъ такихъ же чернецовъ, подосланныхъ изъ Москвы?

— Можетъ ли быть! — воскликнулъ Курбскій.—На жизнь твою, государь, злоумышляли?

— Одинъ изъ нихъ раскаялся и самъ же отвелъ отъ меня ударъ,—уклончиво отвѣчалъ царевичъ, видимо смутившись, и окинулъ обоихъ патеровъ хмурымъ взглядомъ.—Будетъ объ этомъ! А странника я самъ разспрошу. Будьте любезны, пане Бучинскій, ввести его къ намъ.

«За что̀ онъ сердитъ какъ-будто и на себя и на патеровъ?» недоумѣвалъ Курбскій.—«Ужъ не расправился-ли онъ, по ихъ совѣту, черезчуръ жестоко съ тѣми чернецами?»

То, что̀ онъ узналъ впослѣдствіи о недавнемъ покушеніи на жизнь Димитрія, подтвердило его догадку. Оказалось, что съ мѣсяцъ назадъ въ Путивлѣ появилось трое какихъ-то невѣдомыхъ монаховъ съ граматами отъ Бориса Годунова къ духовенству и къ народу. Прочитывая эти граматы всенародно на площадяхъ и перекресткахъ, монахи подбивали своихъ легковѣрныхъ слушателей схватить «разстригу», самозванно именующаго себя сыномъ блаженной памяти царя Ивана Васильевича, и отправить въ цѣпяхъ въ Москву, за что̀-де настоящимъ государемъ Борисомъ Ѳедоровичемъ будутъ щедро награждены. Схваченные сами и представленные Димитрію, мутители продолжали упор-

ствовать на своемъ, пока имъ не пригрозили пыткой. Передъ мученіями пытки одинъ изъ нихъ не устоялъ. Повалившись въ ноги царевичу, онъ выдалъ, что у одного изъ его товарищей въ сапогѣ между подошвами спрятанъ смертоносный ядъ; что ядъ тотъ имѣлось въ виду подмѣшать къ ладону, которымъ окуривали бы царевича въ церкви; выполнить же это взялись двое московскихъ бояръ, незадолго передъ тѣмъ передавшихся царевичу, но на самомъ дѣлѣ попрежнему вѣрныхъ еще Годунову. Притянутые въ свою очередь къ допросу, оба боярина повинились и были разстрѣлены на площади, а два нераскаявшихся монаха были пытаны въ темницѣ, гдѣ все еще не могутъ оправиться отъ причиненныхъ имъ тѣлесныхъ поврежденій...

До времени, однако, все это не было еще извѣстно Курбскому, и онъ съ замирающимъ сердцемъ, какъ бы въ тяжеломъ предчувствіи, ожидалъ, какъ-то поведетъ себя при видѣ царевича старецъ-странникъ, очевидецъ угличской драмы.

И вотъ, панъ Бучинскій ввелъ странника. Еще болѣе исхудавъ отъ многодневнаго странствія и самовольнаго голоданія, старецъ скорѣе походилъ теперь на выходца съ того свѣта, чѣмъ на живого человѣка.

— Подойди-ка ближе, старче, — съ царственною ласковостью обратился къ нему Димитрій, но дрогнувшій голосъ выдалъ его глубокую душевную тревогу.—Ты хотѣлъ видѣть меня; смотри же: узнаёшь?

Кряхтя, странникъ заковылялъ впередъ съ помощью посоха; дойдя же до царевича, вперилъ въ него свои подслѣповатые глаза, забывъ даже обычный поклонъ. Но мелькавшій въ его взорѣ лучъ надежды не разгорѣлся радостнымъ огнемъ; напротивъ того, какъ-будто даже померкъ.

— Вседержитель и Сердцевѣдецъ! вразуми меня, открой мнѣ очи...—пробормоталъ онъ про себя, но все же настолько внятно, что всѣмъ присутствующимъ было слышно.

— Онъ меня не узнаётъ!.. — прошепталъ по-польски Димитрій, лицо котораго покрылось мертвенною блѣдностью.

— Да если онъ даже и видѣлъ ваше величество въ Угличѣ, то четырнадцать лѣтъ назадъ, когда вы были малюткой,— поспѣшилъ успокоить его Бучинскій.—Но тогдашнія примѣты ваши во всякомъ случаѣ сохранились. Ты помнишь тоже особыя примѣты царевича?—отнесся онъ по-русски къ старцу.

— Особыя примѣты царевича? — повторилъ тотъ, точно очнувшись отъ забытья.

— Да. Вглядись-ка и припомни хорошенько.

Странникъ еще пристальнѣе уставился своими мутными глазами въ лицо царевича.

— Анъ и впрямь вѣдь,—заговорилъ онъ, оживляясь:—вонъ одна бородавочка на лбу, другая подъ глазомъ...

— Ну, вотъ видишь-ли! А кромѣ того, есть еще и другія примѣты...

Димитрію, видимо, было крайне не по душѣ

такое удостовѣреніе его личности—личности царевича московскаго — передъ какимъ-то полоумнымъ бродягой, когда цѣлые города русскіе, безъ всякихъ удостовѣреній, встрѣчали уже его, какъ сына царскаго, съ хлѣбомъ-солью. А теперь засучить еще передъ этимъ проходимцемъ свой рукавъ, чтобы предъявить родимое пятно подъ локтемъ, да вымѣрить длину обѣихъ своихъ рукъ,—нѣтъ, это было бы слишкомъ унизительно!

— Ты видишь, значитъ, старче, что я тотъ самый царевичъ Димитрій, который почитался убитымъ въ Угличѣ,—гордо пріосанясь, заговорилъ Димитрій.—Но кто ты самъ, мы до сихъ поръ не вѣдаемъ. Именуешь ты себя, кажись, Огурцомъ?

— Огурцомъ, батюшка,—отвѣчалъ тотъ, но какъ бы нехотя и величая царевича только «батюшкой», точно еще не совсѣмъ увѣровавъ въ его подлинность.

— Это твое прозвище?

— Да, навязали люди ярлыкъ, и—хошь, не хошь,—ходи весь вѣкъ съ нимъ.

— А по имени тебя да по отчеству какъ звать?

— Въ святомъ крещеніи дали имя Ѳедотъ, а по изотчеству Аѳанасьевъ сынъ.

— Такъ вотъ что, Ѳедотъ Аѳанасьичъ...

— Никто меня такъ николи не кличетъ; для всѣхъ я Огурецъ, Огурцомъ и въ гробъ лягу. Такъ и ты зови меня Огурцомъ.

— Изволь. И давно ты, Огурецъ, странничаешь этакъ по бѣлу свѣту?

— Давно-ли? Да съ того самаго дня, что выпустили тогда изъ тюрьмы. О, Господи всемилостивый, прости имъ, грѣшнымъ! Не вѣдали бо, что̀ творили.

— Однако за что-нибудь же ты попалъ въ тюрьму?

— Одна всего вина моя, что звонилъ невпопадъ. Да все этотъ Суббота Протопоповъ! Кабы не онъ...

— Постой, старче. Ты, значитъ, по должности своей пономаремъ былъ?

— А то кѣмъ же? Пономаремъ Царяконстантиновскимъ. Ну, а хватилъ въ чужой колоколъ— и должности рѣшился и въ яму еще на много лѣтъ угодилъ... Охъ, охъ, охъ! Молодъ былъ—конемъ слылъ, старъ сталъ—одёръ сталъ. Пора костямъ на мѣсто!

— Зачѣмъ же тебѣ было звонить не въ свой колоколъ?

— Да такъ ужъ, знать, на грѣхъ подошло. Слышу: звонятъ во всю у Спаса. «Ну, думаю себѣ,—коли ударилъ въ набатъ Максимка, такъ не даромъ. Вѣрно гдѣ лихо загорѣлось. Дай-ка, побѣгу, посмотрю».

— А Максимка—звонарь тоже?

— Знамо, первый сторожъ у Спаса, Максимъ Дмитріевъ сынъ Кузнецовъ. Бѣгу со всѣхъ ногъ, по сторонамъ озираюсь: нѣту-ли гдѣ дыму? Что-то не видать. Подбѣгаю къ Спасу, анъ тутъ навстрѣчу тотъ самый Суббота Протопоповъ, кормового двора стряпчій.

«—Ты куда, Огурецъ?

«—Да вотъ, молъ, трезвонятъ. Не знаю только, гдѣ горитъ-то.

«—Какое горитъ! Царевича Димитрія зарѣзали.

«Какъ сказалъ онъ мнѣ это слово, меня ровно обухомъ по головѣ; стою да глазами хлопаю.

«—Чего, говоритъ, глаза пялишь? Полѣзай на колокольню, звони вмѣстѣ съ Максимкой.

«—Да колокольня, говорю, не моя.

«—Гдѣ ужъ тутъ, говоритъ, разбирать; сама царица звонить приказала.

«Ну, и полѣзъ я сдуру, давай тоже звонить что̀ есть мочи,—и дозвонился! И благо бы мнѣ одному досталось; а то, вишь, и колоколу такъ не прошло: кнутомъ его, сердечнаго, наказали, да съ оторваннымъ ухомъ въ Сибирь сослали [1]). Да не въ томъ мое горе, что на старости лѣтъ мірскимъ кормлюсь пропитаньемъ: птицы небесныя не сѣютъ, не жнутъ, не собираютъ въ житницы, а сыты бываютъ. Горе мое въ томъ, что съ того самаго часа, что сослали колоколъ, мнѣ отъ него по ночамъ нѣтъ и нѣтъ покою. Чуть задремлю, забудусь, какъ въ ушахъ

---

[1]) Сосланный въ 1593 году въ г. Тобольскъ колоколъ служилъ тамъ сперва въ церкви всемилостивѣйшаго Спаса «набатнымъ» колоколомъ, затѣмъ на Софійской соборной колокольнѣ—«часобитнымъ», а впослѣдствіи и «зазвоннымъ». Только въ 1836 г. онъ былъ перевѣшанъ въ ограду архіерейской Святодуховской Крестовой церкви въ качествѣ «благовѣстнаго»; въ концѣ же XIX вѣка, по ходатайству угличанъ, возвращенъ опять въ Угличъ.

загудитъ: «бумъ—бумъ—бумъ!» Вскочу съ ложа, прислушаюсь, — тишина кругомъ гробовая; какъ только опять прилягу, стану забываться, — снова: «бумъ—бумъ!» Тутъ вотъ пошелъ слухъ въ народѣ, будто царевичъ Димитрій вовсе-де и не умиралъ, что другого замѣсто его зарѣзали. Такъ вотъ отчего въ ушахъ у меня этотъ звонъ погребальный: царевичъ-то живъ, а я его заживо хоронилъ!»

Димитрій, слушая, такъ и впился въ разсказчика глазами.

— И тебѣ стало не въ моготу,—досказалъ онъ,—захотѣлось непремѣнно самому узрѣть меня? Ну, вотъ и узрѣлъ. А спасся я чудомъ отъ рукъ убійцъ: убили они, вмѣсто меня, другого.

— Другого?

— Да, одного изъ моихъ однолѣтковъ-жильцовъ (пажей). Вѣдь ты видѣлъ, чай, тогда въ Угличѣ, какъ мы бѣгали, играли на дворцовомъ дворѣ?

— Какъ не видѣть...

— Такъ вотъ съ однимъ изъ тѣхъ жильцовъ, круглымъ сиротой, я больше всѣхъ дружилъ; дарилъ ему свои старыя игрушки и платья; даже спать насъ укладывали вмѣстѣ на одной постели. А страдалъ я въ тѣ поры... (Димитрій на минуту запнулся) страдалъ тяжкимъ недугомъ...

— Падучею немочью? — договорилъ странникъ.—Такъ, такъ. Сказывала мнѣ о томъ кормилица царская Орина, да и весь Угличъ, почитай, толковалъ о томъ.

— Но чего ни ты, ни другіе, можетъ, не вѣдали, такъ это то, что мой товарищъ-жилецъ недомогалъ тѣмъ же: оттого, знать, что онъ и денно и нощно безотлучно былъ при мнѣ, къ нему пристала отъ меня та злая немочь. И вотъ, въ тотъ самый день, какъ наемные убійцы подстерегали меня за дворцовой оградой, случись тутъ на дворѣ съ моимъ товарищемъ лихой припадокъ. А убійцы знали тоже про мой недугъ. Какъ подглядѣли изъ-за ограды, что упалъ ребенокъ, бьется въ судорогахъ, такъ приняли его за меня: вѣдь и одѣтъ-то онъ былъ тоже въ мое старое платье; подскочили да второпяхъ и зарѣзали бѣдняжку. Мы, прочія дѣти, съ испугу разбѣжались кто куда. А тутъ на мое счастье, откуда ни возьмись, лѣкарь-нѣмчинъ Симонъ, что̀ лѣчилъ меня отъ моего недуга. Взялъ онъ меня на руки и задворками унесъ изъ дворца. Такъ-то вотъ я самъ избѣгнулъ ножа убійцъ ..

То, что̀ услышалъ теперь Огурецъ отъ Димитрія объ угличской катастрофѣ, должно было, казалось бы, окончательно разсѣять всѣ его сомнѣнія. А между тѣмъ вышло совсѣмъ иное: случайное сходство между царевичемъ и его злосчастнымъ товарищемъ, одѣтымъ одинаково съ нимъ и подверженнымъ тѣмъ же припадкамъ, дало совершенно новое направленіе мыслямъ старца. Точно прозрѣвъ, онъ увѣщательно воздѣлъ обѣ руки къ Димитрію и воззвалъ пророческимъ тономъ:

— А что̀, коли ты и есть тотъ самый жилецъ царевича Димитрія и принялъ лишь на себя съ

великимъ безстыжіемъ санъ царскаго сына? Покайся, покайся, поколѣ еще не поздно! Вспомни Страшный Судъ, не погуби души своей! На Судѣ Божьемъ право пойдетъ направо, а криво налѣво...

До этой минуты Димитрій выказывалъ необыкновенное самообладаніе. Только нѣкоторая порывистость и металлическая звучность голоса, судорожная игра мускуловъ то краснѣвшаго, то блѣднѣвшаго лица выдавали его крайне напряженное душевное состояніе. Но брошенное ему теперь странникомъ прямо въ глаза обвиненіе въ самозванствѣ съ такою силою ударило по его возбужденнымъ нервамъ, что онъ схватился вдругъ руками за голову и пронзительно крикнулъ:

— Бога ради, уведите его!..

Панъ Бучинскій не замедлилъ исполнить приказаніе. Но едва лишь дверь затворилась за обоими, какъ Димитрій упалъ въ кресло и, закрывъ лицо руками, истерически разрыдался. То былъ настоящій нервный припадокъ съ плачемъ и смѣхомъ, съ корчами и пѣною у рта... Бившагося въ судорогахъ Курбскій едва могъ сдержать въ своихъ крѣпкихъ объятіяхъ. Одинъ изъ патеровъ усердно смачивалъ ему виски и темя какою-то эѳирною жидкостью, а другой, долгое время безуспѣшно, разжималъ ему зубы, чтобы заставить его выпить глотокъ воды. Наконецъ-то припадокъ сталъ утихать.

— Прошло... дайте вздохнуть... — прошепталъ царевичъ по-польски, глубоко переводя духъ.—А

ты, милый, не отходи, оставайся...—прибавилъ онъ по-русски.

И, сжавъ руку Курбскаго своею влажною рукой, онъ съ закрытыми еще глазами, въ полномъ изнеможеніи, откинулся на спинку кресла.

Патеры отошли къ окну и стали о чемъ-то тихонько совѣщаться. Судя по долетавшимъ до Курбскаго отдѣльнымъ словамъ, говорили они межъ собой по-латыни. Старшій на чемъ-то настаивалъ, младшій почтительно возражалъ. Тутъ Сѣраковскій сказалъ что-то про общину Іисуса и про «malum necessarium» (необходимое зло), да такимъ повелительнымъ тономъ, что Ловичъ молча поклонился и съ опущенной головой вышелъ.

«Что это они опять затѣваютъ?» спрашивалъ себя Курбскій.—«У іезуитовъ вѣдь цѣль оправдываетъ всякія средства, даже самыя преступныя»...

А Сѣраковскій, подойдя опять къ царевичу, заговорилъ съ нимъ своимъ обычнымъ медовымъ голосомъ, убѣждая не придавать значенія вздорнымъ словамъ какого-то старика-сумасброда.

— По примѣтамъ онъ вначалѣ вѣдь готовъ былъ признать васъ, хотя не видѣлъ васъ съ ранняго вашего дѣтства, — говорилъ патеръ. — А въ Жалосцахъ, помните, у Константина Вишневецкаго васъ тотчасъ узналъ другой угличанинъ, Юрій Петровскій.

— Который потомъ оказался поджигателемъ и святотатцемъ! — съ горечью добавилъ царевичъ. —Можно ли такому человѣку придавать какую-либо вѣру? Да вотъ вамъ лучшій другъ мой—

Курбскій: онъ молчитъ, но отворотилъ отъ меня лицо; значитъ, и онъ сомнѣвается уже во мнѣ.

— О, нѣтъ, государь!—сказалъ Курбскій, краснѣя и заставляя себя взглянуть прямо въ глаза Димитрію.—Ты самъ вѣдь всегда твердо вѣрилъ, что ты — сынъ Грознаго царя, и доколѣ ты въ себѣ не извѣришься, я слѣпо буду идти за тобой, съ радостью сложу за тебя голову...

— Спасибо тебѣ, другъ, за это слово!—съ чувствомъ проговорилъ Димитрій и, обернувшись къ освѣщенному неугасимой лампадой образу Богоматери съ Младенцемъ, торжественно поднялъ правую руку: — Клянусь именемъ нашего Спасителя и Пречистой Дѣвы, что до сего часа я никогда не сомнѣвался въ томъ, что я истинный царевичъ. Но теперь... Даже эти примѣты меня смущаютъ.

— Какъ такъ, ваше величество?—спросилъ Сѣраковскій. — Я васъ, простите, не понимаю. Ужъ чего доказательнѣе этакихъ примѣтъ?

— Да откуда онѣ взялись у меня?

— Какъ откуда? Отъ рожденія, конечно

— То-то, что и этого я навѣрное не знаю. Отъ припадковъ моихъ память у меня относительно всего моего дѣтства точно отшибло. Помню только, какъ въ туманѣ, что игралъ я съ другими дѣтьми на какомъ-то дворѣ; что бывали у меня припадки; что лѣчилъ меня отъ нихъ лѣкарь Симонъ. Помню еще, что послѣ одного такого припадка я очнулся въ какой-то закрытой повозкѣ. Когда я хотѣлъ тутъ приподняться, то надо мной наклонился все тотъ же лѣкарь Симонъ. «Лежи,

лежи!» сказалъ онъ и далъ мнѣ испить чего-то. И заснулъ я снова, спалъ крѣпко и долго... Потомъ вижу вокругъ себя уже людей въ черныхъ рясахъ — монаховъ... Потомъ... приключилась со мной тяжкая болѣзнь, я цѣлые дни, а можетъ и недѣли лежалъ въ огневицѣ (горячкѣ) безъ памяти. Когда же всталъ опять, то на лбу и подъ глазомъ у себя нащупалъ бородавки. Были ли онѣ у меня раньше, нѣтъ ли, — ей-Богу, не знаю: память у меня тогда, какъ сказано, совсѣмъ ослабѣла. Но бородавки тѣ были мнѣ противны, и я сталъ умолять Симона ихъ отрѣзать. «Боже упаси!» сказалъ онъ:—«это твои царскія примѣты; но до поры до времени ты долженъ скрываться отъ людей». А тутъ и самъ онъ слегъ—и уже не всталъ. Но передъ своей кончиной онъ успѣлъ сдать меня съ рукъ на руки одному монаху, чтобы тотъ хранилъ меня, пока я не войду въ лѣта и пока самъ не заявлю себя сыномъ Грознаго, Димитріемъ. Кто же я теперь? Димитрій или только его бывшій товарищъ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, вы Димитрій,—отвѣчалъ патеръ. — Кромѣ бородавокъ, у васъ есть вѣдь и другія примѣты: родимое пятно подъ локтемъ...

— Да не могъ-ли его, какъ и бородавки, привить мнѣ Симонъ во время моего безпамятства? Онъ былъ такимъ искуснымъ врачемъ...

— Ну, ужъ родимаго-то пятна не привьешь! Потомъ ваши руки разной длины...

— Да что ему значило вытянуть мнѣ тогда

же безъ моего вѣдома одну руку противъ другой? О, Боже праведный, просвѣти меня! Вѣрить-ли мнѣ еще въ себя?

— Вѣрьте, государь, и вѣра ваша спасетъ васъ!— убѣжденно сказалъ іезуитъ.—Вы—царевичъ и не можете не быть имъ! Царя Бориса вѣдь уже нѣтъ, престолъ московскій свободенъ...

— А сынъ Бориса, Ѳедоръ?

— Шестнадцатилѣтній-то мальчикъ? Его-ли слабымъ рукамъ, скажите, держать бразды правленія такой державы, какъ Великая Россія! Ему-ли очистить Авгіеву конюшню боярской думы, противостоять тайнымъ происканъ и кознямъ иноземныхъ державъ! На это нуженъ мужъ зрѣлый, свѣтлаго разума и неуклонной воли, испытавшій всякія превратности и, въ то же время, прошедшій всѣ искусы придворной жизни. А кто же къ этому болѣе подготовленъ, чѣмъ вы, государь?

— «Подготовленъ», говорите вы? А что, если меня, въ самомъ дѣлѣ, нарочно подготовили къ этой роли ради какихъ-то своекорыстныхъ цѣлей? Что, если мною разсчитываютъ играть потомъ, какъ бездушной пѣшкой? Но я не дамъ играть собой, о, нѣтъ!

Димитрій горделиво выпрямился, и глаза его засверкали.

— Вотъ этакимъ я люблю васъ, государь!—сказалъ патеръ, повидимому, съ искреннимъ восхищеніемъ.—Да кому, скажите, какая была надобность въ такой недостойной комедіи съ вами?

— Кому? Да хоть бы московскимъ опальнымъ

боярамъ, чтобы, во что бы то ни стало, свергнуть Годунова.

— Но зачѣмъ они тогда молчали бы до сихъ поръ о себѣ?

— Затѣмъ, чтобы я самъ не сомнѣвался въ моемъ царскомъ призваніи и никогда не измѣнялъ этому призванію, всегда оставался тѣмъ же царевичемъ Димитріемъ...

— И этимъ самымъ покоряли бы всѣ сердца?— съ улыбкою досказалъ Сѣраковскій. — Ахъ, ваше величество! Ужели за четырнадцать лѣтъ такіе «благодѣтели» не выдали бы себя вамъ невольно такъ или иначе? Ихъ, повѣрьте мнѣ, вовсе и не существуетъ; а что до окружающихъ васъ, то между ними нѣтъ ни единаго человѣка, кто вполнѣ искренно не считалъ бы васъ сыномъ Ивана Грознаго.

— А вы оба, передъ которыми я раскрылъ мою душу, не отвернетесь отъ меня?

— Что вы, что вы, государь! Мы, если возможно, послѣ такой исповѣди еще болѣе вамъ преданы. Князю Курбскому вы вѣдь первый другъ; а для меня, какъ и для патера Ловича, съ вашимъ царскимъ званіемъ связано дальнѣйшее процвѣтаніе святой католической церкви; мы въ каждомъ письмѣ нашемъ въ Римъ доносимъ его святѣйшеству папѣ объ васъ, какъ о законномъ наслѣдникѣ московскаго престола и надеждѣ нашей церкви; такъ намъ-ли отъ васъ отступиться?

— Но панъ Бучинскій тоже слышалъ, въ чемъ обвинялъ меня этотъ сумасшедшій старикъ...

— Панъ Бучинскій, ваше величество, — вашъ личный секретарь и alter ego (второе я); онъ для васъ не доѣдаетъ, не досыпаетъ; безъ васъ онъ ничто, при васъ яркое свѣтило...

— Наконецъ, самъ этотъ странникъ: онъ станетъ теперь говорить про меня встрѣчному и поперечному, какъ про подставного царевича...

— Онъ, ваше величество, ничего уже не скажетъ! — отвѣчалъ съ благочестивымъ вздохомъ младшій патеръ, вошедшій въ это самое время:— Всевышнему угодно было призвать его къ себѣ.

При этомъ отъ Курбскаго не ускользнулъ быстрый взглядъ, которымъ обмѣнялись оба іезуита. Чуть замѣтно покачавъ отрицательно головой, какъ бы въ знакъ того, что данный ему наказъ не могъ быть исполненъ, патеръ Ловичъ доложилъ, что старецъ, не прикоснувшись еще до пищи, которую подали ему на кухнѣ, внезапно упалъ безъ чувствъ; пока же посылали за лѣкаремъ, все было уже кончено: лѣкарь могъ только удостовѣрить смерть отъ полнаго истощенія.

Что дѣло было именно такъ—подтвердилъ потомъ Курбскому и Петрусь, не отходившій въ кухнѣ отъ старца.

— А патеръ Ловичъ не засталъ его уже въ живыхъ?—спросилъ казачка Курбскій.

— Засталъ онъ его уже на полу...

— И самъ его не трогалъ?

— Напротивъ, вдвоемъ съ паномъ Бучинскимъ они много хлопотали около него. Патеръ досталъ уже изъ-за пазухи пузырекъ съ каплями, чтобы

влить ему въ горло; но Бучинскій не дозволилъ: «обождемъ лучше дохтура». — «Да я самъ такой же дохтуръ!» говоритъ патеръ. А Бучинскій: «Но коли послѣ вашихъ капель онъ уже не проснется?» Поблѣднѣлъ мой патеръ и прикусилъ языкъ... Ну, а въ концѣ концовъ и дохтуръ уже не помогъ. А что, милый княже, скажи-ка, призналъ старикъ нашего царевича?

— Призналъ, какъ не признать!

Могъ-ли, смѣлъ-ли Курбскій отвѣчать иначе? Но въ ушахъ у него звучали еще послѣднія, предсмертныя слова старца:

— Покайся, поколѣ еще не поздно! Вспомни Страшный Судъ!..

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Какъ Петрусь Коваль оправилъ доброе имя запорожцевъ.

Убѣжденія патера Сѣраковскаго вдохнули въ Димитрія новую энергію, новое мужество: онъ готовъ былъ тотчасъ прекратить свое непроизвольное бездѣйствіе и перейти въ наступленіе.

— Теперь времени терять уже нечего,—заявилъ онъ на другое утро послѣ описанной въ предыдущей главѣ сцены. — Донцы мои стойко держатся въ Кромахъ противъ московскихъ войскъ; но въ концѣ концовъ тѣ ихъ, пожалуй, все же одолѣютъ. Надо идти прямо въ Кромы, предложить Басманову сдаться: воины его обожаютъ, ему вѣрятъ...

— Carpe diem (пользуйся днемъ), справедливо,— согласился патеръ Сѣраковскій. — Но буде даже

Басмановъ былъ бы склоненъ признать ваше величество (что̀ еще гадательно), то кто поручится намъ за князя Голицына, который до сихъ поръ былъ главнымъ воеводой и раздѣляетъ съ нимъ власть? А нѣмецкая дружина всегда была до глупости вѣрна дому Годуновыхъ, и она, можно напередъ сказать, добровольно ни за что̀ не передастся.

— Такъ чего же вы хотите, clarissime?—горячился царевичъ. — Чтобы москвитяне сами двинулись на насъ и захватили насъ въ Путивлѣ, какъ въ ловушкѣ?

— Для рѣшительнаго шага, повторяю, моментъ наиболѣе удобный, будь у насъ самихъ только болѣе хорошо обученныхъ ратниковъ. Но что̀ могутъ предпринять какія-то три тысячи русскаго сброда противъ сотни тысячъ такихъ же русскихъ?

— Да кто же виноватъ въ томъ, что всѣ ваши поляки, даже Дворжицкій, меня покинули!

— Не всѣ, государь: вашъ покорный слуга съ патеромъ Ловичемъ готовы до сихъ поръ раздѣлить вашу участь; точно также и ваша личная польская охрана.

— Какая-нибудь сотня!

— Но зато отборной польской рати. Вотъ кабы еще одну хоть такую хоругвь, да сотни двѣ-три молодцовъ-казаковъ, — разумѣется, не измѣнниковъ-запорожцевъ, а съ Дона, съ Урала...

И что же? Какъ по приказу, въ тотъ же день дѣйствительно прибыла въ Путивль цѣлая хоругвь польскихъ гусаръ: набралъ ее преданный еще Ди-

митрію польскій шляхтичъ, панъ Запорскій, изъ разбредшихся по окрестностямъ «рыцарей» и «жолнеровъ» (наемщиковъ);а подъ вечеръ подошелъ еще давно ожидавшійся отрядъ кубанскихъ казаковъ въ пятьсотъ человѣкъ.

— Самъ Богъ за насъ! - воскликнулъ Димитрій.— Теперь ничто уже меня не удержитъ.

На созванномъ тотчасъ же военномъ совѣтѣ состоялось рѣшеніе: дать новымъ вспомогательнымъ войскамъ отдохнуть два дня, а на третій отправить ихъ, вмѣстѣ съ тремя тысячами русскихъ ратниковъ, подъ Кромы. Вести ихъ туда хотѣлъ было сперва самъ царевичъ. Но патеры убѣдили его до времени остаться еще съ своимъ штабомъ и тѣлохранителями въ Путивлѣ; вмѣсто же себя, предоставить пока главное начальство бравому пану Запорскому, который, нѣтъ сомнѣнія, оправдаетъ такое отличіе и заставитъ забыть даже пана Дворжицкаго.

Наканунѣ выступленія пана Запорскаго въ походъ, Курбскій услышалъ у себя въ прихожей за перегородкой, гдѣ помѣщался Петрусь Коваль, горькіе всхлипы. Онъ окликнулъ казачка. На порогѣ показался Петрусь съ заплаканными глазами.

— Что̀ треба твоей милости?—спросилъ онъ, стараясь глядѣть бодрѣе, но углы рта у него подергивало, а на рѣсницахъ дрожали слезы.

— И не стыдно тебѣ, хлопцу, хныкать, какъ баба!— укорилъ его Курбскій. — Все о бѣднякѣ Огурцѣ убиваешься? Ему же лучше, что Богъ его прибралъ.

— Теперича, княже, я уже не о немъ... Его схоронили, ну, и вѣчная ему память.

— Такъ о чемъ же? Лихой запорожецъ и слезы роняешь!

— Вотъ потому-то самому... Ужъ больно крѣпко они меня изобидѣли...

— Кто такой?

— Да всѣ, всѣ! Мнѣ въ лагерѣ теперича просто проходу нѣтъ; куда ни покажусь, всѣ-то поносятъ «измѣнниковъ»-запорожцевъ и меня зовутъ ужъ не иначе, какъ подлымъ запорожцемъ.

— Что же дѣлать, мой милый? Ты-то, понятно, тутъ не при чемъ. Но атаманъ вашъ Рева, самъ вѣдь знаешь, далъ подкупить себя и передъ самой битвой подъ Добрыничами покинулъ царевича. А это развѣ не подлая измѣна?

Юный сынъ Запорожья, который кое-какъ еще крѣпился, не выдержалъ и разразился отчаянными рыданьями.

— И самъ-то ты, княже, считаешь меня такимъ же измѣнникомъ! Чѣмъ я заслужилъ это передъ тобою?..

Господину его стоило не малаго труда нѣсколько его успокоить увѣреньемъ, что въ немъ, Петрусѣ, онъ ничуть не сомнѣвается.

— А коли не сумлѣваешься,—подхватилъ, все еще всхлипывая, чувствительный хлопчикъ,—такъ пусти меня съ паномъ Запорскимъ, дай мнѣ умереть за тебя и за твоего царевича...

Такая пылкая до наивности привязанность казачка не могла не тронуть Курбскаго.

— Царевичу ты этимъ большой услуги не окажешь,—сказалъ онъ съ улыбкой,—а мнѣ отъ тебя куда больше проку отъ живого, чѣмъ отъ мертваго.

— Богъ вѣсть! – упорствовалъ на своемъ Петрусь.—Пусти меня, право, милый княже! Я покажу имъ, что одинъ-то хоть запорожецъ твердъ въ своемъ словѣ и можетъ сдѣлать больше для твоего царевича, чѣмъ десять донцовъ или поляковъ.

— Ого! Да панъ Запорскій тебя, пожалуй, вовсе и взять-то съ собой не захочетъ.

— Коли ты, княже, только замолвишь за меня доброе слово, такъ вѣрно возьметъ. Яви такую милость!

И Курбскій «явилъ милость», замолвилъ доброе слово. Бойкій хлопчикъ сразу понравился пану Запорскому и былъ принятъ имъ въ число своихъ походныхъ слугъ въ качествѣ стремяннаго.

Весь отрядъ пана Запорскаго былъ конный, а потому уже на четвертыя сутки былъ въ сорока верстахъ отъ Кромъ. Тутъ сдѣланъ былъ привалъ. Не даромъ іезуиты возлагали такія надежды на рекомендованнаго ими царевичу военачальника. Хорошо понимая, что въ открытомъ бою съ непріятелемъ, въ двадцать, а то и въ тридцать разъ сильнѣйшимъ, самому храброму войску едва-ли устоять панъ Запорскій пустился на военную хитрость. Безъ вѣдома даже царевича, но отъ его имени, онъ сочинилъ письмо къ жителямъ Кромъ и обратился къ своему отряду съ такою рѣчью:

— Вотъ, други мои, грамата, которая написана мною яко бы отъ царевича Димитрія къ кромичамъ. Въ граматѣ сказано, будто бы насъ здѣсь, посылаемыхъ имъ на подмогу, десять тысячъ конныхъ ратниковъ, и что за нами идутъ еще сорокъ тысячъ пѣхоты. Вы вѣрно спросите: для чего мнѣ морочить такими баснями друзей, да еще отъ имени царевича? Морочу я не друзей, а враговъ: грамата вовсе и не попадетъ къ кромичамъ. Почему не попадетъ? Да потому, что одинъ изъ васъ отправится съ этой граматой яко бы въ Кромы черезъ московскій лагерь. Его, вѣстимо, не пропустятъ, схватятъ и приведутъ къ воеводѣ москвитянъ, боярину Басманову. Ну, а Басмановъ —мужъ разумный, разсудливый; прочтетъ онъ грамату и пойметъ, что съ такой силой нашего славнаго войска ему не управиться, понявъ же, безъ бою передастся царевичу. Такъ вотъ, товарищи, теперь мнѣ нуженъ только ловкій, смѣлый человѣкъ, что ради царевича взялся бы за это геройское дѣло. Говорю: «геройское», ибо непріятели наши могутъ предать посланца жестокой пыткѣ, вынудить его сказать про насъ всю правду. Но такая смерть не менѣе почетна, какъ на полѣ битвы. Кто же изъ васъ, любезные товарищи и други, возьмется совершить сей геройскій подвигъ?

Первая половина рѣчи хитроумнаго вождя пришлась по душѣ большинству ратниковъ. Кругомъ раздались одобрительные возгласы:

— Ловко! знатно! И хитро и умно! Чего даромъ-то кровь братнину проливать?

Когда же за тѣмъ панъ Запорскій съ благородною откровенностью указалъ на возможность ожидающей посланца мучительной пытки, всякаго невольно взяло раздумье. Съ мечомъ въ рукѣ идти на врага и хоть бы даже пасть, но въ честномъ бою, рядомъ съ товарищами,—кому не любо: на міру и смерть красна, а можетъ, почемъ знать, останешься и невредимымъ: Богъ милостивъ! Но идти самому на закланье, какъ глупый баранъ,—спасибо!

Такъ думалъ, должно-быть, не одинъ изъ самыхъ храбрыхъ соратниковъ пана Запорскаго: устремленные на него взоры забѣгали теперь по сторонамъ или потупились въ землю, и на заключительный призывъ не нашлось отклика.

— Какъ? Неужто между всѣми вами не найдется ни единаго, кто отважился бы на такой подвигъ?

То же постыдное молчаніе. Вдругъ изъ-за спины возмущеннаго вождя раздался звонкій отроческій голосъ:

— Пошли меня, добродію!

И впередъ выступилъ его молоденькій стремянный, Петрусь Коваль. Панъ Запорскій окинулъ его взглядомъ презрительнаго удивленія.

— Тебя послать, мальчонку?

— Мальчонка я, мосьпане, точно, да изъ запорожцевъ, и видалъ уже всякіе виды,—отвѣчалъ Петрусь, смѣло выдерживая огненный взглядъ надменнаго поляка.—Чести твоей не будетъ порухи. Исполню наказъ твой въ наилучшемъ видѣ.

А доведется умереть подъ пыткой, такъ увидятъ по крайности твои москали и поляки, что запорожцы тоже умирать умѣютъ!

Среди окружающихъ «москалей» и поляковъ послышался ропотъ: безбородый хлопчикъ еще глумится надъ ними! Но дѣйствительно храброму пану Запорскому понравилась, видно, беззавѣтная самонадѣянность юнаго запорожца.

— Молчать, трусы!—прикрикнулъ онъ громовымъ голосомъ на ропчущихъ; потомъ снисходительно, почти ласково обратился снова къ Петрусю:—Да знаешь ли ты, хлопче, что̀ такое пытка? Вынесешь ли, когда тебѣ станутъ вытягивать жилы, ломать кости, поджигать пятки? Зѣло, видишь-ли, младъ ты ужъ...

— Молодъ, да не махонькій. Все вынесу, не пикну.

— Ну, молодецъ, коли такъ.

— Ради стараться!

— А приведутъ тебя къ Басманову, что̀ же ты ему разскажешь?

— Разскажу все то, что̀ прописано въ граматѣ твоей милости.

— И только?

— Для краснаго словца, можетъ, что̀ отъ себя и прибавлю: маслюмъ каши не испортишь.

— Молодецъ!—повторилъ, уже улыбнувшись, панъ Запорскій. — Только черезчуръ-то, смотри, не завирайся: не повѣрятъ.

— Не бойсь, добродію; не даромъ говорится:

ври, да знай мѣру. Мыслей своихъ не дамъ вызнать.

— Ну, съ Богомъ. Вотъ тебѣ грамата. Коня самъ себѣ выберешь.

И Петрусь уже на конѣ, низко кланяется на всѣ четыре стороны.

— Прощайте, панове братцы! Не поминайте лихомъ, коли кого ненарокомъ обидѣлъ!

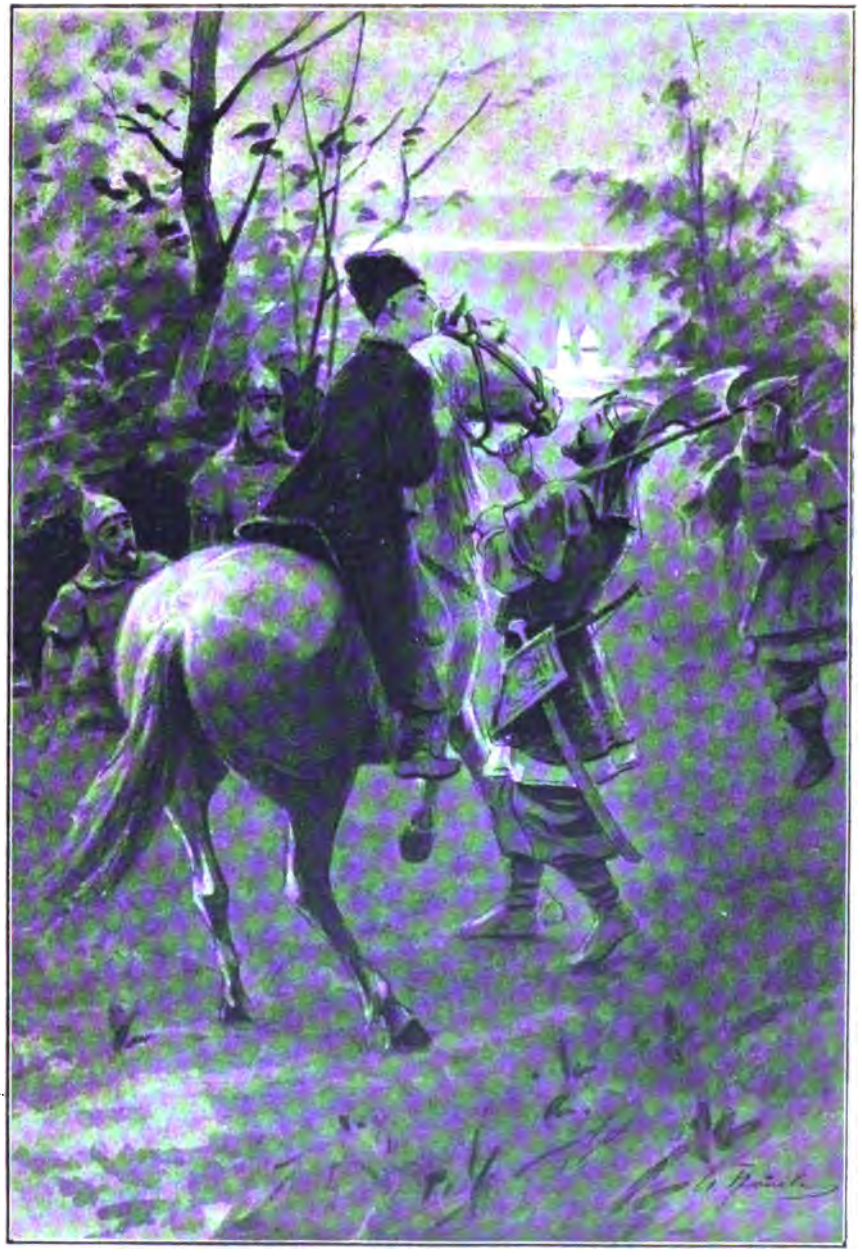
Нагайка его щелкнула, самъ онъ пронзительно гикнулъ,—и брызги полетѣли. Только его и видѣли.

Читатели, вѣроятно, уже замѣтили, что Петрусь, при всемъ своемъ природномъ добродушіи, былъ, какъ малороссъ, съ хитрецой. Вполнѣ чистосердечно желая оправить доброе имя своихъ земляковъ-запорожцевъ такимъ удальствомъ, которому позавидовалъ бы и «москаль» и полякъ, онъ не безъ умысла, однако, умолчалъ о томъ что видѣлъ уже Басманова—и не разъ, а два раза —въ Москвѣ, при посѣщеніи послѣднимъ Курбскаго въ домѣ Биркиныхъ. Готовый, конечно, въ крайнемъ случаѣ вынесть и пытку, онъ тѣмъ не менѣе утѣшалъ себя надеждой, что, благодаря доброму расположенію Басманова къ Курбскому, ему, вѣрному слугѣ Курбскаго, удастся извернуться, выйти сухимъ изъ воды.

Не жалѣя коня, онъ безъ отдышки проскакалъ безъ малаго сорокъ верстъ. Здѣсь онъ наткнулся на непріятельскій дозоръ, загородившій ему дорогу.

— Стой! Куда ѣдешь?

— Ѣду я въ Кромы гонцомъ отъ всемилости-



вѣйшаго государя моего, царя Димитрія Ивановича, — съ напущенною важностью отвѣчалъ Петрусь.—Прочь съ дороги—задавлю!

И для вида хлестнулъ коня. Дозорные, разумѣется, схватили коня за уздцы, а самого всадника безъ околичностей стащили съ сѣдла. Одинъ изъ нихъ предложилъ товарищамъ обыскать его.

— Смѣйте вы только!—продолжалъ хорохориться Петрусь.—Не слышали, что-ли, что я царскій гонецъ?

— Ай да гонецъ! Что̀ съ нимъ, ребята, долго разговаривать...

— И пальцемъ меня не могите тронуть! Коли кому мнѣ отвѣтъ держать, такъ не вамъ, а вашему воеводѣ. Кто у васъ нонѣ-то воеводствуетъ? Басмановъ, что-ли?

— Басмановъ съ Голицынымъ...

— Ну, такъ и ведите меня къ нимъ. Гайда!

— Еще приказываетъ, щенокъ!

— Не ругайтесь, братове! Басмановъ Петръ Ѳедорычъ съ Москвы еще меня знаетъ. Ежели вы меня къ нему тотчасъ не представите, — задастъ онъ вамъ такую трепку, что другой не попросите.

Угроза подѣйствовала. Призадумались дозорные, пошептались межъ собой и кончили тѣмъ, что провели плѣнника къ походной ставкѣ Басманова. Выслушавъ дозорныхъ, Басмановъ послалъ за вторымъ воеводой, княземъ Голицынымъ, а самъ тѣмъ временемъ началъ допрашивать Петруся, для чего тотъ посланъ въ Кромы.

— Другому я ни за что̀ бы не открылся,—

отвѣчалъ Петрусь съ видомъ дѣтскаго простодушія. —Но твоей милости за долгъ святой полагаю. Мы съ господиномъ моимъ толико тебѣ обязаны...

— А господинъ твой кто такой?

— Да князь Курбскій Михайло Андреичъ. Про тебя, своего благодѣтеля, почитай что каждый день вспоминаетъ.

Нахмуренныя черты Басманова слегка прояснились.

— И то вѣдь, я словно бы видѣлъ уже тебя при немъ въ Москвѣ, — сказалъ онъ. — Ну, что, какъ рука твоего князя?

— Спасибо за спросъ, бояринъ: по милости Божьей совсѣмъ зажила. Кабы вѣдалъ онъ, что я угожу къ тебѣ, такъ безпремѣнно прислалъ бы и тебѣ тоже отъ себя поклонъ и граматку.

— А! такъ въ Кромы ты ѣхалъ съ граматой?

— Эхъ, проговорился... — пробормоталъ какъ бы про себя Петрусь.

— Подай-ка ее сюда.

— Извини, бояринъ, но панъ Запорскій не велѣлъ ее никому отдавать въ руки, окромѣ самого атамана Корелы.

— Какой такой панъ Запорскій?

— А набольшій передовой нашей рати.

— Мнѣ твой панъ Запорскій не указчикъ! Не выдашь мнѣ ее доброй волей, такъ велю сейчасъ вѣдь отобрать насильно

— Эхъ-ма! — вздохнулъ Петрусь и, будто нехотя, досталъ грамату изъ-подъ подкладки шапки. — Попадетъ мнѣ отъ него здорово на орѣхи!

Да противленье чинить твоей милости я не смѣю. А какъ прочтешь, вернешь мнѣ ее опять?

— Смотря по тому.

Басмановъ развернулъ листъ, но не приступилъ еще къ чтенію, какъ въ палатку вошелъ его соначальникъ, князь Голицынъ. Въ двухъ словахъ Басмановъ объяснилъ тому, въ чемъ дѣло; послѣ чего оба принялись вполголоса разбирать грамату строка за строкой. По мѣрѣ чтенія ихъ лица все болѣе удлиннялись и омрачались.

— Вотъ не было печали!..—пробормоталъ Голицынъ.—Не даромъ же твердилъ Розенъ, чтобы намъ плюнуть на Кромы и идти прямымъ путемъ на Путивль, пока не подошли туда вспомогательныя войска. Анъ такъ и вышло!.. Знаешь ты, что̀ тутъ пишутъ?—отрывисто обратился онъ къ Петрусю.

— Откуда мнѣ знать-то?— отвѣчалъ тотъ съ самой простоватой миной.—Моего совѣта не спрашивали.

— Но глаза-то и уши у тебя свои, чай, есть. Какъ великъ отрядъ этого пана Запорскаго?

— Боюсь соврать, бояринъ: не считалъ. Еще, поди, осерчаешь.

— Коли спрашиваютъ, такъ изволь отвѣчать! Много-ль у него, по-твоему, человѣкъ въ отрядѣ?

— По-моему?.. Да тридесять тысячъ, полагаю, будетъ.

— Экъ хватилъ! И въ граматѣ-то сказано только про десять тысячъ.

— Про десять? Коли сказано, стало, маленько

перехватилъ. Да, можетъ статься, писана она раньше того, какъ подошли къ намъ эти польскіе гусары.

— А давно то было?

— Наканунѣ только, что выступили мы сюда въ походъ. Вотъ хваты-то! Одинъ какъ другой, на подборъ! За ними, слышно, еще этой пѣшой шляхты идетъ не то пятьдесятъ, не то шестьдесятъ тысячъ.

Воеводы озадаченно переглянулись.

— Да правильно-ли все это?—усомнился опять Голицынъ.—Попытать его развѣ?..

Сердце въ груди у Петруся захолонуло. Но онъ и виду не показалъ.

— Воля ваша, бояре, пытайте!—смѣло сказалъ онъ.—Окромѣ чистой правды, все равно ничего не выпытаете. Дерзнулъ-ли бы я, бояринъ Петръ Ѳедорычъ, самъ посуди, говорить тебѣ неправду? Да мнѣ за тебя попало бы такъ отъ моего господина! А то и самъ вѣдь можешь меня опосля батожьемъ поучить.

Басмановъ ничего на это не отвѣтилъ, но все-таки, видно, пожалѣлъ шустраго хлопца, потому что взялъ Голицына подъ руку и отвелъ въ сторону для тайнаго совѣщанія. До слуха Петруся долетали имена Вальтера Розена и Ивана Годунова (брата Борисова).

— Гей! кто тамъ?—крикнулъ Басмановъ.—Позвать сюда капитана Розена.

Забылъ-ли Басмановъ про присутствіе Петруся, или, напротивъ, хотѣлъ, чтобы тотъ впослѣд-

ствіи могъ удостовѣрить передъ своимъ господиномъ, что благопріятному для Димитрія исходу совѣщанія способствовалъ главнымъ образомъ онъ, Басмановъ, - какъ бы тамъ ни было, Петрусь былъ оставленъ въ палаткѣ.

Капитанъ Вальтеръ Розенъ, начальникъ четырехтысячнаго иноземнаго отряда, происходилъ изъ лифляндскихъ дворянъ и былъ атлетъ саженнаго роста. Но съ его могучей фигурой и строгой военной выправкой ни мало не согласовались его добродушные, голубые, на выкатѣ глаза подъ бѣлобрысыми бровями и высокій теноръ. Выслушавъ Басманова, онъ брякнулъ саблей и крикнулъ чуть не фистулой:

— Da schlage ja das Donnerwetter drein! (Разрази ихъ громъ!) Терпѣть сіе весьма невозможно. Пускайте меня напередъ. meine Herren. О! я буду имъ показать, wo Lukas Bier holt (буквально: «куда Лука за пивомъ ходитъ», то же, что̀ русская поговорка: куда Макаръ телятъ не гонялъ).

— Что вы, господинъ капитанъ, чертовски храбры, объ этомъ никто не споритъ, — сказалъ Басмановъ.—За всѣмъ тѣмъ, однако жъ, вотъ уже три мѣсяца, что̀ и вы - то съ вашими нѣмцами и мы съ нашею русскою ратью, — немного, немало, полтораста тысячъ,—стоимъ здѣсь подъ Кромами' и ни тпру, ни ну.

— Ja, dieser verfluchte Korela mit seinen Kosacken! (Да, этотъ проклятый Корела съ своими казаками!) Eine complecte Canaille, каналья прекомплектная...

— Прекомплектная, истинно что такъ, господинъ капитанъ. Наши трусы считаютъ его даже колдуномъ. Колдунъ онъ или нѣтъ, а окопался рвами и валами такъ, что намъ его, какъ крота изъ норы, не выманить. Самъ же онъ со своими разбойниками-донцами по ночамъ то и дѣло вылѣзаетъ оттуда, и нападаетъ врасплохъ.

— И колотитъ насъ напропалую! — досказалъ Голицынъ.—Просто стыдъ и срамъ!

— Съ паномъ же Запорскимъ идетъ на насъ теперь, кромѣ польскихъ гусаръ, еще свѣжая сила такихъ же казаковъ,—продолжалъ Басмановъ. — Справитесь-ли вы съ ними, господинъ капитанъ,— это еще вилами по водѣ писано.

— Aber zum Kuckuck, meine Herren! (Но чортъ побери, господа!) Надо жъ какую диспозицію учинить...

— Къ этому я и веду рѣчь. Сколь долго мы ни воюемъ съ тѣмъ человѣкомъ, что именуетъ себя сыномъ приснопамятнаго царя Ивана Васильевича Грознаго, всѣ наши усилія и замыслы втунѣ; съ войскомъ въ десять, въ двадцать разъ меньшимъ супротивъ нашего онъ, какъ кладъ, не дается намъ въ руки. Хранило-ли бы его такъ святое Провидѣніе, если бы онъ взаправду былъ самозванецъ, какъ мы доселѣ мнили, а не законный наслѣдникъ престола россійскаго?

— Тутъ явная десница Божія! — поддержалъ Голицынъ.—А вы, господинъ капитанъ, хоть и лютерецъ, да человѣкъ тоже вѣрующій, добрый христіанинъ...

Капитанъ Розенъ, наравнѣ съ обоими воеводами, присягалъ Борису Годунову, а потомъ, всего нѣсколько дней назадъ, заочно и его сыну Ѳедору. Неподкупно честный, но крѣпколобый, онъ никакъ не могъ сразу освоиться съ мыслью, что такая присяга для него уже необязательна, и что впредь онъ долженъ будетъ служить точно также вѣрой и правдой заклятому врагу Годуновыхъ, котораго сейчасъ еще только считалъ наглымъ обманщикомъ. Недовѣрчиво вращая своими голубыми воловьими глазами, онъ старался прочесть на лицахъ своихъ двухъ соратниковъ настоящій смыслъ ихъ словъ, за которымъ скрывается, быть-можетъ, какой-нибудь подвохъ или недостойная шутка. Но видъ у обоихъ былъ самый серіозный, а Басмановъ, для вящшаго его убѣжденія, еще добавилъ, что и въ самомъ войскѣ русскомъ сильно уже поговариваютъ о царскомъ происхожденіи Димитрія; потому долѣе противоборствовать было бы не только грѣшно, но и неразумно.

— Тѣмъ паче неразумно,—подхватилъ Голицынъ,—что, признавъ его нынѣ же, мы заслужили бы еще его особливое благорасположеніе.

— Гмъ.. —промычалъ Розенъ, начиная сдаваться.—А Иванъ Годуновъ, у коего войска девяносто тысячъ?

— Опаску противъ него держать, понятно, надо —отвѣчалъ Басмановъ. —Но стоятъ-то они по ту сторону крѣпости, а потому отъ нихъ не можетъ быть намъ помѣхи соединиться съ дружинами царя Димитрія. Однако, что̀ за шумъ такой?

Съ улицы, дѣйствительно, послышались конскій топотъ и отчаянные крики:

— Казаки! поляки! Спасайтесь, ребятушки, кому жизнь дорога!

— Kreuzschockdonnerelement!—разразился своимъ пѣтушинымъ теномъ воинственный капитанъ и, выхвативъ изъ ноженъ саблю, опрометью выскочилъ изъ палатки.

За нимъ поспѣшно вышли на улицу и оба воеводы, чтобы узнать, въ чемъ дѣло, а за воеводами, конечно, и Петрусь.

Оказалось, что панъ Запорскій, разсчитавъ, что его юный гонецъ попалъ уже въ руки непріятеля, не хотѣлъ дать опомниться послѣднему и съ своими гусарами и казаками обрушился на сторожевой отрядъ; этотъ же въ паническомъ страхѣ безъ оглядки примчался теперь въ лагерь. У страха глаза велики: бѣглецы такъ единодушно говорили о несмѣтномъ числѣ и неукротимости враговъ, что весь лагерь пришелъ въ движеніе; самъ капитанъ Розенъ долженъ былъ увѣровать въ непобѣдимость новоявленнаго царя. Ему же, Розену, была предоставлена честь дать первый отпоръ Ивану Годунову, который, какъ нельзя было сомнѣваться, добровольно не передался бы Димитрію.

И точно, едва лишь иноземная дружина Розена перешла мостъ черезъ Крому-рѣку и выстроилась на зарѣчной равнинѣ въ боевой порядокъ, какъ Иванъ Годуновъ прислалъ узнать, что̀ это значитъ. Отвѣтъ былъ, что подходятъ поляки. Не вѣрить почтенному нѣмецкому капитану у Годунова не

было основаній Поэтому же его не особенно удивило, когда черезъ тотъ же мостъ начали перебираться на равнину и дружины Басманова и Голицына. Когда же переходъ этотъ благополучно совершился, произошло нѣчто такое, чего Годуновъ никакъ уже не предвидѣлъ. Басмановъ, стоявшій еще на мосту съ Голицынымъ, обернулся вдругъ къ дружинамъ самого Годунова и окликнулъ ихъ зычнымъ голосомъ, махая бывшимъ въ рукахъ его листомъ.

— Воины! извѣщаемъ васъ, что эта грамата прислана намъ отъ истиннаго нашего царя Димитрія, сына блаженной памяти великаго князя и государя Ивана Васильевича. Борисъ Годуновъ хотѣлъ его погубить, но Промыслъ Божій его спасъ! Всѣ мы признаёмъ его нынѣ наслѣдникомъ и законнымъ государемъ великаго княжества россійскаго. Кто изъ васъ хочетъ впредь служить царю Димитрію, тотъ иди къ намъ на эту сторону рѣки, кто же останется на другой, тотъ будетъ измѣнникомъ, рабомъ Годуновыхъ и ихъ клевретовъ!

Эта зажигательная рѣчь произвела въ рядахъ Годуновскихъ дружинъ неописанное смятеніе. Цѣлые полки готовы были послѣдовать призыву: другіе же пытались ихъ обойти и задержать. Завязалась рукопашная, засверкали бердыши и сабли.

Защитникъ Кромъ, казацкій атаманъ Корела, съ крѣпостной стѣны зорко слѣдилъ все время за тѣмъ, что происходило въ осаждавшемъ его московскомъ войскѣ. Теперь онъ растворилъ городскія ворота и съ своими донцами ударилъ въ тылъ

противникамъ Димитрія, усѣивая свой путь трупами и ранеными. Это рѣшило исходъ междоусобной схватки. Немногіе, вѣрные до конца сторонники царя Ѳедора Годунова спаслись бѣгствомъ; всѣ остальные перешли на сторону Басманова, приведя съ собой связаннымъ и своего воеводу, Ивана Годунова.

А что́ же Петрусь, который въ этомъ эпизодѣ сыгралъ, въ сущности, самую рѣшительную роль? Считая теперь Басманова своимъ покровителемъ, онъ, по возможности, ни на шагъ не отставалъ отъ него и былъ, такимъ образомъ, очевидцемъ всего описаннаго. Точно также присутствовалъ онъ и нѣсколько дней спустя при вступленіи Басманова съ четырьмя тысячами отборныхъ ратниковъ въ Путивль, для принесенія присяги въ вѣрности новому царю отъ имени всего московскаго войска. Къ немалому огорченію хлопца, Курбскій не оказался на лицо, когда Димитрій, по окончаніи торжественнаго пріема, сталъ знакомить Басманова съ своей свитой. Казачокъ побѣжалъ домой отыскать своего господина.

— Гдѣ же ты, княже? Тебя спрашиваютъ, — доложилъ онъ, увидѣвъ его погруженнымъ въ чтеніе какой-то книги.

Курбскій поднялъ на него свои затуманенные глаза.

— Кто спрашиваетъ?

— Государь хотѣлъ показать тебя Басманову.

— А тебя нарочно послали за мной?

— Нѣтъ, я самъ... Пріемъ кончился.

— Ну, такъ имъ теперь уже не до меня.

— Да что́ ты, милый княже, вѣрно не совсѣмъ здоровъ?

— Не то, чтобы, а такъ... Самъ же ты, Петрусь, я вижу, здоровѣе, чѣмъ когда-либо, точно и не усталъ даже отъ всей этой передряги.

— Устать-то усталъ шибко; да такъ-то ужъ радъ, безмѣрно радъ!..

Краснощекое лицо мальчика расплылось блаженной улыбкой.

— Чему ты такъ радъ?

— Какъ чему! Вѣдь безъ меня, что́ ни говори, московская рать о сю пору не передалась бы царевичу.

— И объ этомъ отъ тебя же знаетъ уже весь Путивль?

Петрусь покраснѣлъ до ушей, но скрылъ свое смущеніе подъ веселымъ смѣхомъ:

— Ну, и что̀ жъ, пускай! По крайности, куда ни покажусь, отъ всякаго одно слышу: «Ай да запорожецъ!» Оправилъ, значитъ, доброе имя запорожцевъ. Но на тебя, княже, дивлюсь я, право: отчего ты-то такъ невеселъ? Словно дума черная запала, либо со страхомъ ждешь чего-то.

— Жду, точно.

— Чего же?

— Этого тебѣ, милый мой, все-равно не понять. Дождусь, такъ, можетъ, и повеселѣю.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Чего такъ ждалъ Курбскій.

То, чего такъ ждалъ Курбскій, чего онъ такъ и желалъ и опасался, совершилось десять недѣль спустя, 18 іюля 1605 года.

Не смотря на то, что день пришелся будничный (четвергъ), всѣ добрые горожане московскіе толпами валили за городъ на большую Тверскую дорогу. За нѣсколько дней вѣдь уже назадъ стало извѣстно, что молодой царь Димитрій отрядилъ первыхъ вельможъ своихъ: князей Мстиславскаго, Шуйскаго, Мосальскаго, съ многотысячною ратью, за своей матушкой-царицей, которую этотъ извергъ рода человѣческаго, Борисъ Годуновъ, насильно постригъ въ монашескій чинъ и заточилъ въ отдаленный монастырь [1]).

[1]) Выксинскій, 25 верстъ отъ г. Череповца, Новгородской губерніи.

Какъ же было не порадоваться радостью царской, не посмотрѣть, какъ они свидятся, мать съ сыномъ, послѣ долголѣтней разлуки?

Незадолго до полудня вдали поднялась пыль, которая все болѣе приближалась. Къ разочарованію нетерпѣливой толпы, то не былъ еще, однако, поѣздъ матушки государевой, а только три всадника. Не останавливаясь, они во весь духъ промчались мимо въ городъ.

— Вѣрно съ вѣстью къ государю, что царица уже близко,—толковалъ глядѣвшій вслѣдъ имъ народъ.

— Вѣстимо, что такъ. А этотъ, что̀ скакалъ впереди, весь въ золотѣ, кто будетъ: Мстиславскій али Шуйскій?

— Эвона! Не видалъ ихъ, что ли? Тѣхъ царица отъ себя и не отпуститъ. Этотъ не князь, а просто бояринъ — Воротынскій.

— Кто ихъ всѣхъ упомнитъ! Благо, выѣзда государя не долго уже ждать-то.

Дѣйствительно, немного погодя изъ городскихъ воротъ показалась блестящая группа всадниковъ. Впереди другихъ, на бѣлоснѣжномъ конѣ, ѣхалъ самъ царь Димитрій въ пышномъ польскомъ уборѣ. По всему пути его провожали привѣтственные клики; а онъ въ отвѣтъ милостиво наклонялъ голову направо и налѣво; вмѣстѣ съ тѣмъ, всякій разъ колыхалось также алмазное перо на его бархатной, польскаго покроя шапкѣ, насаженной на бекрень. Когда онъ, наконецъ, задержалъ коня, счастливцы, около которыхъ онъ остановился,

имѣли полный досугъ наглядѣться на него и на его приближенныхъ. Изъ числа послѣднихъ наибольшее вниманіе обращалъ на себя своей благородной посадкой и привлекательной внѣшностью Курбскій. Но всѣхъ невольно поражалъ его удрученный видъ.

— Вѣрно, кручинится о чемъ молодчикъ,—говорили межъ собой вполголоса зрители обоего пола.—Всѣ-то радостны, веселы; одинъ онъ, вишь, скорбный, убитый, словно сейчасъ только съ похоронъ.

— А что жъ, почемъ знать? можетъ, и вправду отца аль мать схоронилъ.

— А то молодая жена, невѣста разлюбила.

— Этакого-то разлюбить? Сморозила, матушка, тоже!

Если бы самого Курбскаго спросили на духу, о чемъ онъ такъ скорбитъ, онъ отвѣтилъ бы, что скорбитъ за своего царевича — теперь царя Димитрія. Не потому, чтобы Димитрію въ чемъ-либо не посчастливилось,—о нѣтъ! Напротивъ. Начиная съ 7-го мая, когда Басмановъ явился къ нему въ Путивль бить челомъ, городъ за городомъ сдавались ему безъ выстрѣла, духовенство вездѣ выходило встрѣчать его съ крестомъ и церковными хоругвями, жители—съ хлѣбомъ-солью. При остановкахъ на большой дорогѣ, какъ по мановенію волшебнаго жезла, раскидывались роскошные шатры, а на стекавшихся изъ окрестныхъ деревень крестьянъ, за ихъ простую хлѣбъ-соль, сыпались изъ собственныхъ государевыхъ рукъ золотымъ дождемъ чер-

вонцы. Молва о томъ далеко опережала молодого царя, и походъ его на Москву обратился въ какое-то тріумфальное шествіе. Въ Серпуховѣ, на удивленіе мѣстныхъ горожанъ, царскій шатеръ преобразился даже въ маленькую крѣпостцу съ башеньками и развѣвающимся стягомъ.

Въ Москву, однако же, признано было болѣе осторожнымъ отправить впередъ двухъ дворянъ: Пушкина и Плещеева, съ особой граматой. Когда тѣ прибыли въ Красное Село, подмосковное помѣстье царское, и прочитали царское посланіе передъ именитыми гражданами — серебряниками и купцами, —эти проводили гонцовъ со всякою почестью до самой столицы. Здѣсь съ Лобнаго мѣста грамата была прочитана вторично. Сочинилъ грамату маленькій секретарь государевъ, панъ Бучинскій, при участіи двухъ патеровъ-іезуитовъ, и сочинилъ, надо сознаться, чрезвычайно искусно: не считая уже нужнымъ доказывать свое царское происхожденіе и коротко упоминая только о своемъ чудесномъ спасеніи волею Всевышняго, Димитрій взывалъ къ совѣсти «своего» любезнаго народа, присягавшаго въ вѣрности царю Ивану Васильевичу и его потомству; онъ обѣщалъ предать полному забвенію все случившееся въ царствованіе «измѣнника и похитителя престола», Бориса Годунова, дабы впредь по всей землѣ русской процвѣтали миръ, благоденствіе и обиліе плодовъ земныхъ. Въ заключеніе каждому сословію въ отдѣльности сулились награды и милости, въ случаѣ же сопротивленія — гнѣвъ Божій и царскій.

Содержаніе этой граматы ударило одуряющимъ хмѣлемъ въ голову москвичей; прямо съ Лобнаго мѣста обезумѣвшіе ринулись во дворецъ Годуновыхъ; пока одни расхищали драгоцѣнности уводили лошадей, вышибали дно у винныхъ бочекъ и опивались до безчувствія, другіе расправлялись со вдовой Бориса и обоими его дѣтьми: царемъ Ѳедоромъ и княжной Ксеніей. Въ тотъ же день по городу разнеслась вѣсть, что матери и сына уже не стало: кто говорилъ, что они съ испугу сами отравились, кто,—что ихъ заключили въ темницу и тамъ задушили; послѣ чего тѣла ихъ, вмѣстѣ съ тѣломъ Бориса, вынутымъ изъ царской гробницы въ Архангельскомъ соборѣ, безъ всякихъ обрядностей были зарыты на убогомъ Срѣтенскомъ кладбищѣ. Княжна же Ксенія была удалена въ дѣвичій монастырь [1]).

Зато на третій же день по кончинѣ царя Ѳедора, 20-го іюня, новый царь Димитрій совершалъ свой торжественный въѣздъ въ Первопрестольный градъ. То-то былъ въѣздъ! Еще передъ заставой встрѣтили государя съ хлѣбомъ-солью выборные отъ бояръ, отъ дьяковъ и отъ первопрестольныхъ «гостей», т.-е. купцовъ (въ числѣ которыхъ Курбскій замѣтилъ и старшаго Биркина). Затѣмъ потянулись

---

[1]) Въ Троицкомъ Сергіевскомъ монастырѣ, гдѣ несчастная княжна, принявшая въ монашествѣ имя Ольги, скончалась въ 1622 году, донынѣ можно видѣть плиту съ надгробною надписью: «Лѣта 7130 августа въ 30 день преставися благовѣрная царевна инока Ольга Борисовна».

по улицамъ къ Кремлю, подъ неумолкаемый звонъ и гулъ колоколовъ, трубачи, литаврщики и музыканты, исполнявшіе воинственный маршъ, за ними польскіе охотники въ сверкающихъ латахъ, за этими русскіе стрѣльцы въ красныхъ съ золотомъ кафтанахъ, далѣе конница съ барабанами и трубами, потомъ духовенство въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ съ хоругвями и иконами, за духовенствомъ уже самъ государь съ первыми московскими боярами и польскими военачальниками, — всѣ верхами и въ самыхъ праздничныхъ нарядахъ; а тамъ «крылатые» польскіе гусары, нѣмецкая дружина и опять стрѣльцы да казаки, щеголяя другъ передъ другомъ своими воинскими доспѣхами. И весь-то этотъ нестерпимый блескъ, небывалый почетъ былъ для одного человѣка—для этого молодого всадника въ красномъ бархатномъ плащѣ, красной бархатной шапкѣ съ алмазнымъ перомъ и въ алмазномъ ожерельѣ. И вся-то эта несмѣтная толпа кругомъ глядѣла во всѣ глаза только на него одного, распростиралась передъ нимъ въ пыли и оглашала воздухъ единодушными ликованіями:

— Здравствуй, отецъ нашъ! Здравствуй, наше красное солнышко, государь и великій князь всероссійскій! Даруй Богъ тебѣ многія лѣта! Да осѣнитъ Онъ тебя на всѣхъ путяхъ жизни чудесною милостью, какъ хранилъ тебя доселѣ!

Отвѣтъ Димитрія звучалъ не менѣе сердечно:

— Здравствуйте, мои дѣти! Встаньте и молитесь за меня Богу.

А на площадяхъ и перекресткахъ священники

съ крестами и евангеліемъ принимали тотчасъ присягу новому государю.

Такъ-то въѣзжалъ царь Димитрій черезъ Неглинную Боровицкими воротами въ Кремль. Здѣсь, на Ивановской площади, были уже разставлены для народа длиннѣйшіе столы съ жаренымъ и варенымъ мясомъ, съ калачами и сайками, а межъ столами возвышались огромныя бочки съ виномъ, брагой и медомъ. И вотъ, какъ только молодой царь выѣхалъ на середину дворцовой площади передъ Краснымъ крыльцомъ, откуда ни возьмись, налетѣлъ вдругъ буйный вихрь, закрутилъ Димитрія и другихъ всадниковъ такъ, что они чуть съ коней не попадали, а простому народу кругомъ пылью всѣ глаза засыпало. Испугался до смерти суевѣрный народъ, давай креститься, толковать промежъ себя:

— Господи, помилуй! Знать, не къ добру! Быть бѣдѣ неминучей...

Вслѣдъ за вихремъ проглянуло опять солнце; успокоенные москвичи, во славу царя, стали ѣсть да пить, тѣшиться пѣснями, кулачною и иною борьбою.

Тутъ на Лобное мѣсто взошелъ, съ другими боярами, опальный при Годуновѣ старикъ Богданъ Бѣльскій, и всенародно прочелъ молитву за спасеніе государя; послѣ чего, снявъ съ себя крестъ съ ликомъ Николая Чудотворца, со слезами поцѣловалъ его и воззвалъ къ толпѣ:

— Радуйтесь, православные, и славьте Всевыш-

няго: вамъ данъ истинный государь! Чтите его и берегите!

А толпа, видя эти искреннія слезы, слыша эти задушевныя слова сѣдовласаго боярина, единодушно кричала ему въ отвѣтъ:

— Да хранитъ Господь царя-батюшку и да погубитъ всѣхъ враговъ его!

Съ того памятнаго дня протекло—немного, немало—четыре недѣли. Бѣды никакой. слава Богу, пока еще не приключилось. Но... но... зачѣмъ было допускать эти вопіющія жестокости съ Годуновыми? Чѣмъ провинился злосчастный царь Ѳедоръ, этотъ свѣтлаго образа, чистой души отрокъ, ко всѣмъ столь увѣтливый, даже къ врагамъ своимъ, въ числѣ которыхъ былъ вѣдь и самъ Курбскій? Чѣмъ провинились его мать-царица и сестра-царевна?.. Да и для чего было тревожить въ могилѣ прахъ Бориса, что̀ тамъ ни говори, все же законнаго, избраннаго самимъ народомъ государя, великаго радѣльца и печальника своихъ подданныхъ!.. Зачѣмъ у царя Димитрія по-прежнему это пристрастіе къ полякамъ, эти тайныя совѣщанія не съ боярами, нѣтъ, а съ секретаремъ-полякомъ Бучинскимъ, съ обоими патерами-іезуитами: Сѣраковскимъ и Ловичемъ? Стало-быть, они ему ближе своихъ русскихъ; стало-быть, онъ не оставилъ еще намѣренія обратить весь русскій народъ въ римскую вѣру, которую самъ втайнѣ исповѣдуетъ. Въ народѣ и такъ уже ходятъ толки о томъ, что молодой царь небрежетъ стародавними обычаями предковъ: передъ обѣдомъ не молится святымъ

*

иконамъ, послѣ трапезы не умываетъ рукъ и не почиваетъ... Что-то изъ всего этого еще выйдетъ?..

Такія-то мысли проносились въ головѣ Курбскаго, когда онъ, въ свитѣ царской, ожидалъ, вмѣстѣ съ царемъ, прибытія царицы-инокини Маѳы. Но была еще одна причина его подавленнаго настроенія,—причина, въ которой онъ самъ себѣ не хотѣлъ признаться: сомнѣніе относительно царскаго происхожденія Димитрія, запавъ разъ въ его душу, не заглохло и заставляло его съ безотчетнымъ недовѣріемъ слѣдить за каждымъ шагомъ, за каждымъ словомъ молодого государя. Это недовѣріе невольно, должно-быть, прорывалось и въ его обращеніи съ Димитріемъ, потому что тотъ, въ свою очередь, догадываясь, видно, что Курбскій уже не такъ беззавѣтно ему преданъ, самъ сталъ его видимо чуждаться. Но сегодня сомнѣніе должно было, наконецъ, разрѣшиться: признаетъ или не признаетъ царица Маѳа своего воскресшаго изъ мертвыхъ сына?

Димитрій, какъ всегда, вполнѣ владѣя собой, озирался кругомъ съ свѣтлорадостной улыбкой, какъ бы вызывая всѣхъ своихъ вѣрноподданныхъ принять участіе въ его сыновней радости; но отъ Курбскаго не могла укрыться нервность его движеній, а также и то, что онъ точно избѣгалъ заговаривать съ окружающими, чтобы звукомъ или дрожаніемъ голоса не выдать своего глубокаго душевнаго безпокойства.

Тутъ въ отдаленіи, откуда ожидалась матушка-

царица, заклубилась снова пыль, и ожидающая толпа, какъ море, заволновалась, заколыхалась.

— Ѣдетъ! ѣдетъ! — повторялось тысячами устъ.

Сквозь пыльное облако засверкали на солнцѣ сперва бердыши передового отряда стрѣльцовъ, затѣмъ и золотая царская колымага.

Тутъ и самъ Димитрій не совладалъ съ своимъ нетерпѣніемъ и двинулся навстрѣчу. Передъ колымагой онъ соскочилъ съ коня и съ обнаженной головой преклонилъ колѣно. Царица-инокиня изъ колымаги простерла къ нему руки,—и они очутились въ объятіяхъ другъ у друга. Но сердце матери не вынесло слишкомъ сильнаго потрясенія: припавъ вдругъ къ плечу сына, царица судорожно разрыдалась.

Сцена эта была такъ умилительна, что вызвала сочувственныя слезы и на глазахъ всѣхъ зрителей.

Когда царица нѣсколько успокоилась, царственный сынъ подсадилъ ее обратно къ колымагу и подалъ знакъ, что шествіе можетъ опять тронуться. Самъ онъ уже не сѣлъ на коня; идя пѣшкомъ, съ непокрытой головой, рядомъ съ колымагой, онъ не выпускалъ руки матери, протянутой къ нему изъ колымаги. Они о чемъ-то говорили межъ собой,—о чемъ—никому нельзя было разслышать, потому что трубачи, литаврщики и барабанщики приложили теперь всѣ старанія, чтобы возможно громче заявить и свое собственное сочувствіе. Но

оба—сынъ и мать—такъ и сіяли счастьемъ, поглядывали другъ на друга съ такою любовью и нѣжностью, какъ-будто хотѣли вознаградить себя за все время долгой разлуки.

«Неужто и это притворство?» спрашивалъ себя Курбскій.—«Нѣтъ, нѣтъ, такъ не притворяются»...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Чего ему и во снѣ не мерещилось.

Когда царица-инокиня садилась опять въ колымагу, сидѣвшая тамъ другая женщина въ черномъ, безъ сомнѣнія, такая же монахиня, протянула ей оттуда руки. При этомъ, чего-то испугавшись, она вдругъ откинулась назадъ, такъ что Курбскій не успѣлъ даже разглядѣть ея лица; да не все-ли равно ему было: стара она или молода?

Но вотъ Димитрій, продолжая бесѣдовать съ матерью, узналъ, казалось, ея спутницу: привѣтливо кивнувъ ей головой, онъ заговорилъ съ нею и наклонился ниже къ оконцу колымаги, чтобы лучше разслышать отвѣтъ; потомъ съ тонкой усмѣшкой оглянулся на Курбскаго, слѣдовавшаго верхомъ за колымагой, и сдѣлалъ ему знакъ рукой, чтобы онъ подъѣхалъ ближе. Когда

Курбскій поравнялся съ колымагой, Димитрій представилъ его царицѣ Маѳѣ, какъ перваго своего друга. Тутъ Курбскій имѣлъ случай вполнѣ отчетливо разсмотрѣть черты царственной схимницы, преждевременно одряхлѣвшія, но теперь радостно-возбужденныя. Впалые, но блестѣвшіе отъ неулегшагося еще душевнаго волненья глаза ея были устремлены на него такъ вопросительно и въ то же время участливо, что его самого охватилъ безотчетный трепетъ. Какое-то предчувствіе подсказывало ему, что участіе къ нему царицы находится въ прямой связи съ ея спутницей. Необоримая сила тянула его заглянутъ въ глубь колымаги, и онъ наклонился для этого на самую шею коня. Димитрій, замѣтивъ это, загадочно опять улыбнулся:

— Не заглядывайся, Михайло Андреичъ: ослѣпнешь!

Курбскій смутился и поторопился осадить коня. Но при этомъ ему пришла такая шальная мысль, отъ которой его забила лихорадка, а передъ глазами все закружилось, запрыгало.

«Возможно-ли? Да это было бы такое счастье!.. Но если она дала монашескій обѣтъ, то для нея уже нѣтъ возврата; а это было бы такое несчастье!.. Нѣтъ, лучше покамѣстъ и не думать... Лишь бы добраться поскорѣе до Кремля; тамъ все разъяснится».

Наконецъ-то вотъ и Кремль. На паперти Успенскаго собора ждетъ уже все высшее духовенство, впереди всѣхъ самъ митрополитъ съ крестомъ въ

приподнятыхъ рукахъ, дабы подобающимъ пастырскимъ словомъ привѣтствовать возвращающуюся подъ родную сѣнь многострадальную царицу. Но что̀ именно говорилось владыкой, съ какою торжественностью, съ какимъ благолѣпіемъ совершалось затѣмъ богослуженіе въ храмѣ,—ничего этого Курбскій уже не вѣдалъ. Вѣдь царица, поднимаясь на паперть, опиралась на руку своей спутницы, а спутница эта была никто иная, какъ его Маруся! Е г о-ли точно? Да, да, еще е г о, потому что, хотя одѣяніе на ней уже и не мірское, но еще и не монашеское: одѣта она послушницей, значитъ, еще не пострижена и можетъ возвратиться въ міръ. А сама-то она, голубушка, какъ растерялась! Дрожмя дрожитъ, какъ осиновый листъ, то огнемъ вспыхнетъ, то какъ полотно побѣлѣетъ, не знаетъ, куда и глаза-то дѣть, въ землю бы сейчасъ провалилась. Да нѣтъ, милочка, теперь уже отъ суженаго никуда не скроешься, и подъ землей и на днѣ морскомъ онъ тебя отыщетъ!..

По окончаніи церковной службы, духовенство чиннымъ порядкомъ двинулось въ царскій дворецъ, чтобы окропить святой водой тѣ покои, въ которыхъ временно должна была остановиться царица Марѳа, пока для нея не будетъ пріуготовлено надлежащее помѣщеніе въ особой обители. За духовенствомъ слѣдовали молодой царь съ матушкой-царицей, а за ними, въ числѣ другихъ, и Курбскій. Тутъ, при всей своей невнимательности, онъ не могъ не замѣтить, что, во время освященія одного изъ покоевъ, къ государю приблизились оба патера-

іезуита, чтобы быть представленными царицѣ-инокинѣ; послѣ чего Димитрій, отступивъ назадъ съ патерами, началъ съ ними о чемъ-то шептаться, косясь по временамъ то на Марусю, то на самого Курбскаго.

«Ужъ не про насъ-ли съ нею?»—подумалъ Курбскій,—и не ошибся.

По освященіи покоевъ царицы, духовенство удалилось; Курбскій же съ другими царедворцами отправился вслѣдъ за молодымъ царемъ въ престольную палату. По пути туда кто-то его окликнулъ по-польски. Онъ оглянулся: въ углубленіи окна стоялъ патеръ Ловичъ и манилъ его къ себѣ рукой. Пропустивъ другихъ впередъ, Курбскій подошелъ къ молодому іезуиту.

— Простите,—сказалъ онъ,—но мнѣ надо идти за государемъ.

— Остановилъ я васъ по желанію самого же государя,—отвѣчалъ Ловичъ.—Пожалуйте-ка за мною.

— Куда?

— Неужто вы не знаете? Сердце ничего не говоритъ вамъ?

Сердце ему, дѣйствительно, говорило, что ему хотятъ доставить случай объясниться съ своей бѣглой невѣстой, и, не дѣлая уже дальнѣйшихъ вопросовъ, онъ послушно послѣдовалъ за своимъ вожатымъ.

— Здѣсь вотъ и обождите,—сказалъ Ловичъ, приведя его въ небольшую боковую комнатку.

Прошло нѣсколько минутъ томительнаго ожи-

данія. Вдругъ—легкій шорохъ. На порогѣ стояла она, его Маруся, стояла, какъ вкопанная, ни жива, ни мертва, потупивъ звѣздистыя очи. Онъ такъ и рванулся къ ней съ распростертыми руками.

— Люба ты моя! радость моя!

Испуганно вскрикнувъ, она уклонилась отъ него и хотѣла, кажется, обратиться въ бѣгство. Но онъ крѣпко ухватилъ уже ее за обѣ руки.

— Нѣтъ, дорогая моя, теперь ты отъ меня уже не уйдешь, не уйдешь!

И, не выпуская ея рукъ, онъ подвелъ ее къ покрытой персидскимъ ковромъ лавкѣ, усадилъ и самъ усѣлся рядомъ.

— Такъ вотъ гдѣ ты запропала: въ монастырѣ у матушки-царицы! А я-то истосковался по тебѣ! Но на счастье наше ты еще не пострижена. Вѣдь ты только послушница?

— Послушница... при государынѣ должна быть всегда одна изъ насъ на послугахъ...—какъ бы оправдывалась молодая послушница, не смѣя поднять глазъ на своего собесѣдника, который ожигалъ ее своимъ солнечнымъ взглядомъ.

— А царица тебя, конечно, тотчасъ отличила отъ другихъ, всей душой полюбила?

— Да... ни на шагъ уже не отпускаетъ отъ себя...

— Ну, теперь-то отпуститъ!

— Зачѣмъ ей меня отпускать? Я передъ ней ни въ чемъ, кажись, не провинилась.

— Очень даже провинилась!

— Въ чемъ?

— Въ томъ, что рвешься вонъ на волю: суженаго конемъ не объѣдешь.

Игривая нота въ голосѣ Курбскаго глубоко, казалось, оскорбила бѣдную дѣвушку. На рѣсницахъ у нея выступили слезы.

— И не грѣхъ тебѣ, Михайло Андреичъ, шутить такъ надо мной!..

— Ну, полно же, полно!—заговорилъ онъ вдругъ совершенно другимъ уже, нѣжнымъ тономъ.—Прости, моя милая: шутилъ я потому, что такъ счастливъ, такъ счастливъ! Вѣдь я тоже, благодаря Бога, свободенъ.

— Свободенъ? А жена твоя Раиса?

— Раисы третій годъ уже нѣтъ въ живыхъ.

Въ короткихъ словахъ разсказалъ онъ тутъ все то, что̀ узналъ про болѣзнь и смерть Раисы полгода назадъ отъ отца Смарагда, старика-священника князей Рубцовъ-Мосальскихъ.

Но, странное дѣло! по мѣрѣ того, какъ Маруся должна была все болѣе убѣждаться, что къ браку ея съ Курбскимъ нѣтъ уже никакихъ препятствій, лицо ея становилось все грустнѣе, безнадежнѣй.

— Боже, Боже...—лепетала она про себя.—Чѣмъ я это заслужила?

— Что̀ такое?—спросилъ Курбскій, совсѣмъ сбитый съ толку. — Ты точно и не радуешься вмѣстѣ со мной?

— Чему радоваться-то? Развѣ это теперь возможно!

— Чтобы намъ пожениться? А почему бы нѣтъ?

— Потому что я не княжна, даже не боярышня...

— Но дороже мнѣ всякой и княжны и боярышни...

— То-то и горе! Хоть и будешь любить меня, какъ жену свою, а все же будешь меня стыдиться передъ людьми...

— Я тебя стыдиться?

— Да какъ же: ни одна вѣдь родовитая боярыня не признаетъ ровней себѣ дочь купеческую... А изъ за меня и тебѣ не будетъ уже того почета при дворѣ...

— Ну, это мы еще посмотримъ!—воскликнулъ Курбскій, гордо выпрямляясь и сверкая глазами.

— Навѣрное, говорю тебѣ. Нѣтъ, милый князь; пусти меня назадъ въ монастырь; авось, со временемъ забудемъ другъ друга...

Отъ приступившихъ къ горлу слезъ голосъ ея осѣкся. Тутъ, какъ изъ полу, передъ обоими выросла темная тѣнь: передъ ними стоялъ молодой патеръ Ловичъ.

— Простите, если я прерву вашу бесѣду,—заговорилъ онъ.—Случайно находясь здѣсь рядомъ, я кое-что разслышалъ. Мой пастырскій долгъ—придти вамъ на помощь. Не дозволите-ли указать вамъ самый простой путь, какъ выдти изъ затрудненія къ обоюдному вашему удовольствію?

Еще со времени своего пребыванія на Волыни Курбскій не довѣрялъ ни тому, ни другому изъ двухъ тайныхъ іезуитовъ. Но младшій и прежде не разъ уже выказывалъ добрыя человѣческія по-

бужденія; можетъ-быть, и теперь онъ руководился ими.

— Будемъ вамъ очень благодарны,—отвѣчалъ Курбскій за себя и Марусю.

— Изволите видѣть,—началъ іезуитъ:—какъ дѣвица разсудливая, вы, пани, совершенно справедливо опасаетесь выйти замужъ за царедворца: самимъ вамъ врядъ-ли когда-либо удалось бы занять подобающее мѣсто среди придворной знати, а изъ-за васъ и супругъ вашъ сталъ бы какъ бы опальнымъ.

— Ну, вотъ, вотъ! что̀ я говорила?—прошептала Маруся.

— Теперь спрашивается: такъ-ли ужъ вамъ обоимъ дорогъ этотъ придворный блескъ, придворный шумъ? Или же вы предпочитаете мирное семейное счастье?

— Конечно, семейное счастье!—не задумываясь, отвѣчалъ Курбскій.

— А вы, пани?

— Конечно, тоже... — отвѣчала Маруся, все лицо которой расцвѣло новой надеждой.

— А коли такъ, то о чемъ же горевать?—продолжалъ патеръ.—Вѣдь покойный батюшка вашъ, пани, еєли не ошибаюсь, былъ крупный коммерсантъ, а вы послѣ него единственная наслѣдница?

— Да... но дядя—опекунъ мой...

— Такъ что̀ жъ изъ того? Онъ замѣняетъ вамъ отца.

— Но деньги-то наши онъ пустилъ въ оборотъ...

— Ну, такъ онъ васъ выдѣлитъ.

— Да захочетъ-ли онъ?

— По своей охотѣ или нѣтъ, но онъ долженъ васъ выдѣлить! А въ эти смутныя времена можно, я слышалъ, имѣть прекрасныя помѣстья за безцѣнокъ. И заживете вы мирно и счастливо вдали отъ суетныхъ тревогъ придворнаго міра. Самъ царь Соломонъ еще говорилъ про эту суету суетъ—vanitas vanitatum...

— Одно лишь вы упустили изъ виду, святой отецъ,—сказалъ Курбскій, черты котораго опять слегка омрачились.

— Что̀ именно?

— Что не женѣ содержать семью, а мужу...

— Да развѣ все мое—не твое, желанный ты мой?—возразила Маруся, но, сама тотчасъ застыдившись, что назвала его такъ, зардѣлась до ушей и потупилась.

— Совершенно вѣрно, — поддержалъ ее съ своей стороны Ловичъ:—въ доброй христіанской семьѣ развѣ можетъ быть отдѣльная собственность? А кто, какъ не мужъ, глава дома? Кто, какъ не онъ, отвѣтствуетъ за цѣлость общей семейной собственности? Да на вашихъ плечахъ, любезный князь, будетъ держаться весь домъ. Спасибо еще, что плечи-то у васъ такія широкія, богатырскія!—прибавилъ онъ съ улыбкой.

Въ порывѣ благодарности Маруся схватила руку патера и прижала бы ее къ губамъ, если бы онъ ее не отдернулъ.

— Что̀ вы, пани, что̀ вы! – сказалъ онъ.—Все

это мы съ патеромъ Сѣраковскимъ живо оборудуемъ. Что же до свадьбы, то ее, пожалуй, придется нѣсколько отложить, потому что на будущей недѣлѣ вѣдь назначена коронація государя, а тамъ пойдутъ разныя празднества...

— Да почему намъ не повѣнчаться до того?— спросилъ Курбскій.—Когда вы, святой отецъ, располагаете переговорить съ дядей моей невѣсты?

— Можетъ-быть, еще сегодня.

— Ну, а завтра мы и повѣнчаемся.

— Уже завтра?!—ахнула Маруся.

— Доброе дѣло зачѣмъ откладывать?—поддержалъ Курбскаго патеръ.—Только въ такой скорости свадьба, не взыщите, не можетъ быть пышной.

— Да на что̀ намъ пышность?—отвѣчалъ Курбскій.—Чѣмъ тише и скромнѣе, тѣмъ даже лучше. Не такъ-ли, моя дорогая?

— О, да, конечно ..

— Ну, вотъ, стало-быть, завтра вы будете уже счастливыми супругами,—сказалъ патеръ.—Но сегодня вы позволите мнѣ все-таки первому пожелать вамъ всякаго благополучія! А теперь, пани, не пора-ли вамъ и къ царицѣ-матери?

— Ахъ, да, да...—спохватилась Маруся, вся пылая отъ смущенія и счастья.—Не знаю только, какъ мнѣ пройти къ ней...

— А я, извольте, провожу васъ. Ступайте, милый князь, ступайте своей дорогой, васъ намъ не нужно!—шутливо добавилъ Ловичъ, когда Курб-

скій двинулся было за ними.—На вѣку своемъ еще наглядитесь другъ на друга.

— Чѣмъ только мы заслужили такую вашу доброту!—говорила Маруся молодому іезуиту, когда они вдвоемъ рядомъ палатъ шли къ покоямъ царицы.

— Чѣмъ? Да хотя бы ужъ тѣмъ, что оба вы изъ-за царя Димитрія и будущей царицы Марины столько настрадались. А кому же облегчать страданія своихъ ближнихъ, какъ не служителямъ святой римской церкви?

Не могъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, открыть ей, что имъ, этимъ служителямъ римской церкви, необходимо было, во что бы то ни стало, удалить отъ молодого государя разъ навсегда его ближайшаго друга, черезчуръ уже преданнаго своей родной православной церкви.

Надо отдать справедливость отцамъ-іезуитамъ: они сдѣлали для нашихъ обрученныхъ даже болѣе обѣщаннаго. На другой же день въ приходской церкви, къ которой были приписаны Биркины, состоялось бракосочетаніе Курбскаго съ Марусей,—состоялось возможно тихо и скромно: единственными свидѣтелями были: со стороны Курбскаго—Басмановъ и Петрусь, а со стороны Маруси—ея два дяди и тетки. Надо-ли говорить, что для Степана Марковича, гордившагося такъ своимъ новымъ родственникомъ, было большимъ ударомъ, что ему нельзя было при этой оказіи «пустить пыль въ глаза» другимъ «толстосумамъ» Китай-города; Платонида же Кузьминишна печалилась больше всего

о томъ, что племянница, вопреки тогдашнему обычаю, не хотѣла даже къ вѣнцу хорошенько набѣлить-нарумянить щеки, насурмить брови; но Маруся, зная, что Курбскому ея природный свѣжій румянецъ, природная «соболиная» бровь нравятся гораздо болѣе, не нашла возможнымъ сдѣлать это одолженіе теткѣ.

О выдачѣ Марусѣ всего отцовскаго наслѣдства Степанъ Марковичъ сначала и слышать не хотѣлъ. Но патеръ Сѣраковскій, ведшій съ нимъ переговоры, обѣщалъ приложить всѣ старанія, чтобы ему былъ предоставленъ если не безданный, безпошлинный торгъ, то хотя бы «хорошенькій подрядецъ» для царскаго двора, и кремень-купецъ сдѣлался сговорчивѣе. Впрочемъ, особенной надобности въ отцовскомъ наслѣдствѣ для Маруси даже не представилось: по окончаніи вѣнчальнаго обряда, Басмановъ вручилъ Курбскому большой пергаментный листъ со словами:

— Благовѣрный и всемилостивѣйшій великій князь и государь нашъ Димитрій, въ ознаменованіе своего особаго благоволенія и дружбы, жалуетъ тебѣ, князь, отъ щедротъ своихъ подмосковную съ тремя стами душъ; а дабы ты всегда памятовалъ сегодняшній день, сдѣлавшій тебя счастливымъ супругомъ, та подмосковная будетъ отнынѣ называться, по твоей супругѣ, Марусино.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Дорогіе гости.

Счастливые часовъ не наблюдаютъ». Молодые супруги Курбскіе были изъ числа такихъ счсстливцевъ. Мѣсяцъ проходилъ за мѣсяцомъ, а они, какъ засѣли въ своемъ Марусинѣ, такъ и не трогались уже оттуда. Усадьба была сильно запущена; про крестьянскіе дворы и говорить нечего: гдѣ крыша протекала, гдѣ двери и окна покосились, гдѣ стѣны были подперты жердями и, того гляди, могли рухнуть. И вотъ, лишь только были справлены осеннія полевыя работы, какъ и въ усадьбѣ и въ деревнѣ застучали топоры, завизжали пилы, чтобы всѣмъ-то устроить пріютное жилье. Но сквозь этотъ хаотическій визгъ, стукъ и грохотъ звенѣли веселыя пѣсни, звучалъ здоровый смѣхъ трудящихся, и для слуха и сердца молодыхъ господъ эта простая музыка труда была куда слаще сложной гармоніи

заморскихъ скрипицъ, флейтъ и барабановъ. Трудъ былъ здѣсь вѣдь не подневольный, и въ этихъ пѣсняхъ, въ этомъ смѣхѣ изливалось довольство крестьянъ своимъ дѣломъ, своими новыми господами. По вечерамъ же, въ угоду молодой княгинѣ, деревенская молодежь заводила разныя игры и хороводы. И какъ же было ее, голубушку, не потѣшить, когда она не гнушалась заговаривать съ самой бѣдной старушонкой, у всякой бабы, всякой дѣвушки вывѣдывала,—въ чемъ кому нужда, а потомъ всякаго надѣляла чѣмъ нужно. Не даромъ ее теперь и величали-то не иначе, какъ «нашей княгинюшкой».

Всѣхъ болѣе, однако, славила ее одна почтенная старушка, Маланья Сѣдельникова, мать того молодого стрѣльца-знаменщика, Прокопа Сѣдельникова, котораго (какъ припомнятъ, можетъ-быть, читатели) Курбскій нашелъ умирающимъ въ лазаретѣ подъ Новгородомъ-Сѣверскомъ. По пути изъ Москвы въ Марусино, при остановкѣ въ одномъ селѣ, Курбскій случайно услышалъ названіе этого села – Вяземы. Тутъ, какъ воочію, предсталъ передъ нимъ опять распростертый на соломѣ, умирающій стрѣлецъ, живо вспомнилась его предсмертная просьба: буде ему, Курбскому, доведется разъ быть подъ Москвою, въ селѣ Вяземахъ, то навѣстилъ бы его мать-старуху, поклонился бы ей отъ имени сына, но, Боже упаси, не говорилъ бы ей, какъ онъ, бѣдняга, мучился передъ кончиной, а сказалъ бы только, что онъ палъ въ честномъ бою на полѣ брани. И Курбскій испол-

нилъ теперь его просьбу. Зашедшая въ лачугу къ старушкѣ, вмѣстѣ съ мужемъ, Маруся такъ ее обласкала, что сразу заворожила, заполонила ея скорбящее материнское сердце. Узнавъ, что у одинокой бѣдной Маланьи нѣтъ въ деревнѣ никакой родни, Курбскіе тутъ же выкупили ее у ея господъ и взяли съ собой къ себѣ въ Марусино. Когда же ей здѣсь была еще предоставлена почетная должность птичницы, — старушка про своего «ангела Небеснаго» княгинюшку говорила уже не иначе, какъ съ благоговѣйнымъ восторгомъ.

О томъ, что̀ между тѣмъ происходило въ Москвѣ, до Курбскихъ доходили, конечно, слухи, но слухи отрывочные и не всегда достовѣрные. Такъ слышали они, напримѣръ, что на мѣсто прежняго мрачнаго Борисова дворца, срытаго до основанія, возводится новый, иноземнаго образца, пышный и свѣтлый дворецъ, въ которомъ одна половина назначается для самого царя, а другая для его нареченной невѣсты, будущей царицы Марины; что опальные при Годуновѣ бояре Нагіе и Романовы возвращены въ Москву, при чемъ Ѳедоръ Никитичъ Романовъ, принявшій въ монашествѣ имя Филарета, отказался снять клобукъ и возведенъ въ митрополиты ростовскіе и ярославскіе; что злѣйшіе враги царя, родственники Годунова, не только помилованы, но нѣкоторые изъ нихъ пожалованы даже воеводами,—правда, въ Сибири и въ иныхъ отдаленныхъ мѣстахъ; что князь Василій Шуйскій затѣялъ было смуту и былъ приговоренъ за то къ наказанію плетьми,

положилъ уже голову на плаху, какъ вдругъ бѣжитъ какой-то шустрый человѣчекъ въ польской одеждѣ, машетъ платкомъ и кричитъ палачу: «Стой! государь его прощаетъ».

— Панъ Бучинскій!—догадался Курбскій при разсказѣ объ этомъ.—Ужъ очень онъ сердоболенъ, вѣрно уговорилъ государя простить этого лукавца. Какъ бы имъ обоимъ потомъ не раскаяться!

Опасеніе Курбскаго впослѣдствіи, дѣйствительно, оправдалось.

Подъ Рождество въ Марусино прибыли изъ Москвы дорогіе гости: младшій дядя молодой княгини, Степанъ Марковичъ Биркинъ, и «благовѣрная» его старшаго брата, Платонида Кузьминишна; самого Ивана Марковича задержали его торговыя дѣла, которыя обѣщали оживиться съ воцареніемъ Димитрія.

Первымъ дѣломъ, разумѣется, Курбскій долженъ былъ показать гостямъ всѣ свои угодья, а Маруся—свое домашнее хозяйство.

— Домостроительница, что̀ и говорить!—чистосердечно похвалила ее испытанная «домостроительница»—тетка,—что̀ было для племянницы, конечно, масломъ по сердцу.

— А теперича, невѣстушка, давай-ка выкладывать имъ наши столичныя новости,—сказалъ Степанъ Марковичъ,—сперва ты, а тамъ и я.

— Да какъ же я раньше-то тебя?..—удивилась Платонида Кузьминишна.

— Ну, ну, не жеманься: все равно вѣдь вся-

кое слово у меня изо рту вынешь. Только чуръ, матушка, потомъ меня уже не перебивать! Отзвонишь—и съ колокольни долой.

И принялась она «звонить». Благодаря своимъ постояннымъ щедрымъ приношеніямъ въ пользу разныхъ церквей, она пользовалась особенной протекціей духовенства. Такимъ образомъ, ей, не въ примѣръ другимъ, удалось попасть въ Успенскій соборъ на священное коронованіе Димитрія, и она теперь просто словъ не находила для описанія всего благолѣпія этого торжественнаго обряда. Весь путь вѣдь отъ дворца до собора былъ устланъ бархатнымъ, малиноваго цвѣта ковромъ, затканнымъ золотомъ; самъ царь былъ въ порфирѣ, усѣянной самоцвѣтными каменьями, отъ которыхъ въ глазахъ такъ вотъ и рябило. А сколько умиленныхъ слезъ пролила она, когда молодой царь, подойдя къ алтарю, вопреки обычаю, но отъ полноты, знать, наболѣвшаго сердца, сказалъ рѣчь да повѣдалъ всенародно обо всемъ, что̀ претерпѣлъ онъ, горемычный, и о своемъ чудесномъ спасеніи. Слушаешь—не наслушаешься, а слеза такъ и бьетъ, такъ и бьетъ!

Больно было ей, правда, вначалѣ, что обрядъ совершалъ не старый патріархъ Іовъ, котораго вся Москва такъ чтила (за преданность Годуновымъ его, вишь, смѣстили), а вновь возведенный въ патріаршій санъ архіепископъ рязанскій Игнатій; но и этотъ, что̀ ни говори, молитвилъ уставно, а когда онъ, помазавъ царя священнымъ мvромъ, вручилъ ему еще вѣнецъ царскій, скипетръ, державу и воз-

велъ его на прародительскій престолъ, когда затѣмъ самъ онъ, патріархъ, а за нимъ все священство и высшее боярство съ земными поклонами стали прикладываться къ рукѣ вѣнценоснаго царя,—ну, тутъ уже съ радости и восторга просто бы взвыла и свѣта не взвидѣла!

— Значитъ, государь принялъ свой царскій вѣнецъ по строгому православному чину?—сказалъ Курбскій, вздохнувъ съ облегченіемъ.—Патеровъ польскихъ, разумѣется, не было при томъ?

— Охъ, ужъ эти мнѣ патеры! Въ храмъ нашъ православный ихъ, нехристей, знамо, не пустили. А все же, бѣда съ ними, горе одно! Власть забрали непомѣрную: отвели имъ хоромы князя Глинскаго; завели они тамъ свое собственное еретичное богослуженіе, да давай оттуда подводить подкопы подъ наше духовенство.

— Какіе подкопы?

— А такіе, что по ихъ же происками у нашихъ православныхъ поповъ отобрали дома подъ нѣмецкую воинскую команду. Мало того: отрядили своихъ оцѣнщиковъ въ наши православные монастыри... Безбожники! чтобы имъ и на этомъ и на томъ свѣтѣ...

— Молчи, невѣстушка, помалкивай, пустыхъ рѣчей не умножай!—прервалъ расходившуюся женщину болѣе осторожный деверь. — Отзвонила свое,—ну, и съ Богомъ.

— Да вѣдь оберутъ они и нашихъ иноковъ Божьихъ...

— Сколько требуется, небойсь, оставятъ. Цар-

скую рать, матушка, тоже кормить чѣмъ-нибудь да надо, и служатъ въ ней такіе же, чай, какъ и мы съ тобой, русскіе православной вѣры. Коли сдѣлано то по волѣ царской, такъ намъ съ тобой и толковать нечего.

— А что объегорили эти ироды самого тебя да Ивана Маркыча, наобѣщавъ съ три короба, тоже, по-твоему, такъ и быть слѣдуетъ?

— Не вспоминай, сдѣлай милость! Не вороти души моей!

— То-то вотъ! Своя рубашка ближе къ тѣлу.

— Въ чемъ дѣло, Степанъ Маркычъ? — спросилъ Курбскій.

— И говорить-то зазорно, — отвѣчалъ тотъ, почесывая за ухомъ.—Здóрово поддѣлъ онъ меня, этотъ патеръ Сѣраковскій; забодай его быкъ! Снаружи блаженъ мужъ, а внутри вскуе шаташася.

— Но не онъ-ли, дяденька, велъ тогда переговоры съ тобой о моемъ приданомъ? — вставила Маруся.—Это было съ его стороны очень даже любезно...

— Очень даже любезно!—передразнилъ дядя.— Подъѣзжаетъ ко мнѣ змѣй-искуситель съ рѣчами затѣйными: «такой ты, молъ, сякой, немазанный, сухой; выдѣли племянницу, а ужъ я, молъ, въ уваженіе доброй пріязни выпрошу для тебя съ братомъ у молодого царя свободу торговать по всей Руси безданно, безпошлинно». Ну, въ простотѣ моей повѣрилъ я этой польской лисѣ; всѣ наличныя, что́ были на рукахъ, отсчиталъ тебѣ, Машенька...

— За что̀ я тебѣ ужъ такъ благодарна, милый дяденька! Деньги эти для начала намъ здѣсь очень и очень пригодились.

— Ну, вотъ, стало, удоволена? А онъ-то, плутъ, нѣтъ, чтобы уважить, меня же, стараго воробья, на кривой объѣхалъ!

— Не сдержалъ слова?

— Сдержалъ, да спроси: какъ?

— Какъ?

— А такъ, что хошь и вышелъ царскій указъ, по коему мы съ братомъ Иваномъ можемъ торговать свободно, да только не мы одни, а и всѣ-то купцы: и русскіе и иноземные! Да это помереть надо!.. Ну, меня, знамо, взорвало, со злобы чуть кондрашка не хватилъ. «Погоди жъ ты, думаю,— криводушный человѣкъ! живъ быть не хочу, а тебѣ этого не спущу». Пошелъ я, разыскалъ его. Принялъ онъ меня со всѣмъ своимъ подлымъ учтивствомъ:

«— Чѣмъ могу служить, пане?

«— Пане-то пане, говорю,—а честные люди у насъ такъ не поступаютъ!

«— Вы это про кого, говоритъ: — про себя или про меня?» а самъ ядовито этакъ ухмыляется.— «Позвольте, говоритъ,—узнать: выдѣлили вы братца вашего дочку, княгиню Курбскую?

«— Выдѣлилъ, говорю,—а то какъ же.

«— И до послѣдняго, говоритъ,—гроша?

«— Самая малость, говорю,—только за мной осталася.

«— А сколько, позвольте спросить?

«— Это, батенька, говорю,—до тебя не касается: семейное наше дѣло.

«— Стало, все же не исполнили нашего уговора? А я, говоритъ,—въ своемъ словѣ твердъ; выпросилъ свободный торгъ не токмо вамъ съ братцемъ, но и всѣмъ вашимъ землякамъ...

«— И иноземцамъ тоже! Благодарю покорно! Удружилъ!

«— Да ужъ коли я вамъ, русскимъ, такую льготу выхлопоталъ, такъ какъ же, говоритъ,— было мнѣ забыть моихъ родичей, поляковъ и добрыхъ сосѣдей, литовцевъ? А тутъ, говоритъ,—подоспѣлъ еще посолъ аглицкій, сталъ требовать того же для своихъ; какъ отказать? Да все это, говоритъ,—вамъ, русскимъ же, въ прокъ.

«— Какъ такъ?

«— А такъ, молъ, что всѣ иноземные товары у васъ станутъ съ сего времени дешевле.

«— Да намъ-то съ братомъ, говорю, одинъ убытокъ!

«— Не убытокъ, говоритъ,—а польза: нашъ добрый король польскій Сигизмундъ дастъ вамъ, повѣрьте, такія же широкія льготы въ нашемъ царствѣ Польскомъ. Пожалуйте, тогда, пане, торговать къ намъ, милости просимъ!»

— Нѣтъ, каковъ гусь? Надо мною же вѣдь еще издѣвается! Плюнулъ я, да и спину повернулъ. Какъ же, пойду я еще торговать къ нимъ, разбойникамъ, чтобы и шкуру-то послѣднюю содрали!

Прогостивъ въ Марусинѣ съ недѣлю, Биркины собрались опять во-свояси. Новаго гостя изъ Бѣло-

каменной Курбскіе дождались не ранѣе, какъ на Масляной недѣлѣ слѣдующаго 1606 года. То былъ юный почитатель Курбскаго Бутурлинъ.

Состоя при Басмановѣ, успѣвшемъ, въ свою очередь, сдѣлаться ближайшимъ изъ всѣхъ русскихъ совѣтниковъ молодого царя, Бутурлинъ смотрѣлъ на послѣдняго глазами своего патрона и восхищался всякой новинкой при царскомъ дворѣ. Такъ онъ не могъ нахвалиться новымъ дворцомъ, гдѣ стѣны были сплошь въ персидскихъ шелковыхъ тканяхъ, полы въ персидскихъ же коврахъ, окна разувѣшены занавѣсями, а печи сложены изъ разноцвѣтныхъ изразцовъ, съ серебряною вокругъ каждой печи рѣшеткой; двери—рѣзныя, дубовыя, съ позолоченными замками; вмѣсто прежнихъ скамей, вездѣ позолоченные стулья съ бархатными сидѣньями. Въ столовой же палатѣ и сѣняхъ, по всѣмъ угламъ, большіе мраморные истуканы, изображающіе, слышно, древнихъ боговъ и мудрецовъ греческихъ и римскихъ. Подъ стать всему новому убранству и прислуга дворцовая была наряжена уже не въ народное русское платье, а въ венгерское. Точно также и стража царская, которую называли «драбантами», была вся иноземная. Состояла она изъ трехъ дружинъ, по сто человѣкъ въ каждой, подъ началомъ трехъ особыхъ капитановъ: француза Маржерета, англичанина Кноустона и шотландца Вандемана. Маржеретовскіе воины были въ красныхъ бархатныхъ съ парчею плащахъ, Кноустонскіе же и Вандемановскіе въ синебагровыхъ (фіолетовыхъ) полукафтаньяхъ, одни съ зе-

леными, другіе съ красными бархатными лацканами, и все-то ребята рослые, здоровенные, всѣ съ большущими, блестящими алебардами,—заглядѣнье, да и только! Понятно, и жалованье двойное; зато они за царя Димитрія въ огонь и въ воду.

Курбскій слушалъ молча, насупивъ брови,—очевидно, не раздѣляя увлеченія легкомысленнаго юноши.

— Ну, а русскимъ людямъ какъ живется теперь при дворѣ противъ прежняго?—спросилъ онъ.

— Живется имъ тоже вольготнѣй и веселѣе,—отвѣчалъ Бутурлинъ.—За столомъ всякій день музыка да пѣсни; послѣ стола никто и не помыслитъ почивать: либо какое дѣло, либо бездѣлье.

— Но въ боярской думѣ государь все же бываетъ?

— А какъ же: ни единаго разу еще, почитай, не пропустилъ. Прослушаетъ сперва, какъ бояре промежь себя судятъ да рядятъ; а потомъ говоритъ имъ: «Столько часовъ вы, люди добрые, бьетесь, и все безъ толку; а дѣло-то чего проще». И что же вѣдь? сразу рѣшитъ, какъ должно. Станетъ говорить, такъ гдѣ и слова берутся? говоритъ складно, вразумительно, какъ по-писанному. На все-то у него примѣры изъ жизни другихъ народовъ. Бояре, знай, ушами только хлопаютъ, брады уставя, и диву даются. «Вотъ погодите, говоритъ,—буду посылать и вашихъ дѣтей въ чужіе края поучиться уму-разуму, — спасибо еще скажете».

— Что же, дѣло хорошее, хорошее дѣло, —

не могъ не одобрить Курбскій.—Лишь бы изъ-за чужихъ народовъ своего не забывалъ.

— О! государь радѣетъ объ немъ ежечасно. По средамъ и субботамъ самъ просителей принимаетъ на крыльцѣ.

— Всѣхъ безъ разбора?

— Всѣхъ какъ есть: приходи съ челобитной послѣдній хоть нищій — и тому нѣтъ отказу. Судьямъ же и приказнымъ, дабы не прижимали бѣднаго люда, строго-на-строго наказано вершить дѣла безъ посуловъ (взятокъ). А чтобы самому ему еще ближе познать свой народъ, перерядится, бывало, въ простое платье, да самъ-другъ съ Басмановымъ и ходитъ себѣ по городу, заговариваетъ съ прохожими, заглядываетъ въ лавки, въ аптеки... Взялъ онъ это въ примѣръ, сказывалъ Басмановъ, съ какого-то сказочнаго царя арабскаго, что-ли...

— Съ калифа Гаруна-аль-Рашида, — пояснила Маруся, которая, живя въ Самборѣ при паннѣ Маринѣ Мнишекъ, имѣла случай познакомиться тамъ со сказками «Тысяча и одна ночь».—А вотъ что̀ скажи-ка мнѣ, Андрей Васильичъ: заходитъ-ли государь по-прежнему и къ своей матушкѣ-царицѣ?

— Какъ улучитъ только свободное время, такъ сейчасъ и къ ней. И всякій-то разъ, какъ побываетъ этакъ у нея, становится будто еще доступнѣе, ласковѣе.

— Что̀ значитъ мать родная! Но ты говорилъ все про дѣло; а бездѣлье-то у него какое?

— Бездѣлье тоже все благородное: то конское ристалище, то охота псовая, либо соколиная, то

медвѣжья травля: нарочито мы для сего изъ аглицкой земли особыхъ собакъ даже выписали—договъ; а травимъ у себя же, на дворцовомъ заднемъ дворѣ, больше все по воскреснымъ днямъ. Разъ же, въ селѣ Тайницкомъ, государь велѣлъ спустить съ цѣпи медвѣдя-страшилище, да самъ и пошелъ на него съ рогатиной.

— Одинъ? Вотъ безстрашный! А бояре-то какъ допустили?

— Басмановъ и то было выскочилъ впередъ; да государь на него какъ прикрикнетъ: «Отойди, Петя, не мѣшай!» Глядь, съ одного удара и порѣшилъ звѣря, а у самого хоть бы царапинка. Но всѣ эти забавы ничто передъ воинской потѣхой.

— Да вѣдь войны у насъ ни съ кѣмъ теперь нѣтъ?—замѣтилъ Курбскій.

— Покуда нѣтъ; но татары и турки собираются, слышь, опять въ походъ на насъ. Ну, вотъ, и отливаютъ у насъ про нихъ пушки да мортиры; а чтобы и наше русское войско переняло у искусниковъ нѣмцевъ, какъ идти на приступъ, соорудили верстъ тридцать отъ Москвы, въ старой вотчинѣ Борисовой, ледяную крѣпость. Бояре со стрѣльцами засѣли въ крѣпости, а самъ государь съ нѣмецкой командой бралъ ее приступомъ.

— И съ оружіемъ?

Бутурлинъ разсмѣяся.

— Съ оружіемъ, да! Только съ какимъ, знаешь ли? Съ снѣжными комьями! Правда, иные изъ этой нѣмчуры, замѣсто снѣга, метали въ нашихъ каменьями и поранили кое-кого. Какъ подали тутъ

всѣмъ послѣ боя вина да меду, бояре съ досады не хотѣли даже пить спервоначалу во славу побѣдителей-нѣмцевъ. А старикъ Бѣльскій такъ прямо и ляпнулъ: «Не вышло бы, государь, изъ сего плохой шутки. Вернемся-ка лучше въ Москву». И послушался государь, вернулся. Да очень ужъ, видно, полюбилась ему воинская потѣха: велѣлъ онъ возвести на Москвѣ-рѣкѣ, подъ самыми окнами дворца, адъ кромѣшный.

Маруся осѣнилась крестомъ.

— Господи, помилуй! настоящій адъ?

— Ты, дѣточка моя, и повѣрила?—улыбнулся Курбскій.—Вѣрно, тоже нѣчто въ родѣ крѣпостцы?

— Подлинно, что такъ, — отвѣчалъ Бутурлинъ.—Но на подобіе яко бы ада. На дверяхъ изображены слоны съ огромными хоботами; изъ нижнихъ оконъ пышетъ адское пламя, наверху же, замѣсто оконъ, головы чертей съ разинутыми пастями, и изъ тѣхъ пастей глядятъ пушки: «Ой, не подходи! разнесемъ». Вся эта штука при томъ на колесахъ; какъ двинется этакъ на погань бусурманскую, такъ та со страху навѣрное бросится бѣжать безъ оглядки.

— А москвичи что̀ говорятъ про эту затѣю?

— Да что̀ наши москвичи! Народъ богобоязный, да темный. Почитаютъ и впрямь не то адомъ, не то дьявольскимъ навожденіемъ, крестятся да отплевываются. Какъ предложилъ тутъ государь стрѣльцамъ штурмовать эту небывалую крѣпость, тѣ поголовно отказались. Ну, и пристыдилъ же онъ ихъ: вызвалъ охотниковъ изъ польскихъ рейтеровъ; эти,

понятно, не устрашились и лихо пошли на приступъ [1]).

Курбскій подавилъ вздохъ.

— Такъ правда, значитъ,—сказалъ онъ,—что поляковъ государь все-таки еще предпочитаетъ своимъ русскимъ?

— Да какъ же, коли невѣста у него изъ полячекъ?

— А что, Андрей Васильевичъ, — перемѣнила тему Маруся,—когда же ихъ свадьба?

— Свадьба настоящая, православная, будетъ

---

[1]) Точное описаніе устроеннаго въ январѣ 1606 года на Москвѣ-рѣкѣ «ада» сохранилось въ запискахъ безпристрастнаго очевидца, голландскаго купца Исаака Массы, жившаго въ Москвѣ съ 1601 по 1609 годъ. Какое, напротивъ, устрашающее впечатлѣніе производило это невиданное дотолѣ сооруженіе на простыхъ русскихъ людей, показываютъ слѣдующія строки безвѣстнаго инока Троице-Сергіевскаго монастыря, написанныя лѣтомъ 1606 года:

«И сотвори себѣ въ маловременной жизни потѣху, а въ будущій вѣкъ знаменіе превѣчнаго своего домовища, его же въ Россійскомъ государствѣ, ни въ которыхъ во иныхъ, кромѣ подземнаго, никто же видѣ на земли, адъ превеликъ зѣло, имѣющъ у себѣ три главы, и содѣла обоюду челюсти его отъ мѣди бряцало веліе, егда же разверзаетъ челюсти своя, и извну его яко пламя предстоящимъ ту является, и веліе бряцаніе исходитъ изъ гортани его, зубы же ему имѣющи осклабленны и ногти ему яко готовы на ухапленіе, и изъ ушію его яко же пламени распалявшуся; и постави его проклятый онъ прямо себѣ на Москвѣ-рѣцѣ, себѣ во обличеніе, дабы ему и съ превысочайшихъ обиталищъ своихъ зрѣти на нь всегда, и готову быти въ нескончаемыя муки во нь на вселеніе и съ прочими доиномысленными своими».

сейчасъ, слышно, какъ только невѣста прибудетъ въ Москву. Католическая же была вѣдь еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ въ Краковѣ.

— Въ Краковѣ! Да развѣ государь ѣздилъ для этого опять въ Краковъ?

— Самъ-то не ѣздилъ; повѣнчали его съ невѣстой заочно.

— Какъ такъ заочно?

— А такъ, что въ Краковѣ заступалъ его думный дьякъ Власьевъ Аѳанасій Иванычъ. Да какіе подарки онъ повезъ имъ изъ Москвы!

И Бутурлинъ съ одушевленіемъ началъ перечислять эти подарки [1]).

---

[1]) Изъ обширнаго списка подарковъ (на двухъ страницахъ), приложеннаго къ дневнику Марины Мнишекъ, веденному съ 1605 по 1608 г., и изъ росписи, составленной дьякомъ Власьевымъ, назовемъ здѣсь подарки наиболѣе замѣчательные:

Отъ царской матери, инокини Маѳы, Марина получила образъ Пресвятыя Троицы, богато оправленный въ золотѣ и съ каменьями; отъ царственнаго жениха своего: 1) корабль изъ золота, драгоцѣнныхъ каменьевъ и жемчуга, цѣною въ 60,000 польскихъ злотыхъ; 2) золотого пеликана, достающаго свое сердце для птенцовъ; 3) золотого павлина съ распущеннымъ хвостомъ, «коего перья тряслись, какъ на живой птицѣ»; 4) серебряный сосудъ въ видѣ богини Діаны, сидящей на золотомъ оленѣ съ коралловыми рогами; 5) золотого вола съ каменьями, внутри котораго драгоцѣнный домашній приборъ; 6) большіе золотые часы, «на коихъ слонъ съ башнею; играли, по московскому обычаю, разныя штуки громко и внятно, били въ бубны, трубили изъ двѣнадцати трубъ и долго оглушали уши слушателей; потомъ играли на флейтахъ и, наконецъ, били часа два».

— Но почему же она до сихъ поръ все не ѣдетъ въ Москву?—спросилъ Курбскій.

Бутурлинъ пожалъ плечами.

— Господь ее вѣдаетъ! Государь и то не можетъ дождаться: на Рождествѣ еще послалъ нарочно въ Краковъ пана Бучинскаго и Михайлу Толчанова съ большими деньгами (на дорогу) и новыми подарками пану воеводѣ, чтобы поторопился отъѣздомъ; вдогонку покатилъ Иванъ Безобразовъ, а теперь вотъ, на дняхъ, отправлены къ нимъ въ Самборъ одинъ за другимъ еще два гонца.

— Удивительное дѣло! Словно съ умысломъ вѣдь затягиваютъ свой пріѣздъ.

— А я знаю, почему!—сообразила Маруся.

— Почему?

— Да потому, что выходитъ-то панна Марина за нашего русскаго царя не по своей охотѣ.

— Какъ не по своей? — возразилъ Курбскій.— Не сама-ли она, скажи, первая опутала его своими чарами, когда онъ былъ еще царевичемъ...

— Да, ей вскружила голову царская власть Кромѣ того, ей нашептали эти два патера, что чрезъ нее будетъ обращенъ въ латинство весь русскій народъ и что она обрѣтетъ тѣмъ царство Небесное. Но сердца въ груди не заглушишь!

— Такъ ты полагаешь, что она и доселѣ еще

Родителю невѣсты, пану воеводѣ Юрію Мнишку, были, между прочимъ, посланы отъ царя: 1) конь въ яблокахъ съ богатымъ сѣдломъ, наголовникомъ и проч; 2) три кречета съ золотыми колокольчиками и жемчужными наголовками; для держанія же ихъ—рукавицы золотыя турецкія.

*

не забыла кого-либо изъ своихъ прежнихъ поклонниковъ? У ногъ ея, говорятъ, вздыхали первые польскіе рыцари. Чаровница! Но я, признаться, съ тѣхъ поръ, что ее знаю, ничего-таки не замѣтилъ.

— Ты, Миша, ничего, вообще, не замѣчаешь: у тебя глазъ мужской, не женскій. А я была ея любимой фрейлиной, отъ меня у нея почти не было тайнъ.

— Такъ ты думаешь?..

— Думаю, что не пошли ей судьба русскаго царевича, она давнымъ-давно была бы паньей Осмольской. Однимъ имъ, Осмольскимъ, было время, только живетъ и дышетъ.

— Гмъ... Осмольскій и то вѣдь изъ всѣхъ поляковъ, что̀ знавалъ я, чуть-ли не самый прямой и милый. Сравниться съ нимъ могъ развѣ Бучинскій.

— Да и Бучинскій не такой прямодушный.

— Пожалуй; по должности своей секретарской онъ поневолѣ скрытничаетъ. Но при мнѣ Осмольскій никогда не показывалъ и виду, чтобы панна Марина ему нравилась болѣе другихъ паненекъ.

— Потому что онъ истинный рыцарь. Понялъ, видно, что у нея одно на умѣ — царскій вѣнецъ, ну, и самъ отступился. Но любовь—пожаръ, загорится—не потушишь. Помяни мое слово: пріѣдетъ она въ Москву, и онъ будетъ тутъ какъ тутъ.

— Вспомянемъ, — недовѣрчиво усмѣхнулся Курбскій.—Только когда-то мы съ тобой еще попадемъ въ Москву!

— Когда? А къ самому въѣзду панны Марины. Право, голубчикъ Миша, мнѣ такъ хотѣлось бы!.. Я была съ нею такъ дружна...

— Хороша дружба! Забыла ты, видно, какъ коварно она съ тобой тогда поступила въ Жалосцахъ?

— При пожарѣ православнаго храма? Да вѣдь я могла уличить этихъ двухъ патеровъ въ поджогѣ храма, а для нея нѣтъ ничего выше ея римской вѣры. Ей надо было спровадить меня хоть на край свѣта. Ну, и сама я, признаться, тогда погорячилась, наговорила ей изъ-за тебя много лишняго. Но теперь всѐ это давно быльёмъ поросло, и никто тебя у меня уже не отниметъ! Ну, пожалуйста, миленькій, хорошій ты мой! И самъ ты свидишься опять съ государемъ, твоимъ лучшимъ вѣдь другомъ...

Могъ-ли онъ сказать ей, что между нимъ и его царственнымъ другомъ стояла по-прежнему замогильная тѣнь угличскаго странника? Просила же его молодая жена такъ нѣжно, такъ умильно... И не достало у него духу отказать ей въ этой совершенно понятной и невинной просьбѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Какъ Марина Мнишекъ въѣзжала въ Москву и какъ Маруся Курбская приняла также участіе въ этомъ въѣздѣ.

Согласно напередъ установленному церемоніалу, въѣздъ царской невѣсты въ Москву долженъ былъ состояться 2 мая по Смоленской дорогѣ. На разстояніи ружейнаго выстрѣла отъ городскихъ воротъ были раскинуты два роскошныхъ шатра; а чтобы задержать напоръ несмѣтныхъ зрителей небываллаго еще зрѣлища, отъ шатровъ до города и далѣе по городскимъ улицамъ вплоть до Кремля была разставлена цѣпь конныхъ казаковъ и пѣшихъ ратниковъ. Вставшимъ спозаранку Курбскимъ, Биркинымъ и безотлучному казачку первыхъ Петрусю удалось занять мѣста хотя и позади воинской цѣпи, но противъ самыхъ шатровъ. Такимъ образомъ, въ ожиданіи, они имѣли полную возможность на-

глядѣться, во-первыхъ, на сверкавшую серебромъ и золотомъ группу всадниковъ-бояръ, долженствовавшихъ встрѣтить здѣсь невѣсту государя; потомъ на царскій подарокъ ей—двѣнадцать верховыхъ коней подъ мѣховыми попонами, съ золотыми удилами и серебряными стременами; наконецъ, на назначенную для нея же раззолоченную колымагу, запряженную десятью безподобными чубарыми конями.

А вотъ, при звукахъ трубъ, флейтъ и барабановъ, показался и поѣздъ царственной гостьи: впереди стрѣльцы, за ними польскіе гусары, за этими высланные навстрѣчу ей до границы московскіе бояре и ея родственники: отецъ, дядя, братъ и зять; далѣе—ея личная охрана.

— Ну, что̀ я говорила, Миша?—замѣтила Маруся.—Вонъ и панъ Осмольскій; но какъ онъ измѣнился! Краше въ гробъ кладутъ...

Дѣйствительно, во главѣ польской охраны ѣхалъ панъ Матвѣй Осмольскій; посадка его была, какъ всегда, молодецкая; но лицомъ онъ былъ страшно худъ и блѣденъ, какъ послѣ недавно перенесенной тяжкой болѣзни, и въ чертахъ его была написана самая безысходная скорбь.

Между тѣмъ, Платонида Кузьминишна восхищалась приближающейся каретой наияснѣйшей панны Марины или, вѣрнѣе сказать, возсѣдавшимъ на высокихъ козлахъ толстѣйшимъ возницей въ зеленомъ шелковомъ кафтанѣ:

— Вотъ кучеръ такъ кучеръ! Кабы намъ, Иванъ Маркычъ, такого же дородствомъ...

— И лошадокъ такихъ бы!—отозвался Иванъ Марковичъ:—ужъ куда знатно окрашены! Да вѣдь нашему брату, купчинѣ, такой масти не разрѣшатъ!

Восьмерка коней, везшихъ карету, въ самомъ дѣлѣ, была диковинной масти: до половины тѣла ярко-багрянаго цвѣта, а выше—бѣлоснѣжнаго.

Не успѣла карета остановиться, какъ стоявшіе на запяткахъ два великана-гайдука спрыгнули наземь, чтобы раскрыть дверцы; а подоспѣвшій уже старикъ-родитель будущей царицы, панъ Юрій Мнишекъ, съ утонченною почтительностью высадилъ ее оттуда и провелъ затѣмъ въ ближайшій шатеръ. Туда же скрылись за ними какъ прочіе вельможи, такъ и вышедшая изъ ѣхавшихъ сзади каретъ женская свита; а польскіе тѣлохранители не замедлили окружить шатеръ.

Изъ-за казацкой цѣпи едва-ли не одинъ только Курбскій, благодаря своему высокому росту, видѣлъ хорошенько все описанное. Любопытство же у всѣхъ было одинаковое; задніе напирали на переднихъ, а эти поневолѣ на заграждавшихъ имъ видъ конныхъ казаковъ. Тутъ казаки стали пятить коней, грозя пустить въ ходъ нагайки. Произошла отчаянная давка; раздались бранные крики и раздирательные вопли:

— Чего толкаешься, мужланъ, деревенщина неотесанный!

— Ой, родимые! касатики! побойтесь Бога! отпустите душеньку на покаяніе!

Жалобнѣе всѣхъ голосила толстуха Платонида

Кузьминишна, такъ что даже обратила вниманіе начальника тѣлохранителей, пана Осмольскаго. Онъ оглянулся въ ея сторону и узналъ тутъ возвышавшагося надъ всѣми окружающими Курбскаго.

— А! князь Курбскій! И вы здѣсь? Пропустить впередъ ясновельможнаго князя!—отнесся онъ къ казакамъ.

Курбскій за руку съ Марусей выбрался впередъ изъ-за цѣпи.

— А меня-то что же, милостивецъ, отецъ родной?—заверещала снова Платонида Кузьминишна.—Вѣдь я имъ тетка, тетка!

Ея дѣтски-пискливый голосокъ при безформенно-тучномъ тѣлѣ разсмѣшилъ казаковъ.

— Коли тетка, такъ какъ не уважить? Пропустите, братцы, тетку!

Сомкнувшаяся цѣпь опять разомкнулась. Юркій Петрусь чуть было также не проскользнулъ вслѣдъ за «теткой»; но его въ-время еще схватила за шиворотъ казацкая рука.

— Ты куда, пострѣлъ? Назадъ!

А тутъ изъ шатра появилась опять панна Марина со всей своей женской и мужской свитой. Платонида Кузьминишна, шумно еще вздыхая, выпучила свои заплывшіе жиромъ глаза, чтобы не упустить ничего изъ праздничнаго убора царской невѣсты. А уборъ былъ, точно, на диво: бѣлое атласное платье было все отдѣлано «венецкими» кружевами, серебряной тесьмой и жемчугомъ; на груди, изъ-подъ широкаго вырѣза, сверкало алмаз-

ное ожерелье; на рукахъ—драгоцѣнныя запястья; на головѣ — многогранная шапочка (беретъ) изъ фіолетоваго бархата съ огромнымъ бѣлымъ страусовымъ перомъ, прикрѣпленнымъ крупной алмазной запонкой.

— Ай, хороша! цвѣточекъ! подлинная царевна!—шептала толстуха.—А взглядъ-то какой искрометный, занозистый; надо быть, норовиста—и, Боже мой!

Такое заключеніе, дѣйствительно, оправдывалось тою строгою, неприступною гордостью, которая выражалась въ прелестныхъ классически-правильныхъ чертахъ лица молодой полячки, во всей ея изящной фигурѣ и по истинѣ царственной осанкѣ.

И вдругъ, замѣтивъ въ числѣ зрителей свою бывшую подругу, эта зазнавшаяся гордячка разомъ преобразилась: въ ея надменномъ взорѣ блеснула неподдѣльная радость, сжатыя губы ея раздвинулись обворожительной улыбкой,—и она стала безусловно-прекрасной.

— Ты ли это, моя Муся?—спросила она по-польски и сдѣлала шагъ въ сторону молодой княгини Курбской.

Та, въ незлобіи своемъ, простила уже, какъ мы знаемъ, всѣ обиды, перенесенныя ею когда-то отъ своенравной дочери сендомирскаго воеводы. Могла-ли она теперь устоять противъ обаятельной ласковости этой волшебницы, окруженной еще притомъ ореоломъ будущей русской царицы?

Совсѣмъ очарованная, Маруся рванулась къ ней

и безъ словъ прильнула губами къ протянутой ручкѣ. Марина, видимо польщенная, опять улыбнулась.

— Хорошо, хорошо; я вѣрю, что ты мнѣ еще предана. Самой мнѣ хотѣлось бы опять поговорить съ тобой. Ты можешь ѣхать съ моей гофмейстериной, паньей Тарло; вы давно вѣдь уже знаете другъ друга.

И съ милостивымъ кивкомъ, не допускавшимъ возраженій, она отвернулась, чтобы направиться къ ожидавшей ее царской колымагѣ.

А что же сама Маруся? что мужъ ея? Приглашеніе или, вѣрнѣе сказать, приказаніе будущей царицы было такъ рѣшительно, что объ ослушаніи не могло быть и рѣчи.

— Нечего дѣлать, мой другъ, - сказалъ Курбскій, подавляя вздохъ, — ступай!

Гофмейстерина привѣтствовала Марусю съ свойственною польской націи изысканною любезностью, съ легкимъ лишь оттѣнкомъ снисходительности, и предоставила ей въ своей каретѣ почетное мѣсто рядомъ съ собой. Сопровождавшія ее двѣ молоденькихъ фрейлины должны были удовольствоваться передней скамейкой.

— Съ княгиней Курбской мы дружны вѣдь еще съ тѣхъ поръ, что были вмѣстѣ такими же фрейлинами, какъ вы,—объяснила гофмейстерина своимъ двумъ подчиненнымъ. — Первую вѣсть о томъ, дорогая княгиня, что вы вышли за князя Курбскаго, привезъ къ намъ въ Краковъ вѣдь панъ Бучинскій. Какъ я была за васъ рада, и ска-

зать не могу! Изъ купеческой семьи да вдругъ выскочить въ княгини!

Чтобы нѣсколько смягчить умышленный уколъ, панья Тарло наклонилась къ молодой княгинѣ для поцѣлуя, т.-е. подставила ей свою густо-нарумяненную щеку. Не безъ тайнаго отвращенія прикоснувшись къ этой щекѣ губами, Маруся навела разговоръ на бывшую за полгода назадъ въ Краковѣ церемонію заочнаго бракосочетанія панны Марины съ царемъ Димитріемъ по католическому обряду.

— О! церемонія была прямо-таки королевская,—воскликнула панья Тарло.—Не будь только этого противнаго Власьева, котораго царь прислалъ заступить себя...

— Да, Власьевъ уже не молодъ да и вовсе не красивъ,— сказала Маруся. — Но, какъ думнаго дьяка, въ Москвѣ его всѣ очень почитаютъ...

— Въ Москвѣ, да! Но посудите сами: былъ при этомъ вѣдь и самъ король нашъ Сигизмундъ съ королевичемъ Владиславомъ, была принцесса шведская Анна, былъ папскій нунцій Рангони, и иностранные послы, и весь цвѣтъ придворной знати. Когда тутъ два сенатора подвели къ алтарю невѣсту, всѣ такъ и ахнули: Пречистая Дѣва Марія! что̀ за краса, что̀ за величіе! Все платье, представьте, изъ бѣлой парчи, унизано сапфирами и жемчугомъ, вкругъ плечъ—газовое облако, на головѣ—алмазная корона, а изъ-подъ короны на спину вьются змѣями двѣ дивныя косы, перевитыя драгоцѣнными каменьями! И вдругъ—рядомъ съ этой, можно сказать, богиней становится какое-то чучело, косолапая

обезьяна, съ одутловатой рожей, съ растеряннымъ видомъ и въ раззолоченной попонѣ!

— А кто вѣнчалъ ихъ?

— Вѣнчалъ, разумѣется, кардиналъ нашъ Мацѣевскій. Но передъ тѣмъ были еще рѣчи. Началъ первымъ этотъ орангъ-утанъ Власьевъ...

— И говорилъ, я увѣрена, дѣльно?

— Гмъ... можетъ-быть, и дѣльно, да черезчуръ ужъ сухо и просто. Зато когда послѣ него стали говорить одинъ за другимъ наши: Станиславъ Минскій отъ имени пана воеводы, Левъ Сапѣга отъ имени короля и, наконецъ, самъ кардиналъ Мацѣевскій,—о! тутъ пошли такіе цвѣты краснорѣчія, такія похвалы невѣстѣ и жениху за ихъ необычайную красоту, умъ и всяческія добродѣтели...

— Такъ Власьевъ, значитъ, все-таки не уронилъ себя.

— Погодите, моя милая; отличился онъ потомъ не разъ и не два. Какъ запѣли «Veni Creator», всѣ опустились на колѣни: и невѣста и самъ король, а онъ, невѣжа, одинъ остался стоять чурбаномъ на ногахъ!

— Простите, панья гофмейстерина,—позволила себѣ тутъ вставить свое замѣчаніе одна изъ молоденькихъ фрейлинъ,—осталась стоять и принцесса Анна.

— Ну да, ну да... какъ протестантка, она не исполняетъ нашихъ обрядностей...

— А Власьевъ вѣдь тоже не католикъ?—вступилась за своего единовѣрца Маруся.

— Но царь-то его католикъ, а онъ заступалъ царя!

— Въ чемъ же онъ еще, по-вашему, провинился?

— Да вотъ, когда имъ надо было обмѣняться кольцами, мы смотримъ: что̀ это онъ, чудакъ, дѣлаетъ? Досталъ шелковый платокъ и обматываетъ себѣ правую руку. Это, изволите видѣть, для того, чтобы своей холопской лапой отнюдь не прикоснуться къ ручкѣ своей будущей государыни! Умора! А получивъ отъ нея кольцо, не надѣлъ его даже на палецъ, а вложилъ прямо въ футляръ для своего государя.

— Чѣмъ выказалъ только свое благоговѣніе передъ обоими,—замѣтила Маруся.

— Холопъ и рабъ! За брачнымъ столомъ онъ сперва ни за что̀ не хотѣлъ сѣсть рядомъ съ своей царицей, пока его насильно не усадили; когда же увидѣлъ, что она отъ душевнаго волненія ничего не ѣстъ, то самъ тоже ничего не хотѣлъ брать въ ротъ, кромѣ хлѣба съ солью.

— А полякъ ѣлъ бы, конечно, за двоихъ?— съиронизировала, въ свою очередь, Маруся.

Но панья Тарло показала видъ, что не поняла иронiи, и продолжала описывать брачный пиръ съ безконечными рѣчами, тостами и восторженными одами лучшихъ тогда поэтовъ польскихъ: Грохов-скаго, Юрковскаго и Забчица во славу новобрач-ныхъ и вѣчной дружбы двухъ первыхъ славян-скихъ нацiй.

— А послѣ стола были, вѣроятно, и танцы?— спросила Маруся.

— Еще бы! Но все, конечно, одни національные польскіе. Открылъ балъ самъ король съ нашей красавицей-царицей... Какъ жаль, право, что вы тогда ее не видѣли! особенно потомъ въ мазуркѣ...

— Которую она танцовала съ паномъ Осмольскимъ?—досказала Маруся.

Гофмейстерина испуганно приложила палецъ къ губамъ.

— Ч-ш-ш, ч-ш-ш! Нѣтъ, о, нѣтъ! Съ чего вы это взяли?

— Вы, пани гофмейстерина, вѣрно не обратили вниманія, какъ она передъ мазуркой подозвала его вѣеромъ къ себѣ?—непрошенно вмѣшалась снова та же фрейлина.—А я стояла около и подхватила даже нѣсколько словъ изъ разговора.

— Какъ вамъ не стыдно!—укорила панья Тарло вострушку; однако, не устояла противъ собственнаго любопытства:—Ну, и о чемъ же они говорили?

— Она требовала, чтобы онъ мазурку танцовалъ непремѣнно съ нею, а онъ наотрѣзъ отказался подъ предлогомъ, будто бы вытянулъ себѣ на ногѣ жилу...

— Вотъ глупый! И только?

— Нѣтъ; она топнула ножкой. «Ну, такъ мы протанцуемъ съ вами еще на моей русской свадьбѣ въ Москвѣ!» И вѣдь настояла, какъ видите, на своемъ: теперь онъ тоже здѣсь при ней...

— Вы вѣрно ослышались; что-нибудь да не такъ!—перебила гофмейстерина.—Весь вечеръ она танцовала потомъ съ такимъ увлеченіемъ, до упаду...

— Потому что хотѣла забыться,—подхватила

фрейлина.—Но когда надо было, наконецъ, проститься съ королемъ, и она подошла подъ его благословеніе, то силы ее оставили: она упала къ ногамъ его величества, обняла ихъ и залилась горькими слезами.

— Прощалась навѣки съ своимъ обожаемымъ королемъ, съ милой родиной, для варваровъ, такъ какъ же не плакать?

— Однако, варвары эти встрѣтили ее, кажется, очень радушно?—возразила Маруся.—Выслали впередъ ей даже денегъ на дорогу...

— Всего какихъ-то двѣсти тысячъ злотыхъ!...

— А по-вашему этого еще мало? На самой границѣ ждали ее уже Михайло Нагой и князь Мосальскій съ почетной стражей...

— Въ которой, однако, не было никакой надобности, потому что у нея была своя собственная!

— Въ городахъ и селахъ къ ней выходили жители съ хлѣбомъ-солью...

— И попы съ иконами! Мы съ нею, слава Богу, не схизматички... Нѣтъ, переѣздъ этотъ былъ ужасенъ! Эти дремучіе литовскіе лѣса, непролазныя болота... Разъ ночью мы чуть было не потонули въ такомъ болотѣ. Кругомъ мракъ кромѣшный, хоть глазъ выколи; въ чащѣ гдѣ-то кричитъ филинъ,—ну, просто малый ребенокъ плачетъ; а тутъ завыли еще волки—одинъ, другой, третій... Бррр! и тепер . еще по спинѣ бѣгаютъ мурашки! А ночлеги въ мужицкихъ избахъ, тѣсныхъ, грязныхъ...

— Простите, пани гофмейстерина,—вступилась опять неугомонная фрейлина,—но для царицы и

насъ вездѣ отводили самые чистые дома. Разъ только вѣдь, и то случайно во время грозы, когда вы такъ перепугались, царица, ради васъ же, велѣла остановиться въ одной бѣдной деревушкѣ...

— Гдѣ не нашлось для насъ даже ни яицъ, ни молока!—съ неудовольствіемъ перебила несносную болтушку панья Тарло.

— А почему не нашлось? Вы не помните развѣ, чѣмъ извинялись передъ нами бѣдные крестьяне?

— Чѣмъ?

— Да тѣмъ, что у нихъ три года подъ рядъ былъ неурожай и на всю деревню осталось всего-на-все съ десятокъ куръ да одна корова; но наши же польскіе послы съ своимъ конвоемъ перерѣзали и тѣхъ куръ и ту единственную корову.

Отъ такой легкомысленной откровенности ея подчиненной лицо гофмейстерины разгорѣлось, сквозь накладной румянецъ, благороднымъ негодованіемъ. Но въ это самое время, на счастье фрейлины, къ каретѣ ихъ подъѣхалъ мужъ гофмейстерины, панъ Тарло. Пріятно перегнувшись съ сѣдла къ открытому оконцу кареты, онъ обратился къ Марусѣ съ небрежною вѣжливостью, значительно поводя своими огнисто-черными, какъ тлѣющіе уголья, глазами:

— Падамъ до ногъ наияснѣйшей княгини Курбской! Давно не имѣлъ счастья,—съ тѣхъ самыхъ поръ, въ Жалосцахъ, у Вишневецкихъ, изволите помнить?..

— Когда я была еще купеческой дочкой, а мужъ мой простымъ гайдукомъ?—досказала Маруся, вся

вспыхнувъ.—Какъ же, прекрасно помню; а также и то, какъ онъ изъ-за меня проучилъ одного ясновельможнаго нахала.

Теперь очередь побагровѣть была за паномъ Тарло.

— Да, у почтеннѣйшаго супруга вашего сила настоящаго гайдука, даже мясника, отдаю ему полную честь!—отпарировалъ онъ ея ударъ съ нескрываемою колкостью.—Будь у него только побольше рыцарскаго духа...

— Какъ у васъ, не правда-ли? Онъ, впрочемъ, теперь совсѣмъ поправился отъ болѣзни и опять къ вашимъ услугамъ.

— Что̀, что̀ такое, Эвзебій? — заволновалась панья Тарло.—Ты хочешь драться съ княземъ Курбскимъ?

— У насъ съ нимъ старые счеты...—отвѣчалъ панъ Эвзебій, но далеко не такимъ уже вызывающимъ тономъ.—Я, впрочемъ, не злопамятенъ и, пожалуй, готовъ простить.

— Мужъ мой вовсе не нуждается въ вашемъ прощеніи! — воскликнула Маруся, увлеченная своимъ гнѣвомъ.—Если же я передамъ ему теперь эти ваши слова, то...

— Не сердитесь, пожалуйста, дорогая княгиня! — поспѣшила прервать ее панья Тарло. — Я отвѣчаю вамъ за Эвзебія! онъ у меня смиренъ, какъ комнатная собачка...

— Однако, милая Бронислава!—запротестовалъ ея мужъ, — сравнивать польскаго рыцаря съ собачкой...

— Но въ золотомъ намордникѣ!—пояснила съ важностью все та же фрейлина, переглядываясь съ своей товаркой, и обѣ разомъ фыркнули.

Марусѣ при этомъ поясненіи пришло на память, что панъ Тарло, нуждавшійся всегда въ деньгахъ, женился вѣдь на немолодой уже паннѣ Брониславѣ Гижигинской единственно изъ-за денегъ,—и весь гнѣвъ ея испарился, какъ дымъ.

— Успокойтесь, пани гофмейстерина,—сказала она, сдерживая свою веселость.—Собачки въ намордникѣ никто не тронетъ, сколько бы она ни лаяла.

Панъ Тарло позеленѣлъ отъ злости, но, не рѣшаясь вновь задирать, презрительно скорчилъ лишь губы, хлестнулъ коня и ускакалъ впередъ.

Вслѣдъ затѣмъ торжественный поѣздъ вступилъ въ Кремль, гдѣ былъ встрѣченъ такимъ громогласнымъ салютомъ 50-ти барабанщиковъ и 50-ти трубачей, что панья Тарло зажала себѣ уши.

— Іезусъ, Марія! Да это не музыка, а какое-то мычанье коровъ! Но куда это, смотрите-ка, везутъ царицу? Вонъ и самъ царь поджидаетъ ее на крыльцѣ. Неужто это царскій дворецъ? Точно монастырь...

— Да, это Вознесенскій монастырь, гдѣ живетъ царица-матушка,—отвѣчала Маруся.—Она, слышала я, пріютитъ у себя молодую царицу до ея свадьбы по православному обряду.

— И мы должны будемъ жить съ нею также въ русскомъ монастырѣ? Нѣтъ, это невозможно! Я не согласна!

Въ согласіи паньи Тарло, впрочемъ, не было и

надобности: для нея съ фрейлинами были отведены уже особые покои въ новомъ дворцѣ; къ невѣстѣ же царской въ монастырь была допущена только прежняя ея любимая фрейлина православнаго закона, любимица и царицы Маρѳы, Маруся Курбская.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Царица русская или польская?

Пять дней уже Маруся жила въ Вознесенскомъ монастырѣ безотлучно при царской невѣстѣ Маринѣ. Странное существо, право, была эта Марина! Когда будущая свекровь ея, царица Марѳа, наотрѣзъ запретила патерамъ латынскаго закона входъ къ ней, будущей царицѣ русской, и точно такъ же самой ей не дозволила присутствовать, даже въ Троицынъ день, при католическомъ богослуженіи въ молельнѣ, устроенной на квартирѣ гофмейстерины, паньи Тарло,—Марина рвала и метала, не принимая никакихъ резоновъ отъ царицы Марѳы, такъ что между ними произошла серіозная размолвка. А между тѣмъ, къ Марусѣ, русской и православной, она воспылала прежней дружбой; по цѣлымъ ча-

— Вѣроятно, по королевскому же приказу.

— Весьма даже вѣроятно, потому что и въ грамотѣ короля я не былъ названъ, какъ слѣдовало, цесарскимъ величествомъ.

— Ну, вотъ! А ты все-таки прочиталъ его грамату?

— Не сейчасъ. Когда дьякъ Власьевъ, принявъ ее отъ Олесницкаго, передалъ мнѣ, и я увидѣлъ, что на ней нѣтъ моего цесарскаго титула, я велѣлъ возвратить ее посламъ...

— И еще съ какою-нибудь угрозой?

— Не съ угрозой, а съ внушеніемъ, что «необычайное и неслыханное дѣло, чтобы монархи, восѣдая на престолѣ, спорили съ послами; но что король польскій, опуская наши титулы, вынуждаетъ насъ къ тому. Королю Сигизмунду хорошоде извѣстно, что мы не только царь, но и императоръ въ необозримыхъ нашихъ владѣніяхъ, что нѣтъ намъ равнаго ни на западѣ, ни на востокѣ. не въ примѣръ древнимъ царямъ ассирійскимъ, индійскимъ и императорамъ римскимъ. Самъ Господь Богъ даровалъ намъ сей титулъ, и изъ всѣхъ монарховъ одинъ лишь король польскій не признаетъ его. Посему онъ не можетъ быть нашимъ другомъ, и мы не принимаемъ его граматы!»

— Но съ твоей стороны, Димитрій, это была

стію всепресвѣтлѣйшій, великій государь Дмитрій Іоанновичъ, князь всея Россіи, Владимірскій, Московскій, Новгородскій, Казанскій, Астраханскій, Псковскій, Тверской, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и другихъ многихъ земель царь».

безумная дерзость! — возмутилась Марина. — Безъ нашего короля тебѣ, какъ своихъ ушей, не видать бы московскаго престола.

— Прости, милый другъ,— возразилъ съ достоинствомъ Димитрій,— но Сигизмундъ не н а ш ъ король, да теперь и не т в о й: здѣсь, на Москвѣ, одинъ государь — Димитрій Ивановичъ, Божіею милостью царь и императоръ!

— Ахъ, перестань, пожалуйста! Король Сигизмундъ былъ и останется нашимъ вѣчнымъ благодѣтелемъ, и безъ его покровительства намъ и въ будущемъ не обойтись.

— Обойдемся!

— Это ужасно, это ужасно! — повторяла Марина, ломая руки.—А панъ Олесницкій еще такой гордый, вспыльчивый... Каково-то было ему, первому королевскому послу, это слышать!

— Да, слова мои ему крѣпко, видно, не полюбились. «Никто изъ христіанскихъ вѣнценосцевъ,—сказалъ онъ,—не оскорблялъ еще такъ его королевское величество! Вижу,—говорилъ онъ, — что царь московскій забылъ милости моего государя и преданность народа польскаго. Прошу не медля отпустить меня: спорить долѣе я не намѣренъ».

— Ну, вотъ! ну, вотъ! — продолжала волноваться Марина.—Что ты надѣлалъ своимъ безграничнымъ высокомѣріемъ!

— Ничего я, другъ мой, не надѣлалъ. Показавъ господамъ полякамъ, что съ московскимъ царемъ надо считаться, я перемѣнилъ тонъ и при-

гласилъ Олесницкаго къ моему столу, — пригласилъ уже не какъ посла, а какъ своего старинаго пріятеля, съ которымъ мы еще въ Польшѣ дѣлили хлѣбъ-соль.

— А онъ что́ же? Такъ сейчасъ и принялъ приглашеніе?

— Нѣтъ, онъ поблагодарилъ. «Какъ ни лестно мнѣ,—сказалъ онъ,—видѣть благосклонность вашего величества, но пока я еще не въ правѣ оставить званіе, возложенное на меня моимъ королемъ. Въ Польшѣ я оказалъ услугу вамъ, какъ царевичу московскому; здѣсь я также готовъ служить вамъ, какъ царю; но да будетъ мнѣ дозволено исполнить въ точности волю моего государя».

— Узнаю Олесницкаго! — воскликнула Марина. — Вотъ истинный сынъ Рѣчи Посполитой! Какъ же ты, наконецъ, вывернулся?

— Я отвѣчалъ, что «ради всеобщей нынѣ радости и въ угожденіе дорогимъ гостямъ-полякамъ, пріѣхавшимъ на мою свадьбу, такъ и быть, предаю забвенію допущенное королемъ ихъ упущеніе. Но... но долженъ предупредить, что впередъ останусь твердъ, ни подъ какимъ уже видомъ не приму граматы съ неполнымъ титуломъ и не отвѣчаю за тѣ послѣдствія, которыя могутъ быть отъ новаго неуваженія къ цесарскому званію московскаго царя». — Не забудь вѣдь, моя милая, что, унижая меня, унижаютъ одинаково и тебя, царицу!

Послѣднее соображеніе видимо пришлось по

душѣ властолюбивой дочери сендомирскаго воеводы.

— Такъ-то такъ...—согласилась она точно нехотя.—Ну, и что́ жъ, послѣ этого ты взялъ уже отъ пословъ королевскую грамоту?

— Взялъ, подалъ обоимъ имъ руку; и затѣмъ мы наговорили другъ другу разныхъ любезностей, какія говорятся обыкновенно при такихъ пріемахъ.

— Вотъ это хорошо. Но въ будущемъ, дорогой мой, сдѣлай милость, будь благоразумнѣй, осторожнѣй. Какъ бы тамъ ни было, ты сынъ нашей святой римской церкви, а стало-быть, тоже какъ бы полякъ.

— Родомъ я русскій... —началъ было Димитрій, но заклятая полячка не дала ему докончить:

— А духомъ все же полякъ! Не прими ты нашего закона, неужели ты думаешь, я вышла бы за тебя? Еще въ январѣ этого года я писала святѣйшему отцу [1]) въ Римъ, что когда святые ангелы приведутъ меня въ Москву, я не буду думать ни о чемъ иномъ, какъ о единеніи церквей, и жду только его повелѣній. Послѣ этого какъ же мнѣ не остаться вѣрною дочерью католической Польши? Поэтому же я и на нашей русской свадьбѣ, какъ всегда, буду въ моей національной одеждѣ.

— Ну, это мы еще увидимъ.

— Увидишь!

---

[1]) Папѣ Павлу V, преемнику Климента VIII

— Но согласись, милый другъ, что, какъ царица русская...

Она опять не дала ему договорить.

— Не соглашусь, не соглашусь и не соглашусь! Не раздражай меня, сдѣлай милость! Здѣсь, въ стѣнахъ русскаго монастыря, подъ постояннымъ надзоромъ твоей матушки, я просто задыхаюсь!

— А между тѣмъ моя матушка желаетъ тебѣ одного только добра. Сама она вѣдь была разъ царицей и лучше всякаго другого знаетъ, что̀ тебѣ можно и чего нельзя. По ея же указаніямъ, для тебя уже сшито̀ нѣсколько русскихъ нарядовъ по мѣркѣ твоихъ польскихъ платьевъ. На всякій случай, однако жъ, тебѣ не мѣшало бы ихъ примѣрить.

— И слышать теперь не могу! Довольно! Оставь меня...

— Но повторяю тебѣ, мой ангелъ...

— И я тебѣ повторяю: «довольно!» Ты видишь, я сама не своя...

Отъ нервнаго возбужденія она при этомъ такъ злобно засверкала своими чудными глазами, заскрежетала своими великолѣпными бѣлыми, какъ слоновая кость, зубами, что Димитрію ничего не оставалось, какъ вооружиться до времени терпѣніемъ и отретироваться.

Русскіе наряды, одинъ другого пышнѣе, были, дѣйствительно, доставлены въ тотъ же день; но она на нихъ и не взглянула, какъ ни настаивала царица Марѳа, какъ ни упрашивала Маруся. Явились къ ней на другое утро парламентерами ро-

дитель-воевода и исповѣдникъ іезуитъ, но точно такъ же ничего не достигли.

Такое ненормальное состояніе продолжалось цѣлыхъ пять дней. Настала ночь, но Марина не ложилась: вѣдь уже завтра, 8-го мая, она будетъ коронована, станетъ царицей, но не русской, о, нѣтъ! А теперь она покинетъ эти ненавистныя монастырскія стѣны.

Во 2-мъ часу ночи, когда вся Москва покоилась мирнымъ сномъ, она, вмѣстѣ съ Марусей, сѣла въ присланную изъ дворца колымагу, которую сопровождалъ только почетный конвой изъ боярскихъ дѣтей и нѣмецкихъ аллебардщиковъ при свѣтѣ двухсотъ восковыхъ свѣчей.

— Точно меня уже хоронятъ! — съ горечью замѣтила она Марусѣ.—Но, погодите, голубчики, скоро я воскресну! да какъ!

Поутру, однако, едва лишь она окончила свой туалетъ, къ ней ворвалась впопыхахъ гофмейстерина.

— Ваше величество!.. Это неслыханно... это возмутительно...

— Въ чемъ дѣло?—съ величественною строгостью обернулась къ ней Марина.—Вы забываете, что вы уже не при дворѣ какого-то воеводы, а при царскомъ дворѣ, и что къ царицѣ не влетаютъ этакъ безъ доклада!

— Простите великодушно, государыня...—извинилась панья Тарло задыхающимся еще голосомъ.—Но боярская дума требуетъ, чтобы сегодня

къ вѣнцу вы все-таки явились въ русскомъ нарядѣ.

Марина презрительно повела плечомъ.

— Да что̀ мнѣ ваша боярская дума! Вчера еще я повторила пану воеводѣ, что русскаго наряда никогда въ жизни не надѣну,—и не надѣну!

— Да вѣдь и самъ панъ воевода, и патеры наши, и оба посла,—всѣ, всѣ твердили боярамъ то же; но тѣ подняли, говорятъ, такой гвалтъ, что его царское величество успокоилъ ихъ только увѣреніемъ, что вы будете одѣты по-русски.

Гордую полячку окончательно взорвало.

— Онъ посмѣлъ обѣщать имъ это отъ моего имени, даже не спросивши? — вскричала она внезапно зазвенѣвшимъ голосомъ.—Сейчасъ же ступайте, позовите его ко мнѣ!

И, вся пылая негодованіемъ, она вышла въ свою гостиную. Не прошло десяти минутъ, какъ Димитрій послѣдовалъ зову. Первыя запальчивыя нападки со стороны невѣсты онъ вынесъ съ замѣчательнымъ хладнокровіемъ; очевидно, онъ далъ себѣ слово выдержать на этотъ разъ характеръ до конца, но въ то же время не подавать ни малѣйшаго повода къ дальнѣйшимъ раздорамъ.

— Ну, что же ты все молчишь?—прервала она вдругъ сама потокъ своего краснорѣчія, сердито озираясь кругомъ, на какой бы вещи сорвать свое сердце.—Отчего не возражаешь? Развѣ я не права?

— Права, мой ангелъ, тысячу разъ права,—отвѣчалъ онъ съ тѣмъ же ласковымъ спокойствіемъ и не возвышая тона.—Ты говоришь крас-

но и умно, какъ печатная книга. Но всякая медаль имѣетъ двѣ стороны...

— А! ты все же, значитъ, не принимаешь моихъ резоновъ?

— Съ твоей точки зрѣнія я ихъ отлично понимаю. Но съ точки зрѣнія русскихъ...

— Да я ее и знать не хочу!

— Напрасно: тебѣ, русской царицѣ, мнѣнія ихъ нельзя не знать. Имѣй терпѣніе выслушать меня.

— Ну, говори.

— Я сравнивалъ сейчасъ твои резоны съ печатной книгой; но и умнѣйшая книга остается только книгой, т.-е. мудрствованіемъ человѣческаго ума. А жизнь народная слагается изъ самыхъ немудреныхъ и, въ то же время, противорѣчивыхъ элементовъ, тѣмъ болѣе жизнь такого народа, какъ нашъ русскій, грубый, неразвитый, съ старинными его повѣрьями и обычаями, съ ребяческимъ суевѣріемъ и бабьими предразсудками. Такъ какъ же, скажи, къ этой неразумной жизни прилагать мѣрку разумной книги? Крутой переломъ въ вѣковыхъ порядкахъ не можетъ не возбудить всеобщаго ропота. Любовь же народная—сила царей. До сего времени русскія царицы носили только народное русское платье...

— А я, какъ сказала ужъ, не хочу его носить!

— И не носи. Не омрачай только своему народу сегодняшняго-то дня, когда ты въ первый разъ покажешься ему царицей.

— Я давно уже царица: съ того самаго дня,

что кардиналъ Мацѣевскій заочно повѣнчалъ насъ съ тобой, потому что его святѣйшество, папа римскій, потомъ благословилъ нашъ бракъ; теперь же повторится лишь церковная церемонія по православному обряду...

— Но для русскаго народа одинъ этотъ обрядъ— законный и дѣлаетъ тебя настоящей царицей.

— Да что скажутъ наши патеры...

— И они, какъ отецъ твой и послы, убѣдились, что тебѣ надо вѣнчаться въ русскомъ платьѣ.

— Ахъ, Боже, Боже ты мой! Всѣ вы, мужчины, не понимаете одного...

— Что живописный польскій костюмъ къ тебѣ чрезвычайно идетъ?

— А то нѣтъ?

— И спору не можетъ и быть: ты въ немъ божественна.

— Такъ стало-быть...

— Но и русскій праздничный нарядъ удивительно къ лицу всякой молодой красивой женщинѣ...

— Русской!

— Да ты, благородная полячка и первая красавица въ цѣлой Европѣ, будешь въ немъ такъ несравненно хороша, что всѣ наши боярыни отъ зависти лопнутъ.

Послѣдній аргументъ сломилъ, наконецъ, упорство несговорчивой полячки. Она пріятно просвѣтлѣла и усмѣхнулась.

— На здоровье! Но съ завтрашняго дня я снова могу одѣваться по-польски?

— Можешь, можешь, объ этомъ и говорить нечего. Но теперь, мой другъ, сдѣлай милость, изготовься поскорѣе къ вѣнцу.

Такимъ-то образомъ Марина явилась «своему» народу въ русскомъ нарядѣ; только голова ея была убрана по-польски: волоса были затѣйливо переплетены золотомъ, жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями наподобіе небольшой діадемы. И съ какою величавостью носила она эту польскую діадему! съ какою неподражаемою граціей выступала въ сравненіи съ сопровождавшими ее къ брачному обряду двумя русскими боярынями—княгинями Мстиславской и Шуйской!

— Такой красавицы-царицы у насъ, ей-ей, доселѣ еще и не видано!—перешоптывались между собой русскіе обоего пола, присутствовавшіе въ Успенскомъ соборѣ при коронованіи молодой царицы и вѣнчаніи ея съ царемъ.

Но и тутъ молодая царская чета подала поводъ къ справедливымъ пересудамъ.

«Послѣ бракосочетанія (говорится въ запискахъ очевидца, архіепископа Арсенія) оба не выказали желанія пріобщиться Св. Тайнъ. Это чрезвычайно опечалило не только патріарха и епископовъ, но и всѣхъ тѣхъ, кто это видѣлъ и слышалъ. Таково было первое и великое огорченіе; такова была причина соблазна и источникъ многочисленныхъ бѣдствій, постигшихъ русскій народъ и всю Россію».

Не менѣе, пожалуй, осуждали православные люди и то, что вечеромъ слѣдующаго же, Николина дня, въ царскомъ дворцѣ былъ великій плясъ,

да не русскій, а бѣшеный польскій, при чемъ первыми заводчиками этого бѣснованія были родной братъ молодой царицы, Станиславъ Мнишекъ, и зять ея, князь Константинъ Вишневецкій. Сама же Марина была уже не въ русскомъ нарядѣ, а въ родномъ своемъ польскомъ. Но зато въ немъ она, дѣйствительно, казалась еще краше! «Царица польская» торжествовала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Какъ Курбскій узналъ о новомъ замыслѣ Шуйскаго и что изъ того для него самого вышло.

За все это время Курбскій, жившій по-прежнему у Биркиныхъ, ни разу не видѣлся съ своей молодой женой. Пока она пребывала, вмѣстѣ съ царской невѣстой, въ Вознесенскомъ монастырѣ у царицы Марѳы, его туда, какъ въ женскую обитель, естественно, не допускали; молодымъ супругамъ не хотѣли сперва дозволить даже обмѣниваться записками. Съ переселеніемъ же Марины, а съ нею и Маруси во дворецъ, Курбскій, не получившій даже приглашенія на бракосочетаніе царя, только на другой день послѣ того рѣшился навѣдаться во дворецъ. Здѣсь, въ пріемной царицы Марины, онъ засталъ безсмѣннаго ея адъютанта, пана Осмольскаго. Тотъ принялъ его со всегдашней своей учтивостью и охотно взялся доложить го-

*

сударынѣ о желаніи Курбскаго повидаться съ женою. Но возвратился онъ съ неутѣшительнымъ отвѣтомъ: по случаю предстоявшихъ въ этотъ день брачнаго пира и параднаго бала, ея величеству ни на минуту нельзя будетъ обойтись безъ своей подруги.

Между тѣмъ, вечеромъ этого же дня, казачокъ Курбскаго, Петрусь, влетѣлъ къ нему въ комнату со словами:

— Ну, княже, спасай свою княгиню!

Курбскій, понятно, страшно переполошился.

— Да что̀ съ нею?

— Покамѣстъ-то ничего. Но не нынче-завтра можетъ совсѣмъ плохо придтись.

— Отъ кого? Не отъ царицы же Марины?

— Ай, нѣтъ! Но изъ-за нея же. Бо̀льше, не погнѣвись, ничего не могу тебѣ сказать.

— Такъ, значитъ, противъ самой царицы есть заговоръ!—догадался Курбскій.

— Не спрашивай, милый княже. Я все-равно не скажу.

— Клятву, что ли, далъ молчать?

— Ну да, клятву; это-то, пожалуй, можно тебѣ еще знать.

— Но все-таки на̀ слово тебѣ этакъ мнѣ трудно повѣрить.

— Вѣрь! вѣрь! своими ушами слышалъ.

— Ты подслушалъ?

— Хоть бы и такъ...

— Но, можетъ, ты ослышался, не вѣрно понялъ.

— Какъ ужъ не понять! Прямо такъ-таки и говорилось...

— Что хотятъ покуситься на жизнь царицы? Но въ такомъ случаѣ ты долженъ сейчасъ же все открыть, назвать всѣхъ...

— Ахъ, Господи! — вскричалъ въ отчаяньи казачокъ.—Да я цѣловалъ вѣдь крестъ на томъ, что никого не назову, а самъ ты, княже, мнѣ не разъ говорилъ, что нарушать клятву—великій грѣхъ.

— Ну, хорошо, не называй именъ: но сказать-то все-таки можешь, чрезъ кого попалъ къ заговорщикамъ. Не чрезъ слугу-ли тоже, такого же паробка изъ хохловъ?

— Отъ тебя, княже, право, ничего не скроешь!— воскликнулъ смущенный Петрусь.—Тотъ бояринъ, у кого въ домѣ то было, привезъ его, вишь, съ собой въ Москву съ похода...

— Но ты мнѣ про своего новаго пріятеля до сего времени ничего не сказывалъ?

— Не сказывалъ, потому что ознакомились-то мы съ нимъ только вчерашній день.

— Не тогда-ли, когда ты отпросился у меня въ Кремль — поглядѣть на царскій выходъ изъ Успенскаго собора?

— Какъ разъ. Какъ сняли тутъ всѣ свои шапки, глядь, у одного малаго лобъ выбритъ тоже по-хохлацки. Ну, а свой своему поневолѣ братъ. Я—къ нему; разговорились. Сталъ онъ тутъ бахвалиться передо мной хоромами своего боярина, да расписалъ такія чудеса, что меня сумлѣнье взяло.

«— Коли не вѣришь, говоритъ, — такъ зайди хоть нарочно: весь теремъ его тебѣ сверху до низу покажу.

«— Такъ вотъ бояринъ твой, говорю, — и дозволитъ намъ расхаживать по своему терему!

«— Вѣстимо, говоритъ,—безъ него. Примѣрно завтра они съ боярыней званы во дворецъ на вечерній плясъ. Заходи вечеркомъ...»

— И ты зашелъ, не спросясь даже у меня?

— Да вѣдь ты, княже, меня въ домъ къ нимъ, пожалуй, и не пустилъ бы...

— А! такъ бояринъ этотъ изъ моихъ недоброжелателей? Ужъ не князь-ли Татевъ?

— Ой, нѣтъ, нѣтъ! Къ этому людоѣду я и самъ бы не сунулся. Такъ вотъ, прихожу я туда, обошли мы этакъ три-четыре палаты, осмотрѣли всякую штуку; какъ вдругъ подъ окнами грохотъ. Что такое? Анъ подкатила колымага, господа вернулись уже изъ дворца. Забѣгали тутъ люди по дому, заметались туда-сюда.

«— Тише вы, не шумѣть!—гаркнулъ бояринъ.— Зажечь огни въ свѣтлицѣ! Сейчасъ будутъ ко мнѣ бояре на большой совѣтъ, только съ задняго крыльца...»

«Гай, гай! думаю себѣ: — во дворцѣ веселіе и плясъ, а они, вишь, сбираются тутъ на большой совѣтъ, да крадучись съ задняго крыльца. Знать, не спроста!»

— А тебя такъ и не замѣтили?—прервалъ разсказчика Курбскій.

— Нѣтъ; мы съ пріятелемъ притулились за

дверью, а какъ прошелъ далѣе бояринъ, мы шмыгъ въ темный переходъ.

«— Ну, братику мій, — говоритъ пріятель, — теперычка утекай до дому.

«— Утечешь! говорю. — Вѣдь съ задняго-то крыльца, слышалъ, сейчасъ гости будутъ?

«— Ось казусное дѣло! Куда жъ мнѣ скрыть тебя?

«— А въ какой ни на есть чуланчикъ, говорю.—Вѣрно, найдется?

«— Какъ не найтись...

«— Такъ что же?

«— То-то вотъ, говоритъ,—что чуланчикъ мой какъ разъ около свѣтлицы нашего боярина, гдѣ будетъ сейчасъ большой совѣтъ, а ты, не дай Богъ, чихнешь...

«— Съ чего мнѣ чихать-то?

«— Съ пыли: больно тамъ ужъ пыльно...

«— Не чихну! говорю,—заспокойся. А мнѣ, братику, куда занятно бы послушать, о чемъ этакіе умные люди промежъ себя рѣчь ведутъ! Кабы только еще въ щелочку однимъ глазкомъ взглянуть: николи вѣдь вблизи царскихъ вельможъ еще не видѣлъ...

«— Аль показать?—говоритъ, а самъ смѣется.— Вѣдь у меня изъ чуланчика туда для себя дырочка просверлена!

«— Ну, хитеръ же ты! говорю.—Покажи. Во вѣкъ не забуду!

«А онъ и радъ. Провелъ меня въ свой чуланчикъ; въ окошечко его самодѣльное изъ свѣт-

лицы уже свѣтъ къ намъ брежжетъ: зажгли, значитъ, огни. Глядь, по одиночкѣ сбираются и гости. Хозяинъ всякаго встрѣчаетъ съ поклономъ, всякаго по имени и изотчеству величаетъ...»

— Такъ что ты всѣхъ ихъ могъ бы, пожалуй, назвать поименно?—спросилъ Курбскій.

— Могъ бы, княже, но, прости, и тебѣ не назову.

— Ну, и что́ же дальше?

— Ну, вотъ, какъ собрались, хозяинъ и говоритъ имъ, что, такъ и такъ, молъ, созвалъ онъ ихъ нарочно въ столь позднюю пору прямо-таки изъ дворца, чтобы тѣмъ часомъ, что́ поляки тамъ веселятся, потолковать келейно. Да чего я тутъ наслышался,—крій, Мати Божа!

— А говорилъ больше все хозяинъ?

— Все онъ одинъ; тѣ только, знай, поддакивали. Каждое слово его словно ножомъ врѣзалось мнѣ въ память. Началъ онъ съ того, что послы-де польскіе требуютъ теперича для своего короля Сигизмунда не токмо уже Сѣверскую землю и Смоленскъ, но и Новгородъ Великій, Псковъ, Луки, Торопецъ, Вязьму, Дорогобужъ и иные прочіе русскіе города; что были тѣ города нѣкогда будто бы литовскими, а Литва-де искони была польская...

«Тутъ всѣ бояре какъ завопятъ въ одинъ голосъ:

«—Лгутъ они, вражьи дѣти! И Литва-то сама не польская. Да этакъ скоро полъ-Руси у насъ отберутъ!

«—И отберутъ,—говоритъ хозяинъ,—коли мы

дадимъ имъ, окаяннымъ, еще царить надъ нами. Нонече вѣдь еще, говоритъ,—когда дьякъ Грамотинъ позвалъ королевскихъ пословъ на царскую хлѣбъ-соль,—тѣ спрашиваютъ первымъ дѣломъ, посадитъ-ли государь ихъ за одинъ съ собой столъ. Когда жъ дьякъ имъ въ отвѣтъ, что у насъ, русскихъ, никому-де не положено сидѣть за однимъ столомъ съ царемъ, окромѣ царицы,—они уперлись: «А мы имѣемъ, молъ, повелѣніе отъ его королевскаго величества требовать себѣ мѣсто за царскимъ столомъ; буде же намъ въ томъ откажутъ, то не шли бы вовсе на брачный пиръ». Спасибо еще пану воеводѣ, что вступился въ дѣло: сошлись хошь на томъ, чтобы старшему послу,Олесницкому, сидѣть по правую руку отъ царя за отдѣльнымъ столомъ, а второму послу, Гонсѣвскому,—за общимъ столомъ съ нами, боярами, но все же вѣдь на первомъ мѣстѣ! А музыка за столомъ какая была? Все польская! А на чье здоровье заставили пить насъ? На здоровье «друга нашего» короля польскаго, потомъ «великихъ» пословъ, потомъ и прочихъ «дорогихъ» гостей-поляковъ! И тѣ первые же хоромъ орали по-своему «Виватъ!» А къ концу стола всѣ перепились заморскими винами, да въ хмѣлю принялись поносить наши стародавніе обычаи, нашу святую церковь такими словами, что святыхъ вонъ выноси. А мы молчи, покуда самихъ насъ, всю Русь православную, не перерядятъ въ польскіе жупаны, не перекрестятъ въ латынскую вѣру! И самъ народъ нашъ это уже чуетъ. «Статочное-ли дѣло,—говоритъ народъ,—

чтобы русская царица была еретичкой? Не срамъ-ли для русскаго боярства, что царь пренебрегъ всѣми московскими боярышнями и взялъ себѣ жену изъ поганой Польши? И въ угоду ей и ея родичамъ на царской кухнѣ всѣ кушанья готовятся на польскій ладъ, жарятъ и варятъ телятину [1]), ажно поваровъ омерзѣніе беретъ, и разносятъ они объ этомъ молву по всему городу. Каждое утро въ монастырѣ у царицы Марѳы, а теперича и во дворцѣ топили баню для царицы-полячки, а она хошь бы разъ-то помылась! Самъ государь хошь и ходитъ въ церковь, да съ цѣлой оравой проклятыхъ ляховъ, а тѣ водятъ туда съ собой собакъ и оскверняютъ тѣмъ святыню. Церковные дома уже отняли у многихъ нашихъ пастырей и отдали еретикамъ. Скоро, поди, и храмы Божіи отдадутъ имъ!»—Вотъ что говоритъ нашъ простой народъ. А не вѣдаетъ онъ еще того, что и самъ-то государь перешелъ уже въ латынство...

«Какъ только вымолвилъ это хозяинъ, всѣ бояре разомъ загорланили:

«— Да быть того не можетъ!

«— Слышать-то и мы уже кое-что слышали...

«— Иначе развѣ выдалъ бы онъ насъ врагамъ нашимъ головою?

«— Да подлинный-ли онъ еще сынъ Грознаго царя?

«— Слово сказано,—говоритъ тутъ хозяинъ: — будь онъ настоящаго царскаго рода, сталъ-ли бы

[1]) Въ тѣ времена русскіе вовсе не ѣли телятины.

онъ губить свою родную православную Русь? А значитъ, онъ обманщикъ, самозванецъ! И мы, бояре, терпимъ на престолѣ такого проходимца? Кому, какъ не намъ. отечество блюсти, быть щитомъ своего народа отъ иноплеменныхъ? Ихъ здѣсь въ Москвѣ всего-на-все тысячъ пять; насъ, русскихъ, сотни тысячъ. Только ударить въ набатъ...»

На этомъ мѣстѣ своего оживленнаго разсказа казачокъ умолкъ, чтобы глубоко перевести духъ.

— Ну?—заторопилъ Курбскій, котораго охватывало также все бо́льшее волненье.

— Дальше я уже не сталъ слушать: надо было улепетывать по-добру-по-здорову. Вывелъ меня пріятель опять тихонечко изъ своего чуланчика, да разными переходами выбрались мы этакъ на заднее крыльцо.

«— Ну, спасибо, говорю: — наслышался, чего никакъ уже не думалъ, не гадалъ!

«А онъ меня за рукавъ.

«— Постой, друже, говоритъ,—есть на тебѣ вѣдь натѣльный крестъ?

«— Какъ, говорю,—не быть.

«— Такъ вынь-ка его.

«— Зачѣмъ?

«— Вынь! говоритъ.—Иначе вѣдь не отпущу.

«Вынулъ я крестъ; а онъ:

«— Цѣлуй мнѣ его на томъ, что ни меня, ни боярина моего не выдашь.

«Я было туда-сюда, отлынивать; а онъ все свое:

«— Слухай, чоловиче: дружба дружбой, а своя

шкура все же чужой дороже. Вѣдь я тебя, коли на то пошло, не пожалѣю; крикну, такъ тебя сей же часъ схватятъ.

«Этакій вѣдь Іуда! Что̀ съ нимъ подѣлаешь? Хошь не хошь, пришлось цѣловать крестъ...»

— Но я этого такъ не оставлю, — объявилъ Курбскій.—Подай-ка мнѣ ферязь и шапку.

Петрусь оторопѣлъ.

— Да ты куда, княже? Не во дворецъ же къ царю?

— Къ самому царю—упредить теперь же, пока онъ еще не ложился.

— Помилосердствуй, милый княже! Вѣдь я же клялся...

— Ни про тебя, ни про твоего пріятеля не будетъ говорено ни слова; но про заговоръ бояръ мнѣ умолчать нельзя, нельзя! Кто убрался изъ дворца вмѣстѣ съ Шуйскимъ—тѣ, значитъ, съ нимъ и заодно.

— Съ Шуйскимъ? Да развѣ я Шуйскаго тебѣ поминалъ? И мало-ли Шуйскихъ...

— Шуйскій главарь одинъ — князь Василій Ивановичъ: дважды онъ уже злоумышлялъ противъ государя...

— Нѣтъ, нѣтъ, не онъ, право, не онъ!—старался увѣрить мальчикъ, но дрожащій голосъ и смертельный испугъ, написанный на лицѣ его, говорили противное. — Ты его, Бога ради, не называй...

— Хорошо, хорошо, и его не назову. Безъ того, авось, догадаются. Такъ гдѣ же ферязь?

Полчаса спустя Курбскій былъ уже во дворцѣ. Танцы, оказалось, кончились; большинство гостей разъѣхалось по домамъ; но Басмановъ, тесть государевъ Мнишекъ и нѣкоторые другіе изъ поляковъ оставались еще при государѣ. Говорить въ присутствіи враговъ объ измѣнѣ русскихъ бояръ Курбскій постѣснился, а потому велѣлъ вызвать къ себѣ въ пріемную одного Басманова: этотъ новый любимецъ Димитрія, безъ всякаго сомнѣнія, оставался ему непоколебимо вѣренъ.

— Добраго вечера, князь,—были первыя слова входящаго Басманова. — Привело тебя сюда въ столь поздній часъ вѣрно что-нибудь совсѣмъ безотложное?

— Да, бояринъ. Думалъ я было сперва побезпокоить самого государя...

— Теперь онъ тебя все равно бы не принялъ. Эти господа поляки надумали устроить на-дняхъ для молодой царицы рыцарскія игры — турниръ...

— Мое дѣло, бояринъ, куда важнѣе этихъ игръ...

Понизивъ голосъ, чтобы бывшій въ пріемной караулъ не разслышалъ, Курбскій разсказалъ о новомъ заговорѣ бояръ и передалъ, по возможности, дословно то, что говорилось на ихъ тайномъ совѣщаніи. Басмановъ ни разу его не прервалъ и нервно только покусывалъ усы.

— Ты самъ былъ также при этомъ? — спросилъ онъ, когда Курбскій кончилъ.

— Нѣтъ, но за вѣрность всего разсказаннаго ручаюсь.

— Ручаешься? Значитъ, слышалъ отъ совершенно вѣрнаго человѣка?

— Да.

— Кто же онъ?

— А ужъ этого, прости, не скажу. Я далъ обѣщаніе никого не называть.

— Даже зачинщика заговора?

— Даже его.

— Этакая вѣдь досада!..—пробормоталъ Басмановъ.—Самъ я въ тебѣ, князь, увѣренъ; но не всѣ тебѣ повѣрятъ на̀ слово. Имъ подай все, какъ на ладони. назови всякаго...

— Этого они отъ меня не дождутся!

— Доброй волей, да. Но они могутъ вырвать у тебя признаніе силой.

— Пристрастнымъ допросомъ? Если у нихъ поднимется рука на невиннаго, то у меня достанетъ духу вынести всякія муки!

— А можетъ-быть, и смерть? Но каково-то это будетъ для твоей молодой вдовы?

При упоминаніи самаго дорогого ему въ мірѣ существа Курбскій измѣнился въ лицѣ; но рѣшимость его осталась та же.

— Она перенесетъ это испытаніе Божіе,—сказалъ онъ,—какъ переносила не разъ и прежде.

— Это твое послѣднее слово?

— Послѣднее.

Басмановъ пожалъ плечами.

— Боюсь я за тебя, князь, крѣпко боюсь! Не пѣняй же на меня...

Съ этими словами онъ удалился. Недолго по-

годя дверь изъ внутреннихъ палатъ снова растворилась, но вошелъ уже не Басмановъ, а старшій адъютантъ сендомирскаго воеводы, панъ Тарло При видѣ Курбскаго, на губахъ его давнишняго недруга заиграла зловѣщая улыбка.

— По царскому повелѣнію, ясновельможный князь, я васъ арестую, — объявилъ онъ; затѣмъ, обратясь къ начальнику дежурной нѣмецкой команды, потребовалъ, отъ имени государя, эскортъ въ пять человѣкъ.

Выйдя изъ дворца, они повернули въ сторону тайнаго сыскного приказа.

— Вы сдадите меня князю Татеву? — спросилъ Курбскій.

— Съ удовольствіемъ сейчасъ сдалъ бы,—отвѣчалъ панъ Тарло. — Но его милость, къ сожалѣнію, изволитъ уже почивать, а потому вамъ придется потерпѣть до утра.

Нѣсколько шаговъ они прошли молча. Нарушилъ молчаніе опять Курбскій:

— Вы позволите мнѣ, пане, еще вопросъ? Басмановъ во всей подробности докладывалъ обо мнѣ государю?

— Во всей подробности? Зачѣмъ! Государю было не до васъ.

— И, не зная дѣла, онъ велѣлъ отправить меня въ застѣнокъ?

— Какъ вамъ сказать?.. Какъ только Басмановъ началъ про заговоръ, его величество перебилъ его: «Опять ты, Петя, съ этими пустяками! Какіе тамъ заговоры?» — Тогда панъ воевода отвелъ въ сто-

рону Басманова, поразспросилъ его хорошенько, а потомъ уже спросилъ у государя разрѣшеніе сдать доносчика въ руки князя Татева.

— И государь разрѣшилъ?

— Какъ видите.

— Такъ имени доносчика ему даже не сказали?

— Вашего имени? Для чего! А вотъ и ваше новое мѣстожительство. Доброй ночи и пріятныхъ сновъ.

Тѣмъ временемъ оставшійся дома казачокъ Курбскаго съ понятнымъ безпокойствомъ ожидалъ его возвращенія. Напрасно прождавъ цѣлую ночь, онъ понялъ, что съ господиномъ его приключилось что-то неладное. Къ безпокойству у него прибавились теперь еще угрызенія совѣсти: не онъ-ли, Петрусь, разболтавъ о заговорѣ, всему причиненъ? И скрывъ даже отъ Биркиныхъ отсутствіе Курбскаго, чтобы избѣжать неудобныхъ разспросовъ, онъ съ утра же отправился на развѣдки.

«Кому лучше знать про все, какъ не этому приспѣшнику Басманова, Бутурлину?» разсуждалъ онъ самъ съ собою.—«Такъ вотъ первымъ дѣломъ его и разыщемъ».

Но, не дойдя еще до дворца, гдѣ онъ хотѣлъ справиться о Бутурлинѣ, Петрусь столкнулся лицомъ къ лицу съ Эразмомъ Бенскимъ, бывшимъ нѣкогда младшимъ лѣкаремъ Бориса Годунова, лѣчившимъ (какъ припомнятъ читатели) и Курбскаго.

— А, пане дохтуръ!—обрадовался мальчикъ.—

Самъ Богъ послалъ мнѣ тебя! Не видалъ-ли ты съ вечера моего господина?

Озабоченныя уже черты Бенскаго еще болѣе омрачились.

— Твоего господина?—вполголоса повторилъ онъ и съ опаской оглядѣлся кругомъ.

— Ну да, князя Курбскаго.

— Т-с-с! Ступай за мной.

Они вышли опять изъ Кремля; тутъ только Петрусь рѣшился возобновить свой вопросъ.

— Видѣть-то его я видѣлъ,—со вздохомъ отвѣчалъ Бенскій,—и еще не разъ увижу, но радъ бы не видѣть!

— Да что̀ съ нимъ, мосьпане?

— Молніей его хватило...

— Молніей! Быть не можетъ: и грозы-то никакой не было.

— На иныхъ высотахъ, милый мой, грозы бываютъ и при ясномъ небѣ. «Procul a Jove—procul a fulmine», говорили еще римляне: «близко къ Юпитеру—близко и къ молніи». И надо жъ было ему соваться туда!

— Куда?

— Да къ Юпитеру. А тотъ сгоряча хвать его молніей.

— Прости, добродію, но я что-то въ толкъ не возьму...

— Попросту сказать: сдалъ его палачамъ въ застѣнокъ.

— Батечку мій! И что же, тамъ-то его ты и видѣлъ?

— Тамъ и видѣлъ.

— Такъ неужели ты тоже одинъ изъ его мучителей?

Краска негодованія поднялась въ щеки молодого врача. Но онъ сдержалъ себя и отвѣтилъ съ сознаніемъ собственнаго достоинства:

— Развѣ я похожъ на палача? Нѣтъ, я лѣчу пытаемыхъ, а кого не вылѣчить, тому, какъ умѣю, облегчаю муки.

— Но ты состоялъ прежде придворнымъ дохтуромъ...

— При царѣ Борисѣ, точно. Ну, а у новаго царя свои люди...

— И ты пошелъ на службу въ сыскной приказъ!

— Служба, правда, не почетная; но пользы тамъ отъ меня ближнимъ куда больше.

— Охъ, горечко мое! Кабы мнѣ добраться только до Басманова...

— А ты думаешь, что Басмановъ тутъ ни при чемъ? Скажу ужъ тебѣ, такъ и быть, что господинъ твой говорилъ съ однимъ лишь Басмановымъ, и вотъ до палачовыхъ рукъ дошелъ! Ну, будь здоровъ и молись Богу: если кто можетъ еще ему помочь, такъ одинъ Богъ!

Бенскій скрылся уже изъ виду, а казачокъ нашъ все стоялъ еще на томъ же мѣстѣ. Вдругъ слезы хлынули у него изъ глазъ, и онъ принялся съ ожесточеніемъ колотить себя по головѣ кулаками, приговаривая:

— Вотъ тебѣ, негодивецъ! вотъ тебѣ!

Прохожіе съ недоумѣніемъ оглядывали «негодивца» и обходили кругомъ; одинъ же, должнобыть веселый парень, спросилъ: «не пособить-ли?» и далъ ему отъ себя такого подзатыльника, что мальчикъ едва удержался на ногахъ. Но подзатыльникъ привелъ его опять въ себя.

«Лихой запорожецъ—и слезы роняешь!» вспомнились ему слова Курбскаго, и, отеревъ глаза, онъ разомъ пересталъ плакать.

«Коли кто можетъ еще выручить князя, такъ княгинюшка!» сказалъонъсебѣ.—«СтепанаМаркыча, родного дядю, къ ней вѣрно допустятъ».

Степана Марковича онъ засталъ въ его лавкѣ въ Китай-городѣ. Но, услышавъ отъ мальчика, что Курбскій угодилъ въ застѣнокъ, осторожный коммерсантъ отнесся къ заключенію несчастнаго съ своей коммерческой точки зрѣнія:

— И дернуло же его, торопыгу, вылѣзать изъ своей берлоги—изъ Марусина! Коли пойдетъ въ огласку, такъ и насъ съ братомъ, чего добраго, притянутъ еще къ отвѣту... А тамъ долго ли насъ въ разоръ разорить...

— Но княгиня-то Марья Гордѣевна тебѣ, я чай, племянница родная,—убѣждалъ Петрусь.— И ей изъ-за мужа, пожалуй, тоже не сдобровать.

— Въ царскихъ-то чертогахъ, подъ крылышкомъ самой царицы? Что̀ ей тамъ дѣлается! А нашего брата, сѣраго человѣка, живо тоже въ яму упрячутъ; да какъ ноги-руки на пыткѣ вывертятъ, такъ новыхъ себѣ, небось, не купишь!

—Эхъ, Степанъ Маркычъ, Степанъ Маркычъ!—

*

укорилъ безсердечнаго себялюбца возмущенный Петрусь.—Покорыстоваться нечѣмъ, такъ и близкихъ не пожалѣешь! Деревянная твоя душа!

Тутъ и самъ Степанъ Марковичъ не выдержалъ, вышелъ изъ себя.

— Ахъ ты, рвань поросячья! Мнѣ, мнѣ такія рѣчи! Вотъ погоди, вернусь домой, таковскихъ велю тебѣ засыпать, что до новыхъ вѣниковъ не забудешь!

«А вѣдь, чего добраго, его на это станетъ; управы же на него ни отъ кого мнѣ уже нѣту», сообразилъ смѣтливый казачокъ.

И, скрѣпя сердце, онъ съ виноватымъ видомъ попросилъ его не гнѣваться черезъ мѣру за «неподобныя» рѣчи.

— Сгоряча вѣдь молвилось, Степанъ Маркычъ...

— То-то вотъ сгоряча! Не слѣдъ бы мнѣ съ тобой, малолѣтнимъ, и бобы разводить. Ну, да Богъ тебя проститъ.

— А все-жъ-таки, Степанъ Маркычъ, какъ отъ тебя мнѣ никакой помоги не ждать уже для моего князя, такъ я пойду-ка еще, самъ попытаюсь...

— Ступай, миленькій, попытайся; по крайности, безъ дальнихъ хлопотъ вмѣстѣ съ своимъ княземъ въ рай попадешь. А хочешь еще малость съ нами, грѣшными, на бѣломъ свѣтѣ помыкаться, такъ сиди себѣ подъ кустомъ, позакрывшись листомъ, не гукни!

И послушался Петрусь мудрости житейской практика-купчины, до времени «не гукалъ».

Такимъ-то образомъ Маруся во дворцѣ остава-

лась въ полномъ невѣдѣніи относительно участи, постигшей ея мужа. Хотя она разъ и другой писала къ нему, но, по тайному распоряженію пана воеводы, письма ея не отправлялись по назначенію. Не получая отвѣта, Маруся тревожилась все болѣе и болѣе. Сердце ея безотчетно ныло, какъ бы въ предчувствіи страшной бѣды. Но когда она какъ то заикнулась объ этомъ молодой царицѣ, та подняла ее на смѣхъ, что и нѣсколько-то дней она не можетъ обойтись безъ своего «грознаго повелителя», который, напротивъ, кажется, прекрасно обходится безъ своей «смиренной рабы». И Марусѣ, противъ собственнаго желанія, приходилось участвовать во всѣхъ придворныхъ развлеченіяхъ, устраивавшихся въ честь польскаго посольства. Закончиться эти непрерывныя празднества должны были въ воскресенье, 18-го мая: днемъ предстоялъ настоящій рыцарскій турниръ, на которомъ польскіе рыцари, на удивленіе москвичамъ, должны были ломать копья, а вечеромъ—маскарадъ, на которомъ и царь и царица должны были, наравнѣ съ придворными, появиться въ маскахъ и въ фантастическихъ костюмахъ. Ни турниру, однако, ни маскараду уже не было суждено состояться...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Драма 17-го мая 1606 года.

Не имѣя теперь въ домѣ Биркиныхъ никакихъ опредѣленныхъ обязанностей, Петрусь нигдѣ не находилъ себѣ покою; ночью же, когда всѣ прочіе домочадцы спали сномъ праведныхъ, онъ одинъ по часамъ ворочался на своемъ, набитомъ сѣномъ, мѣшкѣ, тяжело вздыхая и отмахиваясь отъ несносныхъ комаровъ, влетавшихъ къ нему изъ хозяйскаго сада въ открытое, по случаю майской теплыни, окошко.

Но вотъ, подъ утро на субботу, 17-го мая, когда бѣдный мальчикъ едва только забылся чуткимъ сномъ, въ каморку къ нему ворвался снаружи такой могучій перезвонъ всѣхъ московскихъ колоколовъ, что онъ тотчасъ пробудился и сорвался съ постели.

«Набатъ! ужъ не дѣло-ли это заговорщиковъ?» было первою его мыслью.

А тутъ черезъ заборъ съ улицы донеслись еще звуки быстрыхъ шаговъ, оживленные голоса:

— Въ Кремль, въ Кремль! Смерть полякамъ

«Такъ и есть! Вотъ и спасенье моему князю...»

И Петрусь уже одѣтъ и выскакиваетъ на улицу, чтобы примкнуть къ одной изъ бѣгущихъ группъ,— все почти одного простонародья: рабочихъ, мужиковъ да бездомной голытьбы, такъ—называемой «голи кабацкой».

Лучи только-что восходящаго солнца ярко озаряютъ кудрявыя верхушки деревьевъ за заборами и краснѣющія межъ свѣжей зелени крыши, безоблачное небо такъ и синѣетъ, утреннею свѣжестью дышится такъ легко, и всѣ эти люди шагаютъ такъ бодро, обгоняя другъ друга, точно торопятся на какой-то народный праздникъ. Но почти всѣ они вооружены — кто дубиной, кто желѣзнымъ ломомъ, кто топоромъ, а кто и самопаломъ; всѣ говорятъ межъ собой ни о чемъ иномъ, какъ о полякахъ, которые хотятъ-де православные храмы обратить въ польскіе костелы, а народъ силой перевести въ свою поганую вѣру.

— Ну, а съ нѣмчурой этой какъ же? — спрашиваетъ одинъ.—Съ ними тоже за разъ ужъ расправиться?

— Что ты, братецъ!—говоритъ другой:—нѣмцы служили царямъ нашимъ всегда вѣрой и правдой; такъ ни ихъ самихъ, ни домовъ ихъ не велѣно трогать, ни-ни!

— Да дома-то, чай, одинъ какъ другой; какъ распознаешь: гдѣ нѣмцы стоятъ, гдѣ поляки?

— А очень просто: на воротахъ у поляковъ за ночь вездѣ черные кресты проставлены; какъ крестъ, такъ, стало, и громи... Ну, народу!

Въ самомъ дѣлѣ, изъ боковыхъ улицъ и переулковъ прибывали все новыя толпы, и чѣмъ ближе къ Кремлю, тѣмъ народная масса становилась все гуще и шумнѣе. Этотъ все наростающій шумъ и гамъ, сливаясь съ неумолкающимъ колокольнымъ гуломъ, дѣйствовалъ одуряющимъ образомъ и еще болѣе усиливалъ всеобщее возбужденіе. Когда тутъ показалось нѣсколько всадниковъ въ богатыхъ боярскихъ кафтанахъ, и во главѣ всѣхъ князь Василій Ивановичъ Шуйскій, народъ, пропустивъ ихъ впередъ, бурнымъ потокомъ устремился вслѣдъ, съ однимъ и тѣмъ же крикомъ:

— За Шуйскимъ, братцы, за Шуйскимъ! Что прикажетъ, тому, значитъ, и быть!

Очевидно, ни для кого не было уже тайной, что вотъ кто душа всего заговора.

Петрусь, затертый въ толпѣ ражаго рабочаго люда, напрягалъ всю силу своихъ отроческихъ мышцъ, чтобы не быть раздавленнымъ. Передъ Фроловскими воротами произошла такая отчаянная давка, что у взрослыхъ мужчинъ вырывались болѣзненные стоны, а нашъ мальчикъ готовился уже отдать Богу душу. Но вотъ, живой волной окружающихъ приподняло его отъ земли и вынесло сквозь ворота въ Кремль. Надо было выбраться

изъ этихъ тисковъ во что бы то ни стало! Онъ сорвалъ шапку съ головы шедшаго передъ нимъ парня и бросилъ ее на воздухъ. Напиравшіе сзади машинально взглянули въ вышину и на одну секунду ослабили свой натискъ. Этой секунды было довольно для ловкаго сына Запорожья, чтобы съ легкостью мячика взлетѣть на плечи того же передняго парня.

— Ишь, озорникъ! бездѣльникъ этакій! – раздались кругомъ восклицанія.

— Не взыщите, люди добрые, мнѣ къ спѣху,— отвѣчалъ Петрусь и перепрыгнулъ уже на слѣдующія плечи.

Люди были прижаты такъ плотно другъ къ дружкѣ, что при всемъ желаніи не имѣли возможности воспрепятствовать его эквилибристическимъ упражненіямъ. Такъ, съ одного человѣка на другого, онъ безъ всякаго уже затрудненія добрался почти и до самаго Успенскаго собора. Здѣсь, наконецъ, кому-то удалось схватить прыгуна за ногу и стащить наземь. Его ожидала бы, конечно, нешуточная расправа, если бы въ это самое время общее вниманіе не было отвлечено опять княземъ Шуйскимъ. Помолившись въ соборѣ, тотъ вышелъ теперь, вмѣстѣ съ другими боярами, на паперть и обратился къ народу съ такими словами:

— Православные! Святая Русь, святая вѣра наша гибнутъ! Поляки обманомъ посадили на престолъ царскій самозванца, разстригу и вора Гришку Отрепьева; самозванецъ этотъ женился на прокля-

той еретичкѣ, самъ принялъ ея богомерзкую вѣру и всѣхъ насъ обѣщался обратить также въ латынство, отдать въ кабалу исконнымъ врагамъ нашимъ, полякамъ. Смерть же полякамъ! смерть самозванцу!

Въ отвѣтъ на зажигательную рѣчь воздухъ огласился единодушнымъ—не крикомъ, нѣтъ, а ревомъ тысячей и тысячей обезумѣвшихъ людей:

— Смерть полякамъ! смерть самозванцу!

Петруся опять подхватило бушующимъ человѣческимъ моремъ, и онъ долженъ быть отдаться общему теченью. Съ измятыми боками, едва переводя духъ, онъ, самъ не зная какъ, очутился на крыльцѣ новаго царскаго дворца, а затѣмъ и въ главныхъ сѣняхъ. Впереди раздавались угрожающіе возгласы и бряцаніе оружія. Но наружная толпа, все прибывая, напирала сзади, и казачокъ нашъ оказался уже въ царской пріемной.

Входъ во внутренніе покои загораживала своими аллебардами нѣмецкая охранная стража. Начальникъ ея, курляндскій дворянинъ Вильгельмъ Шварцгофъ, на ломанномъ русскомъ языкѣ пытался урезонить нападающихъ; но тѣ требовали «головы самозванца» и все болѣе тѣснили аллебардщиковъ, которые съ трудомъ уже отбивались отъ ихъ дубинъ и топоровъ.

Тутъ дверь за спиной Шварцгофа распахнулась, и на порогѣ появился самъ Димитрій въ своемъ польскомъ жупанѣ, въ сопровожденіи Басманова.

— Назадъ, крамольники!—повелительно крикнулъ онъ, окидывая буяновъ безстрашнымъ взгля-

домъ.—Татищевъ! Воейковъ! и вы съ ними? Но я вамъ не Борисъ!

И, выхвативъ обнаженный мечъ изъ рукъ Шварцгофа, онъ съ такой отвагой двинулся на двухъ измѣнниковъ-бояръ, что тѣ невольно попятились назадъ на предводительствуемую ими чернь.

— Побереги себя, государь!—предостерегъ его Басмановъ.—И зачѣмъ ты не послушался вѣрныхъ нѣмцевъ! А теперь спасайся съ царицей: я здѣсь умру за тебя.

Димитрій внялъ разумному совѣту и скрылся опять за дверью.

— Онъ убѣжитъ еще съ своей женой-колдуньей! Впередъ, братцы! Не жалѣй ихъ, руби сплеча!—раздались голоса.

— Да не знаетъ-ли кто дорогу къ покоямъ Маринки?

— Я знаю!—отозвался какой-то долговязый парень съ багровымъ испитымъ лицомъ.—За мной, ребятушки!

Толпа раздѣлилась: пока одни вступили снова въ рукопашную съ Басмановымъ и аллебардщиками, другіе ринулись за новымъ вожакомъ.

«А вѣдь тамъ, у царицы, и моя княгинюшка!» вспомнилъ Петрусь. — «Ее тоже,пожалуй,за полячку примутъ, и тогда аминь!»

Слѣдомъ за другими онъ подоспѣлъ къ дверямъ царицыной пріемной какъ разъ къ концу ожесточенной схватки. Входъ къ царицѣ защищалъ всего одинъ человѣкъ, но преданный ей ду-

шой и тѣломъ, безсмѣнный ея рыцарь, панъ Осмольскій. Противъ всей дикой оравы онъ молча съ удивительнымъ хладнокровіемъ и мужествомъ отбивался своимъ палашомъ. Вдругъ грянулъ чей-то выстрѣлъ, и герой, до смерти вѣрный своему долгу, грохнулся на полъ, пораженный пулею въ самое сердце. Крѣпкая дубовая дверь затрещала подъ ударами топоровъ; еще мигъ—и дверь разлетѣлась въ щепы.

Посреди пріемной стояло нѣсколько блѣдныхъ, трепещущихъ женщинъ.

— А гдѣ же ваша царица-колдунья? гдѣ царь самозванецъ?—окрикнулъ ихъ долговязый буянъ.—Говори сейчасъ, сударынька-барынька, коли жизнь тебѣ еще мила

Великолѣпная панья гофмейстерина, къ которой относились послѣднія слова, со страху забыла всю свою напущенную важность и растерянно обратилась по-польски къ стоявшей позади ея молоденькой особѣ, единственной изъ всѣхъ въ русскомъ сарафанѣ:

— Ахъ, милая княгиня! скажите же имъ что нибудь...

Та выступила впередъ и отвѣчала вопрошающему по-русски съ полнымъ присутствіемъ духа:

— Царица на ранней зарѣ еще ушла въ домъ своего родителя, сендомирскаго воеводы: тамъ ее и ищите. А гдѣ теперь царь,—почемъ намъ знать?

— Лжете вы, проклятыя еретички! Бей ихъ, рѣжь ихъ, покуда не скажутъ!

— Стой, ребята! Какая жъ это еретичка?—

вмѣшался тутъ Петрусь.—Развѣ еретичка одѣлась бы въ русское платье, говорила бы такъ чисто по-русски? Я ее хорошо знаю: это княгиня Курбская.

— Такъ по что жъ она здѣсь съ полячками?

— А держатъ ее здѣсь взаперти противъ ея воли. Мужа ея, князя Михайлу Курбскаго, забрали тоже въ сыскной приказъ и пытаютъ всякими муками, чтобы онъ выдалъ заговорщиковъ...

— Его пытаютъ?...—вскричала внѣ себя Маруся, разомъ потерявъ все самообладаніе.—Голубчики вы мои! спасите мнѣ мужа!

— Поспѣемъ!—былъ отвѣтъ.—Отойди-ка, сударыня, къ сторонкѣ дай намъ сперва расправиться съ этимъ польскимъ отродьемъ.

— И не стыдно вамъ, мужчинамъ, воевать съ бабами?

— Зачѣмъ, матушка, воевать; да добра-то на нихъ всякаго больно много понавѣшано: и нашимъ бабамъ пригодится. Ну, красавицы-лебедушки! просимъ не прогнѣваться.

Несмотря на сопротивленіе и вопли возмущенныхъ женщинъ, съ нихъ были сорваны всѣ цѣнныя украшенія: запястья, кольца, серьги, затѣмъ цѣлыми полосами и дорогія шелковыя ткани...

— Вотъ и справились; не задержали!—съ грубымъ смѣхомъ объявилъ вожакъ.—Скатертью дорога.

Всѣ подчиненныя паньи гофмейстерины не дали повторить себѣ приглашенія и опрометью бросились вонъ. Сама же она осталась стоять на томъ же мѣстѣ, какъ пригвожденная къ полу.

— Ну, а твоя милость чего ждетъ? Аль столбнякъ нашелъ?

— Не троньте ее, Господь съ нею!—вступилась снова Маруся.—Окажите теперь божескую милость своему русскому: освободите мнѣ мученика-мужа! Терпитъ-то онъ вѣдь изъ-за васъ же...

— Ну, что жъ, коли изъ-за насъ, то какъ не ослобонить? Ослобонимъ его, братцы!

— Ослобонимъ!—откликнулось нѣсколько человѣкъ и послѣдовало за главаремъ, тогда какъ остальные хищники разсѣялись по дворцу въ поискахъ за дальнѣйшей добычей.

Панья Тарло, понятно, не отдѣлалась бы отъ нихъ такъ дешево, знай они истинную причину ея столбняка; намъ же причина эта хорошо извѣстна благодаря современному лѣтописцу (Мартину Беру): подъ широчайшей робой своей гофмейстерины нашла временное убѣжище сама царица Марина, и сдвинься та съ мѣста, ее бы, понятно, схватили и подвергли жестокимъ обидамъ, если не лютой смерти.

Между тѣмъ на площади передъ дворцомъ народъ бушевалъ попрежнему. Кипящимъ, неутоленнымъ еще страстямъ его нуженъ былъ какой-нибудь исходъ. Какъ только новоявленные защитники Маруси показались на главномъ крыльцѣ, на нихъ обратилось всеобщее вниманіе; когда же тѣ крикнули сверху, что въ сыскномъ приказѣ томятся безвинныя жертвы самозванца и что слѣдовало бы выпустить бѣднягъ оттуда, — предложеніе было встрѣчено съ сочувственнымъ изступленіемъ:

— Выпустить всѣхъ! Въ приказъ! въ приказъ!

Народныя волны шумно покатились въ сторону сыскного приказа. Противъ могучаго прибоя этихъ волнъ не устояли ни замки, ни затворы. Пока Маруся, сопровождаемая казачкомъ, спустилась съ крыльца и съ трудомъ стала пробиваться сквозь плотную толпу къ мѣсту заключенія своего мужа, кого то уже выносили оттуда на носилкахъ, выносили ликуя, какъ тріумфатора.

— Да это онъ, нашъ князь!—радостно возвѣстилъ Петрусь.

Изъ груди молодой госпожи его вырвался крикъ безумнаго счастья.

— Слава, слава Богу! Пропустите меня къ нему, пропустите: это мужъ мой! Ты живъ, Миша?

Да онъ-ли это еще, полно? Это богатырское, но неподвижное тѣло съ повисшими, какъ плети, руками, это впалое, страдальческое лицо, этотъ потухшій взоръ!

— Владычица! Что они съ тобою сдѣлали!..

Рыданія заглушили ея слова.

— Это ты, Маруся?—послышался слабый голосъ несчастнаго.—А царь? что съ нимъ?

— Молчи! не говори!—шепнулъ ей казачокъ, не даромъ опасавшійся, что Курбскій выдастъ передъ бунтовщиками свою неостывшую еще привязанность къ Димитрію.

Но, какъ бы въ отвѣтъ на вопросъ, со стороны дворца донесся въ это время торжествующій ревъ—ревъ словно цѣлой стаи дикихъ звѣрей.

— Знать, расправляются съ разстригой!—съ

злобнымъ смѣхомъ замѣтилъ кто-то изъ окружающей черни.

— Несите меня туда! Скорѣе, скорѣе!—заторопилъ Курбскій.

Наклонясь къ самому уху мужа, Маруся шопотомъ умоляла его не губить себя.

— И дать погубить того, кому я всѣмъ обязанъ? — возразилъ Курбскій. — Скорѣе, любезные, скорѣе!

Но судьба Димитрія была уже рѣшена. Навстрѣчу имъ двигалась омерзительная процессія: нѣсколько оборванцевъ несли, въ видѣ трофея, маски, найденныя ими во дворцѣ отъ назначеннаго на другой день маскарада, и орали во все горло:

— Смотрите, православные: вотъ бѣсовскія хари, которымъ онъ молился!

Одинъ отчаянный, бренча на балалайкѣ, отплясывалъ тутъ же на ходу трепака; а за нимъ такіе же озвѣрѣвшіе люди волокли по землѣ два обезображенныхъ, окровавленныхъ трупа: Димитрія и Басманова.

Курбскій съ сверхчеловѣческимъ усиліемъ приподнялся на носилкахъ.

— Злодѣи!—крикнулъ онъ, и глубокое негодованіе придало его голосу почти прежнюю звучность.—Мало, что вы его убили,—вамъ надо еще надругаться надъ его мертвымъ тѣломъ!

— А! ты тоже, значитъ, изъ ихъ братіи?— заревѣлъ на него одинъ изъ безумцевъ и увѣсистой палицей съ такой силой хватилъ его по лбу, что носильщики не могли сдержать своей ноши.

Маруся съ воплемъ накинулась на поверженнаго, чтобы своимъ тѣломъ защитить его отъ дальнѣйшихъ истязаній. Но никому не было уже дѣла до нея и до ея мужа.

— Впередъ на Лобное мѣсто! — раздалась команда, и ужасная процессія двинулась далѣе...

...На слѣдующій только день, благодаря ледянымъ примочкамъ, безпрестанно накладываемымъ на голову, Курбскій въ первый разъ открылъ опять глаза. Лежалъ онъ на своей собственной постели, въ домѣ Биркиныхъ; у изголовья его стояли съ озабоченными лицами Маруся и лѣкарь Бенскій, а въ ногахъ—Степанъ Марковичъ.

— Очнулся!—прошептала Маруся, и на рѣсницахъ ея проступили опять слезы—уже слезы радости.—Ты узнаёшь меня, Миша?

Бенскій сдѣлалъ ей знакъ, чтобы она отошла вонъ и не безпокоила больного разспросами, а самъ приложилъ ладонь къ его сердцу. (Взять его за пульсъ онъ не рѣшался, чтобы не причинить напрасной боли его поврежденной рукѣ).

Курбскій точно не слышалъ даже вопроса жены и, вообще, не пришелъ еще въ себя; взоръ его неопредѣленно блуждалъ кругомъ, пока не остановился, наконецъ, на лицѣ врача.

— Это вы, Бенскій?—прошепталъ больной.—Но отчего здѣсь такъ свѣтло, будто отъ солнца?

— Оно и свѣтитъ сюда,—отвѣчалъ Бенскій.—Вы, князь, вѣдь уже не въ темницѣ, вы у себя дома. Васъ освободили.

— Освободили? Такъ это не былъ сонъ?

— Нѣтъ, дорогой мой, нѣтъ, это не сонъ!—подхватила тутъ Маруся, быстро подходя къ мужу.— Я съ тобой; а вотъ и дядя Степанъ...

Степанъ Марковичъ, въ свою очередь, началъ было выражать свое удовольствіе, но Курбскій едва взглянулъ на него, не выказалъ и особенной радости, что видитъ опять Марусю. Его занимала, казалось, одна только мысль.

— Такъ, стало-быть, правда, что царь Димитрій убитъ?—спросилъ онъ.—Да что же вы всѣ молчите? Отвѣчайте!

Глаза его разгорѣлись лихорадочнымъ огнемъ. Бенскій переглянулся съ Марусей и ея дядей.

— Теперь, пожалуй, лучше уже не скрывать,— сказалъ онъ со вздохомъ. — Да, Димитрія уже нѣтъ на свѣтѣ, также какъ и Басманова.

— Но какъ это все случилось?

— Разсказывать про эти ужасы меня ужъ увольте. Вотъ Степанъ Маркычъ, можетъ-быть, разскажетъ.

— Да что тутъ много разсказывать?—отозвался Степанъ Марковичъ.—Басмановъ, слышно, до послѣдняго издыханія защищалъ входъ въ царскіе покои, поколѣ Татищевъ не всадилъ ему ножа въ бокъ. Тутъ его сбросили съ крыльца...

— А царь?

— Царь выскочилъ изъ окна во дворъ къ своимъ стрѣльцамъ. Тѣ его подняли (онъ свихнулъ себѣ ногу) и обѣщались не выдавать его боярамъ. Но тутъ подоспѣли сами бояре, стали всячески истязать его, чтобы признался, кто онъ есть та-

кой, отколѣ родомъ. «Всѣмъ вамъ вѣдомо,—молвилъ онъ,—что я царь вашъ, родной сынъ царя Ивана Васильевича. Спросите родительницу мою, инокиню Марѳу». — «Она отрекается отъ тебя!» крикнулъ Голицынъ и рубанулъ его по головѣ саблей.—«Чего толковать съ еретикомъ!»—крикнулъ Воейковъ и изъ пистоли уложилъ его на мѣстѣ

— Мнѣ сказывали, что пристрѣлилъ его не Воейковъ, а Волуевъ,—вставилъ Бенскій.

— Кто ихъ вѣдаетъ! Говорятъ разно. Одно вѣрно, что его прикончили.

Наступило молчаніе. Курбскій беззвучно шевелилъ губами, молясь про себя за упокой души усопшаго; затѣмъ спросилъ опять вслухъ:

— А тѣло его,—гдѣ оно теперь?

— На Красной площади, — отвѣчалъ Биркинъ.—Нарядили ихъ обоихъ, его да Басманова, скоморохами и положили самого на столъ, а Басманова на скамейку у ногъ его: вмѣстѣ-де грѣшили, такъ вмѣстѣ пускай и лежатъ на общее позорище! И издѣваются же надъ ихъ бездушнымъ прахомъ! Самому въ ротъ сунули дудку: «Вдосталь, молъ, поигралъ для себя; поиграй-ка и для насъ!»

— Вотъ благодарность народная! А покойному, что̀ ни говори, благо народа было всего дороже... Степанъ Маркычъ! мой смертный часъ, чувствую, тоже близокъ. Исполни же ты мою послѣднюю просьбу.

— Приказывай, князь, что̀ могу—все сдѣлаю.

*

— Такъ выпроси его тѣло у бояръ и схорони за городомъ...

Желаніе это Степаномъ Марковичемъ было въ точности исполнено: выхлопотавъ себѣ требуемое разрѣшеніе, онъ въ ночь на третьи сутки вывезъ тѣло Димитрія за городъ и закопалъ въ полѣ. Но и тамъ не нашло оно еще вѣчнаго успокоенія: среди всевозможныхъ смутныхъ слуховъ, ходившихъ въ возбужденномъ народѣ, особенно упорно повторялась басня о томъ, будто бы на могилѣ еретика-самозванца въ ночную пору видны адскіе огни, слышна бѣсовская музыка. И вотъ, уже спустя недѣлю, могила его была вновь разрыта, истлѣвающее тѣло всенародно сожжено на кострѣ, а пепломъ его заряжена пушка. И, вмѣстѣ съ пороховымъ дымомъ, развѣяло вѣтромъ прахъ вѣнценоснаго несчастливца передъ тѣми самыми воротами, въ которыя онъ менѣе года назадъ совершалъ свое торжественное вшествіе въ Москву...

Заключеніе.

Разсказъ нашъ оконченъ. Главный герой его, князь Михайло Курбскій, правда, несмотря на тяжкія увѣчья, причиненныя ему въ застѣнкѣ, не только пережилъ все Смутное время до воцаренія рода Романовыхъ, но дожилъ и до «тишайшаго» царя Алексѣя Михайловича; тѣмъ не менѣе жизнь его была скорѣе уже прозябаніемъ: онъ навсегда остался немощнымъ калѣкой. Трое близкихъ людей старались по возможности облегчить его жалкое существованіе: во-первыхъ, разумѣется, жена его, княгиня Марья Гордѣевна, окружавшая своего страдальца Мишу всякими удобствами и отстранявшая отъ него всѣ мелочныя заботы; потомъ безотлучный слуга, Петрусь, величавшійся уже Петромъ Елисеичемъ или и просто Елисеичемъ и никому не уступавшій своей привилегіи—возить его въ катальномъ креслѣ; наконецъ, домашній врачъ Эразмъ Бенскій, не устававшій развлекать

своего паціента шахматной игрой и бесѣдами о «старыхъ временахъ». Нерѣдко, конечно, бесѣды эти вращались около безвременно погибшаго царя Димитрія, котораго Курбскій не переставалъ жалѣть. Называлъ онъ его, впрочемъ, обыкновенно не царемъ, а «своимъ царевичемъ». Когда Бенскій выразилъ ему какъ-то по этому поводу свое недоумѣніе, Курбскій, помолчавъ, отвѣчалъ, что полюбилъ онъ покойнаго еще въ свѣтломъ образѣ царевича...

— И не пощадили себя потомъ изъ-за него, какъ бы изъ-за настоящаго же царевича?—досказалъ Бенскій.

— Пожалуй, что и такъ.

— А какъ въ царѣ вы въ немъ извѣрились? Да, черезчуръ ужъ высоко онъ залетѣлъ! Зато и упалъ тѣмъ ниже...

Говорить о бывшей царицѣ Маринѣ въ домѣ Курбскихъ вообще избѣгали, особенно съ тѣхъ поръ, что она не погнушалась признать своимъ мужемъ второго Лжедимитрія, «Тушинскаго вора». Но, спустя много лѣтъ, имъ пришлось снова вспомнить объ ней и ея первомъ мужѣ, когда забредшій въ Марусино слѣпецъ-гусляръ пропѣлъ имъ былевую пѣснь «про вора Гришку-Разстрижку Отрепьева и про жену его, меньшую дочь Юрья пана Стредомірскаго, душеньку Маринку дочь Юрьевну». Много дней, недѣль и мѣсяцевъ, какъ пѣвецъ ушелъ уже изъ Марусина, а въ ушахъ у супруговъ Курбскихъ все еще зву-

чали заключительные стихи новѣйшей былины народной:

«...Какъ тутъ Гришка-Разстрижка Отрепьевъ сынъ
Заглянулъ въ окно косящато:
Обступила сила кругомъ вокругъ,
Несмѣтная сила со копьями.
Беретъ онъ книжку волшебную,
Волхвуетъ Гришка Отрепьевъ сынъ,
Думаетъ умомъ своимъ царскіимъ:
«—Подѣлаю крыльица дьявольски,
Улечу теперь я дьяволомъ.
«Не поспѣлъ Гришка сдѣлать крыльицевъ,
Навалила вся сила со копьями.
Видитъ Гришка бѣду неминучую,
Скоро скочитъ въ окошко косящато—
Да о ка̀менья убился до̀ смерти.
Только-то Гришка царемъ бывалъ,
Только-то Гришка и царствовалъ!
А та душенька Маринка дочь Юрьевна
Обернулась изъ окошка сорокою,—
Только-то Маринку и видѣли!»

КОНЕЦЪ.

Въ книжномъ магазинѣ П. В. ЛУКОВНИКОВА,

С.-Петербургъ, Лештуковъ пер., уголъ Фонтанки, д. 2—80,

и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ продаются слѣдующія книги

В. П. АВЕНАРІУСА:

I. Дѣтскія сказки.

Изданіе 4-е, съ 8-ю отдѣльн. и многр. друг. рисунк. въ текстѣ Н. Н. Каразина и др. Въ это изданіе вошли, кромѣ наиболѣе удачныхъ пересказовъ простонародн. и иностранныхъ сказокъ изъ сборника **„Тридцать лучшихъ новыхъ сказокъ“**, еще три оригинальныя сказки: **„О муравьѣ-богатырѣ“**, **„О пчелѣ-Мохнаткѣ“** и **„Что комната говоритъ“**. Послѣднія двѣ удостоены каждая первой преміи С.-Петербургскаго Фребелевскаго общества. Ц. въ бумажкѣ **1** р. **25** к., въ красивой папкѣ **1** р. **50** к., въ колен. перепл. съ золот. 2 р. Въ первыхъ изданіяхъ *одобрены Ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и городскихъ училищъ; *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущены для пріобрѣтенія въ библіотеки низшихъ и среднихъ классовъ училищъ вѣдомства.

Отзывъ печати: «Авторъ этой книги хорошо извѣстенъ своею прекрасною и широко распространившеюся «Книгою былинъ». Новая книга его состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) оригинальныя сказки: «Сказка о муравьѣ-богатырѣ», «Сказка о пчелѣ-Мохнаткѣ» и «Что комната говоритъ»; 2) пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ и 3) пересказы иностранныхъ сказокъ. Лучшимъ отдѣломъ надо безспорно считать первый. Эти сказки «оригинальныя» въ полномъ смыслѣ этого слова; въ нихъ сказывается замѣчательный талантъ автора сочетать сказочный интересъ, быструю смѣну дѣйствій, живость разсказа съ дѣловитостью. При томъ разсказъ проникнутъ добродушнымъ юморомъ, вполнѣ доступнымъ дѣтямъ; наконецъ, юные читатели встрѣчаютъ безпрестанно вполнѣ здравые и нравственные взгляды, которые естественно вытекаютъ изъ хода дѣйствія, а это, конечно, не то, что докучливая, голая мораль, которою такъ часто донимаютъ дѣтей многіе писательницы и писатели дѣтскихъ разсказовъ. Пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ тоже очень удачны; иностранныя сказки почти всѣ граціозны и остроумны. Книга издана весьма изящно, на прекрасной бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, украшена множествомъ рисунковъ, и ее можно рекомендовать какъ прекрасный подарокъ дѣтямъ» (*«Женское Образованіе»*).

Изъ **«Дѣтскихъ сказокъ»** вышли отдѣльными изданіями:

1. **„Сказка о Муравьѣ-богатырѣ“**. Разсказъ для дѣтей. Съ рисунками Н. Н. Каразина. Изданіе 5-е. Ц. 50 к. *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущена въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

2. **„Молодильныя яблоки“**. Сказка-поэма. Съ рисунками. Ц. 10 к. *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

II. Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній.

Десять автобіографическихъ разсказовъ. Съ портретомъ автора и 15-ю отдѣльными рисунками Н. Загорскаго и Т. Никитина. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ изящномъ коленк. перепл. 2 р. 25 к. *Одобрены Ученымъ Комитетомъ Мин. Народн. Просвѣщенія* и **рекомендованы** *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а равно и для **подарковъ.**

Удостоены Императорскою Академіею Наукъ, *„почетнаго отзыва"*, при чемъ, „достоинствами сборника признаны прекрасный, живой и необыкновенно простой языкъ, мастерской разсказъ, захватывающій читателя, порой доходящій до драматизма; умѣнье выбрать, выдвинуть, освѣтить только самое нужное, существенное; отсутствіе слащавости, сентиментальности, малѣйшей поддѣлки подъ дѣтскую или народную рѣчь; благородная мысль, идейность, вполнѣ естественно вытекающая изъ изображенной жизни, изъ говорящихъ воображенію и чувству образовъ и картинъ; представленіе высокаго, прекраснаго, граціознаго, возбуждающаго въ юношѣ любовь къ жизни, къ родинѣ, къ человѣчеству, гуманность въ широкомъ и лучшемъ смыслѣ этого слова и добродушный юморъ" (*„Книжный Вѣстникъ"*, 26-го октября 1897 г., № 33).

Отзывъ печати: «Этотъ трудъ г. Авенаріуса является такимъ же цѣннымъ и солиднымъ вкладомъ въ нашу литературу, какъ и предыдущія его произведенія. При описаніи своего дѣтства, авторъ не прибѣгаетъ къ какимъ-либо вымысламъ, нѣтъ у него и той приторной сентиментальности, которою многіе другіе писатели обыкновенно считаютъ долгомъ надѣлять своихъ юныхъ героевъ. Онъ передаетъ только то, что имъ дѣйствительно было пережито въ дѣтствѣ, и эта правдивость только увеличиваетъ интересъ его воспоминаній. Съ внѣшней стороны—книга издана очень изящно: крупнымъ шрифтомъ, на прекрасной бумагѣ и съ 14-ю отдѣльными рисунками Н. П. Загорскаго и Т. И. Никитина» (*«Новое Время»*).

III. Васильки и колосья.

Разсказы для юношества. Съ 22-мя портретами и рисунками. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. Въ первомъ изданіи допущены *Ученымъ Комитетомъ Мин. Народн. Просв.* въ ученическія для младшаго возраста библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и *Учебнымъ Комитетомъ* при *Святѣйшемъ Синодѣ* къ пріобрѣтенію въ ученическія библіотеки духовныхъ семинарій. **Рекомендованы** *Учебнымъ Комитет.* вѣдомства Императрицы Маріи въ ученическія библіотеки старшаго и средняго возраста среднихъ учебныхъ заведеній, а **также для подарковъ,** и *Главнымъ Управленіемъ* военно-учебныхъ заведеній для среднихъ ротъ кадетскихъ корпусовъ.

Отзывъ печати: «Г. Авенаріусъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ русскихъ писателей, которые своими сочиненіями доказали возможность существованія у насъ настоящей литературы для дѣтства и для юношества, чуждой слащавыхъ и приторныхъ пріемовъ, составляющихъ отличительный признакъ этого рода литературныхъ произведеній. Изданный теперь г. Авенаріусомъ сборникъ разсказовъ и очерковъ для юношества отличается тѣми же существенными достоинствами, какъ и прежнія произведенія того же автора, а именно: занимательною, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и серьезною обработкою темы, такъ что почти всѣ эти разсказы могли бы не безъ

достоинства занять мѣсто и въ сборникахъ для взрослыхъ читателей. Сборникъ, украшенный множествомъ рисунковъ, изданъ во всѣхъ отношеніяхъ такъ изящно, какъ заслуживаютъ того книги, назначаемыя для подарковъ» (*«Новое Время»*).

Изъ разсказовъ этого сборника изданы отдѣльно:

„Меньшой потѣшный“. Историческая повѣсть изъ молодости Петра Великаго. Съ портретомъ князя А. Д. Меншикова и 7 отд. рисунками. Ц. 40 к. *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія* допущена въ ученическія библіотеки средн. и низшихъ учебныхъ заведеній.

„Дѣтскіе годы Моцарта“. Біографическій разсказъ. По Гериберту Рау. Съ портретомъ Моцарта и картинами (Изъ книги «Васильки и Колосья»). Цѣна 20 к.

IV. Во львиной пасти.

Историческая повѣсть для юношества изъ эпохи основанія Петербурга. Съ 19-ю рисунк. Р. Штейна и снимкомъ съ современной гравюры. Изд. 2-е. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ коленк. переплетѣ 2 р. 50 к. *Ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія* допущена въ ученическія библіотеки среднихъ учеб. заведеній, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, и въ народныя читальни; *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи **рекомендована** для пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки старшаго и средняго возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства, а равно и для **наградъ** воспитанницамъ.

Отзывъ печати: «Не знаешь, чему дать предпочтеніе,—тонкому-ли историческому чутью автора, умѣющему схватить духъ времени и придать смыслъ всякому, повидимому, самому ничтожному факту, или психологическому его пониманію жизни, благодаря которому душевныя движенія дѣйствующихъ лицъ принимаютъ характеръ законности и необходимости, или, наконецъ, рѣдкому таланту объективнаго повѣствованія и художественнаго воспроизведенія внѣшнихъ явленій и внутренняго міра. Авторъ повѣсти въ полной мѣрѣ обнаруживаетъ всѣ названныя достоинства, въ прекрасномъ сочетаніи дополняющія одно другое, и совершенно понятенъ тотъ громадный интересъ, какой возбуждаетъ въ читателѣ эта историческая повѣсть. Она не читается, а проглатывается или, вѣрнѣе, повѣсть поглощаетъ читателя,—и я бы назвалъ ее «Львиною пастью» по этой именно причинѣ» (*«Сѣверный Вѣстникъ»*).

V. Отроческіе годы Пушкина.

Біографическая повѣсть. Изданіе 4-е, иллюстрированное 8-ю рисунками и портретомъ Пушкина. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. Во второмъ изданіи **рекомендована**: *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв.* для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, для старшаго возраста; *Главнымъ Управленіемъ* военно-учебныхъ заведеній для библіотекъ кадетскихъ корпусовъ и *Учеби. Комит.* вѣдомства Императрицы Маріи для чтенія въ трехъ старшихъ классахъ, а также для **подарковъ**. Допущена *Учеби. Комит. при Св. Синодѣ* въ ученическія библіотеки духовныхъ семинарій, мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ.

Отзывъ печати: «Счастливая мысль—нарисовать въ живыхъ образахъ, на основаніи точныхъ біографическихъ и историческихъ источниковъ, дѣтство и отроче-

ство великаго поэта—выполнена авторомъ съ большимъ успѣхомъ. Повидимому, книга его назначена для юношескаго возраста; но живость изложенія, масса интересныхъ бытовыхъ и фактическихъ подробностей изъ жизни начала нашего вѣка, рельефно очерченная личность Пушкина въ средѣ его товарищей—даютъ книгѣ этой право на болѣе широкій и зрѣлый кругъ читателей. Нѣкоторыя главы ея, напр., «Война 1812 г.» или «Открытіе лицея», представляютъ собою маленькія историческія картинки, написанныя съ большимъ умѣньемъ» (*«Вѣстникъ Европы»*).

VI. Юношескіе годы Пушкина.

Біографическая повѣсть. Изданіе 3-е. Съ 6-ю портретами и 3-мя рисунками. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. 50 к. **Рекомендована**: *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв.* для ученич. библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, для старшаго возраста; *Главнымъ Управленіемъ* военно-учебныхъ заведеній для библіотекъ кадетскихъ корпусовъ. *Одобрена Учебнымъ Ком.* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Допущена *Учебн. Комит. при Св. Синодѣ* въ ученич. библіот. духовн. семинарій, мужск. духовн. и женск. епархіал. училищъ, а равно и женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства.

Отзывы печати: «Вотъ въ полномъ смыслѣ слова «историческая повѣсть»; тутъ все вѣрно исторіи и ея документамъ; тутъ встаютъ въ воображеніи читателя живыя лица и заставляютъ переживать съ ними описываемыя талантливымъ авторомъ событія; тутъ все полно интереса, приковывающаго вниманіе читателя. Ей—это мы предсказываемъ съ полною увѣренностью—предстоитъ сдѣлаться одною изъ любимѣйшихъ книгъ юношества» (*«Русскія Вѣдомости»*).

«Отъ повѣсти г. Авенаріуса вѣетъ любовью къ Пушкину и его сверстникамъ, описываемымъ въ книгѣ, вѣетъ бодростью и свѣжестью, свойственными молодости. Читается эта книга съ интересомъ не только внѣшнимъ, которымъ она обязана бойкости пера г. Авенаріуса,—нѣтъ, тутъ дѣти находятъ и внутренній интересъ, пріобрѣтаютъ серьезныя и обстоятельныя свѣдѣнія о молодости родного поэта, которыя очень и очень пригодятся имъ для уясненія его творчества и развитія въ немъ поэтическаго генія. Скажемъ болѣе: повѣсть г. Авенаріуса по своей глубокой, такъ сказать, историчности должна занять одно изъ первыхъ мѣстъ не только въ дѣтской литературѣ, но ей предстоитъ занять весьма почтенное мѣсто среди серьезныхъ историко-литературныхъ изслѣдованій» (*«Русская Мысль»*).

VII. Гоголь-гимназистъ.

Первая повѣсть изъ біографической трилогіи «**Ученическіе годы Гоголя**». Изд. 6-е. Съ 8-ю портр. и видами. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. съ золот. 2 р. *Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв. одобрена* для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, допущена въ безплатныя народныя библіотеки и читальни и *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи **рекомендована** для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ средняго и старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и для **наградъ** воспитанницамъ.

Отзывы печати: «Настоящая книжка заключаетъ въ себѣ разсказъ о пребываніи Гоголя въ Нѣжинѣ до конца его гимназическихъ классовъ и до смерти его отца. Разсказъ ведется очень живо и, безъ сомнѣнія, будетъ занимателенъ для моло-

дыхъ читателей... Біографіи великихъ писателей принадлежатъ къ числу тѣмъ, которыя могутъ быть особливо занимательны и поучительны для молодыхъ читателей, и заслуживаетъ полнаго сочувствія тотъ добросовѣстный трудъ, какой положенъ авторомъ для достиженія поставленной имъ цѣли» (*«Вѣстникъ Европы»*).

«Гоголь-гимназистъ»—это новый трудъ В. П. Авенаріуса, одного изъ симпатичнѣйшихъ и наиболѣе образованныхъ руководителей нашего юношества, который, при всей неоспоримости своего таланта, какъ беллетриста, большую часть своего творчества удѣляетъ подростающимъ поколѣніямъ, коимъ, удручаемымъ сухостью и педантичностью учебниковъ, такъ необходимо освѣжающее ихъ переутомленные мозги и взывающее къ ихъ воображенію чтеніе. Духовная пища въ произведеніяхъ г. Авенаріуса предлагается молодымъ читателямъ въ видѣ живыхъ образовъ, картинъ, сценъ, вѣрныхъ исторической и бытовой правдѣ и непосредственно дѣйствующихъ на воображеніе и память» (*«Новости»*).

VIII. Гоголь-студентъ.

Вторая повѣсть изъ біографической трилогіи **«Ученическіе годы Гоголя»**. Изд. 3-е. Съ 12 портр. и видами. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленк. перепл. 2 руб. **Рекомендована** *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства, а также и для **наградъ** воспитанницамъ, **одобрена** *Ученымъ Комитетомъ Министерства Народн. Просв.* для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учеб. заведеній и допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Отзывы печати: «Вторая часть трилогіи—«Гоголь-студентъ»—можетъ быть причислена къ лучшимъ книгамъ для юношескаго чтенія. На 330 страницахъ живымъ языкомъ представлены въ живыхъ образахъ не только самъ Гоголь, но и цѣлая толпа лицъ, имѣвшихъ съ нимъ соприкосновеніе и такъ или иначе вліявшихъ на его душу, характеръ и тогда еще формировавшійся умъ» (*«Новое Время»*).

«Новая книга г. Авенаріуса отличается всѣми достоинствами, дающими ей право на названіе превосходнаго сочиненія, интереснаго для всякаго образованнаго человѣка, а не только молодого читателя... Издана книга роскошно» (*«Русская Школа»*).

IX. Школа жизни великаго юмориста.

Третья повѣсть изъ біографической трилогіи **«Ученическіе годы Гоголя»**. Съ 16 портрет. и рисунками. Ц. 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящномъ коленк. переплетѣ 2 р. 50 к. **Рекомендована** *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, **одобрена** *Ученымъ Комитетомъ Министерства Народн. Просв.* для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и допущена въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Отзывъ печати: «Со свойственнымъ ему мастерствомъ, правдивостью и глубокимъ психологическимъ чутьемъ, заставляетъ г. Авенаріусъ слѣдить аудиторію за развитіемъ литературнаго дарованія своего героя, знакомиться съ вліяніями, пережитыми этимъ дарованіемъ, и образовавшимися на немъ напластованіями. Тутъ мы уже цѣликомъ окунаемся въ литературную стихію, гдѣ предъ нами мелькаютъ живыя лица, картинки журнальной жизни начала нынѣшняго (XIX) столѣтія и рядъ горестныхъ и счастливыхъ дней въ жизни пробивающаго себѣ дорогу молодого писателя. Какъ и въ первыхъ двухъ томахъ, здѣсь, что ни страница, что ни эпизодъ, что ни сценка, то все основано на достовѣрныхъ свидѣтельствахъ и почерпнуто изъ громадной исторической и критической литературы, которою пользовался талантливый авторъ. Если

первые два тома являются замѣчательными образцами трудолюбиваго изученія бытовой стороны жизни нашего общества, то настоящій, по всей справедливости, долженъ занять почетное мѣсто въ исторіи русской литературы, какъ образецъ психологической критики и собранія цѣлаго ряда литературныхъ характеристикъ. Самъ молодой Гоголь показанъ во весь ростъ съ его хорошими и дурными сторонами характера, а его литературная дѣятельность обрисована въ той именно должной полнотѣ и въ томъ освѣщеніи, гдѣ нѣтъ мѣста недосказанности. Можно отъ души пожелать, чтобы вполнѣ цѣльная и симметрически законченная трилогія г. Авенаріуса проникла въ библіотеки нашихъ учебныхъ заведеній, гдѣ, безъ сомнѣнія, окажется одною изъ лучшихъ воспитательныхъ книгъ въ школьномъ обиходѣ русскаго учащагося юношества» (*«Историческій Вѣстникъ»*).

X. Передъ разсвѣтомъ.

Повѣсть изъ послѣднихъ лѣтъ крѣпостного права. Съ 20 картинами и портретами. Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. 25 к. **Рекомендована** *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ средняго и старшаго возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства и для **подарковъ** учащимся въ сихъ заведеніяхъ и **одобрена** *Ученымъ Комитетомъ Мин. Народнаго Просвѣщенія* для ученическихъ, младшаго и средняго возрастовъ, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Отзывы печати: «Мы прочли новую книгу почтеннаго писателя съ такимъ захватывающимъ интересомъ, что рѣшили обождать писать о ней отзывъ; первое впечатлѣніе улеглось, но, спокойно разсуждая объ этомъ новомъ трудѣ автора, достаточно извѣстнаго въ области литературы для дѣтей и юношей, мы приходимъ къ первоначальному заключенію: да, хорошая, интересная и полезная книга, и не для однихъ только юношей. Мы не имѣемъ возможности привести лучшія и характерныя сцены, изображающія въ повѣсти «Передъ разсвѣтомъ» нашъ крѣпостной бытъ; даже трудно сказать, какая изъ сценъ лучше, живѣе и характернѣе" (*«Русская Школа»*).

«Авторъ повѣсти блистательно справился съ нелегкой задачей схватить духъ того времени и нарисовать нѣсколько картинъ и лицъ, типичныхъ для дореформенной Россіи, которая подъ его талантливымъ перомъ встаетъ передъ читателемъ какъ живая. Выборъ «эпохи великихъ реформъ» для повѣсти, предназначенной юношеству, дѣлаетъ честь В. П. Авенаріусу. Его талантливый трудъ, безъ сомнѣнія, тронетъ не одно сердце и не мало благородныхъ мыслей возбудитъ въ молодыхъ умахъ» (*«Историческій Вѣстникъ»*).

XI. За тридцать лѣтъ.

Образцы новой русской поэзіи. (Выбрано для юношества). Ц. 1 р. 25 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. **Рекомендованы** *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ всѣхъ возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства и для **подарковъ** учащимся и допущены *Ученымъ Комитетомъ Мин. Народн. Просвѣщенія* въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Отзывы печати: «Въ своемъ сборникѣ «За тридцать лѣтъ» В. П. Авенаріусъ далъ хрестоматію современныхъ поэтовъ, являющуюся прекраснымъ продолженіемъ школьныхъ хрестоматій. Изъ всей сокровищницы поэтовъ нашего времени составитель выбралъ то, что наиболѣе соотвѣтствуетъ вкусамъ и потребностямъ молодежи» (*«Новое Время»*).

«За тридцать лѣтъ» представляетъ собою изящно изданный сборникъ стихотвореній авторовъ, выступившихъ на литературное поприще, главнымъ образомъ, послѣ шестидесятыхъ годовъ. Въ этомъ отношеніи книга г. Авенаріуса восполняетъ пробѣлъ, имѣющійся въ нашей педагогической литературѣ, обыкновенно во всѣхъ сборникахъ и хрестоматіяхъ застывающей на классическихъ образцахъ» (*«Недѣля»*).

XII. Первый вылетъ.

Путевой дневникъ институтки. Съ видами и картинами. Цѣна 1 руб., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ изящн. коленк пер. 1 р. 60 к. Допущенъ *Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* въ ученич. библ. средн. возр. средн. учебн. завед. и **рекомендованъ** *Учебн. Ком. вѣд. Имп. Маріи* для ученич. библіот. средн. и старш. клас. женск. институт. и гимназій и *для* **наградъ.**

Отзывъ печати: „Г. Авенаріусъ принадлежитъ къ числу немногихъ русскихъ писателей, умѣющихъ увлекательно и жизненно, безъ сентиментальныхъ прикрасъ, писать для юношества. Его историческія повѣсти, біографическіе разсказы изъ жизни Пушкина и Гоголя и другія произведенія пользуются вполнѣ заслуженной доброй славой и читаются очень охотно и взрослыми. Тоже можно сказать и про „Первый вылетъ", представляющій дневникъ молоденькой институтки, описывающей свое первое заграничное путешествіе. Тонъ дневника наивной, непосредственной, жизнерадостной дѣвушки выдержанъ вполнѣ; встрѣчаются красивыя описанія природы Альпъ, итальянскихъ озеръ и др. Мѣтко очерчены внѣшнія физіономіи Берлина, Вѣны, Люцерна, вставлено много разнообразныхъ занимательныхъ эпизодовъ, и все это въ общемъ дѣлаетъ книгу очень интересной и поучительной для юношества школьнаго возраста.—Книга издана очень хорошо, а прекрасные виды и снимки съ картинъ дополняютъ пріятное впечатлѣніе" (*«Приднѣпровскій Край»*).

XIII. Три вѣнца.

Первая повѣсть изъ исторической трилогіи **«За царевича».** (Переработана для юношества изъ романа того-же названія). Съ 12-ю рисунками. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. 25 к.

Отзывъ печати: „Въ повѣсти «Три вѣнца» сюжетъ взятъ изъ временъ перваго самозванца, издавна привлекающихъ къ себѣ вниманіе нашихъ историческихъ повѣствователей. Г. Авенаріусъ, несмотря на то, что это время до него исчерпано уже многими, прекрасно съумѣлъ справиться со своею задачей. Кромѣ неослабѣвающаго ни на минуту интереса фабулы, книга г. Авенаріуса богата любопытными историческими и бытовыми подробностями не только русскаго, но и польскаго государства и общества того времени, и является прекраснымъ подаркомъ нашему юношеству старшаго возраста" (*«Новое Время»*.).

«Авторъ достаточно извѣстенъ, какъ популярный разсказчикъ. Настоящая книга посвящена такъ - называемому смутному времени, дающему богатѣйшій матеріалъ для исторической беллетристики. Разсказъ читается съ большимъ интересомъ и наполненъ прекрасными описаніями многихъ мѣстностей изъ нашего края, въ которыхъ проживали и дѣйствовали кн. Вишневецкіе, Марина Мнишекъ и т. д. Для юношества можно рекомендовать эту книгу, какъ рѣдкую по живости и рельефности изложенія. Въ особенности пріятно то, что уважаемый авторъ избѣгаетъ всего того, что портитъ воображеніе и легко направляетъ его въ дурную сторону. Въ этомъ отношеніи историческій разсказъ г. Авенаріуса заслуживаетъ полнаго одобренія" (*«Кіев. Слово»*).

XIV. Сынъ атамана.

Вторая повѣсть изъ исторической трилогіи **«За царевича».** Съ 8-ю рисунками. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 1 р. 75 к.

Обѣ повѣсти исторической трилогіи **«За царевича»** *одобрены Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ, младшаго и средняго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, для ученическихъ библіотекъ низшихъ училищъ и для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ и **рекомендованы** *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства учрежденій

Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ среднихъ и старшихъ возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Отзывы печати: «Повѣсть эта прочтется юными читателями съ большимъ увлеченіемъ; въ ней много интересныхъ приключеній, разнообразныхъ сценъ, дѣйствующихъ лицъ. Кромѣ интереса внѣшняго, дѣти вынесутъ изъ чтенія книги также знакомство съ историческими фактами и съ жизнью и нравами того времени» (*«Русск. Школа»*).

«Имя В. П. Авенаріуса, какъ любимаго дѣтьми и подростками автора, пользуется у насъ большою извѣстностью. Безъ опаски можно дать такую книжку и ребенку, и юношѣ, которые найдутъ въ ней, кромѣ интереснаго содержанія и хорошаго языка, также и поученіе, не привязанное, какъ у многихъ иныхъ авторовъ, бѣлыми нитками къ фабулѣ, а непосредственно изъ нея вытекающее. Герои г. Авенаріуса бодрятъ душу читателя, наводятъ его на мысли о добрѣ и любви къ ближнему. Въ повѣсти «Сынъ Атамана», г. Авенаріусъ изображаетъ бытъ запорожцевъ, къ которымъ отправился сынъ «врага Грознаго» – князь Курбскій за помощью для Самозванца, послѣ того, какъ тотъ цѣной отреченія отъ православія заручился поддержкою магнатовъ» (*«Варш. Дневн.»*).

Иллюстрированные романы ВАЛЬТЕРЪ-СКОТТА:

Томъ I. **Веверлей, или шестьдесятъ лѣтъ назадъ.** Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 2 р. 25 к. Т. II. **Гай Маннеринг, или астрологъ.** Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к., въ коленк. пер. 2 р. 25 к. Т. III. **Антикварій.** Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 2 р. 25 к. Т. IV. **Робъ-Рой.** Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 2 р. 25 к. Т. V. **Айвено.** Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 2 р. 25 к. Т. VI. **Ламермурская невѣста.** Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к. Т. VII. **Кенильвортъ.** Ц. 3 р. 50 к. Т. VIII. **Пуритане.** Изд. 3-е. Ц. 1 р. 50 к. Т. IX. **Эдинбургская темница, или сердце средняго Лотіана.** Ц. 3 р. 50 к. Т. X. **Монастырь.** Ц. 3 р. 50 к. Т. XI. **Аббатъ.** Ц. 2 р. 50 к.

Въ каждомъ томѣ до 500 страницъ, съ 2-мя картинами и до 50 политипажей въ текстѣ. Томъ IX значится въ каталогѣ ученическихъ библіот. средн. учебн. заведеній Мин. Нар. Просв., изд. 1889 г. Остальные всѣ 10 томовъ *одобрены* Учен. Комит. Мин. Нар. Просв., для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки гимназій (мужскихъ и женскихъ), реальныхъ училищъ, учительскихъ институтовъ и семинарій. Томъ V-й—„Айвено" *рекомендованъ* Главн. Управлен. Военно-Учебныхъ заведеній для старшихъ ротъ кадетскихъ корпусовъ; Томъ XI—„Аббатъ"—*допущенъ* Учебн. Комит. вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи для ученическ. библіот. старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

☞ Незабвенный русскій критикъ Бѣлинскій сказалъ о романахъ Вальтеръ-Скотта слѣдующія слова, и донынѣ не теряющія своего значенія: „Вальтеръ-Скоттъ равно увлекателенъ и назидателенъ. Чтеніе его романовъ проливаетъ въ душу какое-то доброе и вмѣстѣ съ тѣмъ кроткое успокоительное чувство; очаровывая фантазію, оно образуетъ сердце и развиваетъ умъ, потому что поэзія Вальтеръ-Скотта не эксцентрическая, не мечтательная и не болѣзненная... Для молодыхъ людей особенно полезны романы Вальтеръ-Скотта; увлекая ихъ въ міръ поэзіи, они не только не отвлекаютъ ихъ отъ науки, но еще воспитываютъ и развиваютъ въ нихъ историческое чувство, безъ котораго изученіе исторіи безплодно".

Атмосфера. Общепонятная метеорологія. *К. Фламмаріона.* Полное описаніе воздушныхъ явленій на земномъ шарѣ. Переводъ *Е. А. Предтеченскаго* и *Д. А. Коропчевскаго.* Съ 11 хромолитографирован. картинами, 1 картою въ краск. и болѣе 300 рисунк. въ текстѣ. Ц. 3 р. 50 к., въ изящн. коленкор. пер. 4 р. 25 к. *Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* для фундам. и ученич., старш. возр., библ. гимназій, мужск. и женск., и реальн. учил., для библ. учител. институт. и семин. *и для наградъ,* допущено въ безпл. читальни, *одобрено Учебн. Ком.* вѣд. учр. Импер. Маріи для фундам. и ученич. библ. старш. возр. средн. учебн. заведеній и *рекомендовано Главн. Упр. военно-учебн. зав.* для ротн. библ. средн. и старш. класс. кадет. корпусовъ.

Богъ въ природѣ. *К. Фламмаріона.* Переводъ съ 25-го французскаго изданія *Е. А. Предтеченскаго.* Съ портретомъ автора. Ц. 1 р. 25 к., въ коленк. пер. 2 р. *Учебн. Комит.* вѣд. учрежд. Императр. Маріи допущено въ фундам. библіот. средн. учебн. завед.

Вокругъ свѣта въ одиннадцать мѣсяцевъ. Путевыя записки *Анны Брассей.* Въ сокращ. перев. *Н. И. Позникова.* Съ картин. и рисунк. Изд. 2-е. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ коленк. пер. съ золот. 1 р. 60 к. *Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* для учен. библ. мужск. и женск. гимназій, и *Учебн. Комит.* вѣд. учр. Импер. Маріи для ученич. библ. средн. учебн. завед., и допущено *Учебн. Комит. при Святѣйш. Синодѣ* въ учен. библ. духовн. семин., мужск. и женск. духовн. училищъ.

Донъ-Кихотъ. *Сервантеса.* Сокращенный переводъ для юношества. Съ 43 рис. Ц. 50 к.

Звукъ. Въ общедоступномъ изложеніи путемъ опытовъ. *Джона Тиндаля.* Съ послѣдняго, седьмого, англ. изд. перевелъ *Е. А. Предтеченскій.* Съ портретомъ автора и 204 рис. въ текстѣ. Ц. 1 р. 25 к. *Допущено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* въ ученич., старш. возр., библіот. средн. учебн. завед.

Звѣздное небо и его чудеса. *К. Фламмаріона.* Подробное описаніе звѣздъ, видимыхъ простыми глазами и всѣхъ небесныхъ предметовъ, удобныхъ для наблюденія. *Со вступительной статьей автора къ русскому изданію,* его портретомъ, 400 рис. въ текстѣ, небесными картами и раскрашенными таблицами. Перев. *Е. А. Предтеченскаго.* Ц. 3 р. 50 к., въ изящн. коленк. перепл. 4 р. 25 к. *Рекомендовано Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* для фундам. и учен., старш. возр., библ. гимназій, мужск. и женск., и реальн. учил. *и для наградъ. Одобрено Учебн. Ком.* вѣд. учрежд. Импер. Маріи для фундам. библ. средн. учебн. заведеній. *Рекомендовано Главн. Управл. военно-учебн. завед.* для фундам. библ. кадет. корпусовъ.

Иллюстрированные романы Ч. Диккенса, въ сокращенномъ переводѣ *Л. Шелуновой.* **Оливеръ Твистъ.** Съ 15 рис. Изд. 3-е, испр. Ц. 40 к., въ папкѣ 50 к. **Два города.** Съ 10 рис. Изд. 2-е, испр. Ц. 40 к., въ папкѣ 50 к. **Мартинъ Чезльвитъ.** Съ рис. Изд. 2-е, испр. Ц. 40 к. въ папкѣ 50 к.

Исторія неба. *Кл. Роайе.* Переводъ съ французскаго *Ѳ. Ф. Александрова.* Съ 1 картой неба и 37 рисунк. Ц. 65 к.

Калевала. Финскія народныя былины. Пересказалъ для юношества *Н. А. Борисовъ.* Изд. 2-е. Съ рисун. Ц. 50 к., въ папкѣ 75 к., въ коленк. перепл. 1 р. *Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* для ученич. библіот. средн. учебн. заведеній и допущ. въ безплатн. народныя библіот. *Одобрено Учебн. Комит.* вѣдом. учреж. Импер. Маріи для ученич. библіот. всѣхъ средн. учебн. заведеній вѣдомства.

На землѣ и подъ землей. Разсказы всемірнаго путешественника. Составилъ *В. Галузьевъ.* Со многими рисунками. Изданіе 3-е. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящн. коленк. перепл. 2 р. Значится въ каталогахъ книгъ для ученич. библ. средн. и низш. учебн. заведеній Мин. Нар. Просв. и для безпл. народн. читаленъ.

Небесныя свѣтила. *К. Фламмаріона.* Вечернія бесѣды. Переводъ съ послѣдняго французскаго изданія *Ѳ. Ф. Александрова.* Со 107 рис. Ц. 1 р., въ перепл. 1 р. 60 к. Допущены *Учен. Комит. Мин. Нар. Просв.* въ ученич., средн. и старш. возр., библіот. средн. учебн. заведен. и *Учебн. Комит. при Св. Синодѣ* въ фундам. библ. духовныхъ семинарій.

Объявленія дозвол. ценз. 16 Ноября 1902 г. Тип. Тов. «Общ. Польза», Б. Подъяч., 39.

Цѣна 1 рубль.

Въ папкѣ 2 -

Въ переплетѣ 2 - 50.

Stanford University Libraries
3 6105 126 942 494
PG
3453
.A88.Z3
v.3

DATE DUE		